Айрис

Мёрдок

О приятных и праведных



Iris

Murdoch

The Nice and the Good

Английская линия

О приятных и праведных
Айрис Мердок

Аннотация
Айрис Мёрдок. О приятных и праведных
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая

Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая
Глава тридцать пятая
Глава тридцать шестая
Глава тридцать седьмая
Глава тридцать восьмая
Глава тридцать девятая
Глава сороковая

Аннотация

Айрис Мёрдок (1919–1999) — классик английской литературы XX века, удостоенная звания «Дама Британской Империи», автор философских сочинений, пьес, стихов и великолепных романов. Каждое ее произведение — шедевр, образец тончайшего психологизма, мудрой иронии и блистательной, кристально прозрачной формы. Романы Айрис Мёрдок шесть раз номинировались на «Букер», переведены на 26 языков, многие из них экранизированы.

В основе романа «О приятных и праведных» лежит расследование самоубийства одного из служащих Министерства внутренних дел, совершенное прямо в служебном кабинете. Шантаж и супружеская неверность, черная магия и роковая женщина-вамп, предательство и преступление, сложные хитросплетения человеческих отношений, сопряженные с захватывающими приключениями, романтическими и опасными, составляют канву повествования. Блистательные диалоги, неожиданные повороты

сюжета, глубокие и тонкие психологические портреты героев, великолепная проза — все это позволяет с полным основанием отнести роман «О приятных и праведных» к лучшим образцам творчества Айрис Мёрдок.

Айрис Мёрдок
О приятных и праведных

Глава первая

Непривычно, когда в летний день главу министерства, мирно сидящего в своем уайтхоллском кабинете, внезапно отвлекает от работы близкий и отчетливый звук револьверного выстрела. Мгновенье назад медлительный толстяк, круглое совершенство, по прозванию, данному его любящей женой, а по имени Октавиан Грей, неспешно выводил бисерным почерком остроумную фразу на листке казенной кремовой бумаги, не без приятности улавливая после ланча дремотный аромат превосходного бургундского в своем дыхании. И тут раздался выстрел.

Октавиан выпрямился, встал. Стреляли где-то неподалеку, в том же здании. Спутать звук было невозможно. Октавиан знал его отлично, хотя с тех пор, как, солдатом, слышал в последний раз, прошло много лет. Нутром узнал, пригвожденный к месту памятью, острым и ныне столь чуждым ему ощущением встречи со страшным, с неизведанным.

Он подошел к двери. В жарком и душном коридоре, посреди текучего лондонского гула стояла

полная тишина. Октавиан хотел крикнуть: «Что это? В чем дело?», но обнаружил, что не может. Он вернулся назад, невольно устремляясь к телефону, естественному средству связи, к нити, соединяющей его с миром. И в этот миг услышал частый топот ног.

— Ужас, сэр! Какой ужас!

На пороге стоял, дрожа, министерский курьер Макрейт, рыжий мужчина, белокожий, с водянисто-голубыми глазами и яркими губами.

— Прочь отсюда! — Мимо курьера протиснулся Ричард Бираннн, один из заместителей Октавиана; вытолкал Макрейта за дверь и закрыл ее.

— Да что случилось? — сказал Октавиан.

Бираннн прислонился к косяку. Сделал глубокий вдох, потом другой и проговорил своим обычным высоким, суховатым голосом:

— Послушайте, Октавиан, я знаю, это звучит дико, но Радичи только что застрелился.

— Радичи? Господи помилуй! Что, насмерть?

— Да.

Октавиан сел. Разгладил лист кремовой бумаги, лежащий поверх красной промокашки. Перечитал неоконченную фразу. Снова встал.

— Так я иду посмотрю. — Он шагнул к двери, которую Бираннн распахнул перед ним. — Видимо,

следует вызвать Скотленд-Ярд.

— Уже. Я позволил себе сделать это без вашего ведома, — сказал Биранн.

Кабинет Радичи был этажом ниже. Под закрытой дверью, свесив руки и разинув рты, толклась кучка людей. Перед ними ораторствовал Макрейт.

— Уходите, — сказал Октавиан. Все лица повернулись к нему. — Ступайте по своим местам. — Народ стал нехотя расходиться. — Вы — тоже, — сказал он Макрейту.

Биранн тем временем отпирал дверь кабинета.

Сквозь щель в двери Октавиан увидел, что Радичи сидит, привалясь к письменному столу и уронив на него боком голову. Они вошли; Биранн запер дверь изнутри, передумал и отпер снова.

Шея Радичи красновато-смуглой складкой выпирала из-под жесткого белого воротника. Октавиан сразу подумал о том, открыты ли у него глаза, но затененного лица было издали не разглядеть. Левая рука Радичи повисла, едва не доставая до полу. Правая лежала на столе; оружие, старый револьвер армейского образца, — немного поодаль от ладони. Октавиан усилием воли заставил себя собраться, постепенно унять дыхание и привести в порядок мысли, напомнив

себе, кто он такой. Ему не впервой было видеть мертвецов. Но никогда еще — вот так, внезапно, летним деньком в Уайтхолле, со складкой плоти, выпирающей из-под жесткого воротничка.

Октавиан быстро сказал себе, что он — министр, обязан держаться спокойно и управлять ходом событий.

— Кто его обнаружил? — спросил он у Биранна.

— Я. Я был как раз почти у самой его двери, когда услышал выстрел.

— В том, что он мертв, сомнений, видимо, быть не может? — Вопрос прозвучал как-то нелепо, едва ли не потерянно.

Биранн сказал:

— Мертвехонек. Вы поглядите на эту рану.

Он показал на нее рукой.

Октавиан подошел ближе. Обогнул письменный стол с дальней от лица Радичи стороны и, наклонясь поверх стула, увидел круглую дыру на затылке, чуть правее легкой впадины у основания черепа. Дырка была приличных размеров, темное отверстие с почерневшими краями. Крови — немного, она тонкой струйкой залилась за воротник.

— Целился, видно, прямо в рот, — сказал Би-

ранн. — Пуля прошла навылет.

Октавиану бросилась в глаза опрятность недавно подстриженного седого ежика на теплой беззащитной шее. Его потянуло прикоснуться к ней, потрогать ткань пиджака, тихонько потереть ее в любопытных пальцах. Перед ним, собранные в комплект, были части человеческого существа, его одежда, телесные составляющие. Его потрясло таинство истечения жизни, внезапный распад живого человека на части, на куски, на материал. Радичи, который мало с чем умел справляться, на этот раз не сплоховал.

Октавиан никогда не чувствовал особой симпатии к Радичи. Никогда особо близко не знал его. Радичи принадлежал к числу тех непременных в составе каждого министерства чудаков, которым, при наличии большого и даже блестящего ума, недостает некоего существенного качества в оценках и потому не суждено подниматься выше должности помощника замминистра. Считалось, что мозги у него, как говорится, слегка набекрень. Радичи, впрочем, как будто не роптал на судьбу. У него были посторонние интересы. Он то и дело отпрашивался во внеочередной отпуск. В последний раз, припомнил Октавиан, — исследовать какое-то аномальное явление.

— Он не оставил записки?

— Что-то не видно, — сказал Бираннн.

— Непохоже на него!

Радичи был мастер без устали строчить обстоятельные служебные записки.

— Полиция, надо думать, нагрянет теперь на весь остаток дня, — сказал Октавиан. — Как раз когда я собрался уехать на выходные.

Собственный окрепший голос сказал ему, что критический момент миновал. Сейчас он мог уже быть хладнокровен, деловит, сдержанно ироничен.

— Хотите, могу взять полицию на себя, — сказал Бираннн. — Наверняка им понадобится делать снимки и так далее. Не забыть бы сказать, — прибавил он, — что я трогал оружие. Отодвинул немного, чтобы разглядеть его лицо. А то найдут там мои отпечатки!

— Спасибо, но я уж лучше останусь сам. И с чего бы это он, бедолага?

— Я не знаю.

— Странный был человек. Взять хотя бы это общение с потусторонним.

— Не знаю, — сказал Бираннн.

— Или, возможно… Была, разумеется, та жуткая история с его женой. Мне говорили, он сам не

свой с тех пор, как ее не стало. Я тоже обратил внимание, что ходит как в воду опущенный. Вы помните, этот кошмарный случай в прошлом году…

— Да, — сказал Биранн. У него вырвался тонкий отрывистый смешок, как будто тявкнула собачонка. — Вполне в духе Радичи с его паршивым вкусом — взять и застрелиться на службе!

— Кейт, солнышко!

Октавиан звонил по телефону своей жене в Дорсет.

— Здравствуй, милый. Как ты там?

— Я-то ничего, — сказал Октавиан, — но только на работе кое-что произошло, и мне до завтра из города не выбраться.

— Ну вот! У Барби первый вечер дома, а тебя, значит, не будет!

Барбара была их дочь, единственный ребенок четырнадцати лет от роду.

— Я понимаю, так не вовремя, мне самому безумно обидно, но я должен остаться, выхода нет. У нас здесь полиция, такой стоит тарарам…

— Полиция? А в чем дело? Ничего страшного, надеюсь?

— В общем, и да, и нет, — сказал Октавиан. — Кое-кто покончил с собой.

— Боже! Что, из знакомых кто-нибудь?

— Нет, успокойся. Не из наших знакомых.

— Ну хоть на том спасибо. Сочувствую тебе, бедненький. Какая досада, что тебя не будет, Барби так огорчится!

— Да знаю! Но завтра утром я приеду. А у вас там все нормально? Как поживает мой гарем?

— Гарем ждет тебя не дождется!

— И правильно делает! Будь здорова, моя радость, вечером позвоню еще.

— Октавиан, ты ведь Дьюкейна тоже привезешь?

— Да. Он все равно раньше завтрашнего дня приехать не смог бы, так что теперь удобно будет захватить его с собой.

— Замечательно. Он нужен Вилли.

Октавиан усмехнулся:

— По-моему, это тебе он нужен, ангел мой, разве нет?

— И мне, конечно! Он очень нужный человек.

— Получишь его, дружок, получишь. Получишь все, что твоей душеньке угодно.

— Красота!

Глава вторая

— Давайте-ка выносите все эти камни в сад, — сказала Мэри Клоудир.

— Почему? — сказал Эдвард.

— Потому что им место в саду.

— А почему? — сказала Генриетта.

Близнецам, Эдварду и Генриетте Бираннам было по девять лет. Оба длинноногие и белобрысые, неразличимо похожие, с одинаковой копной пружинистых кудряшек на голове.

— Добро бы хоть были окаменелости. В них нет ничего особенного.

— В каждом камне есть что-то особенное, — сказал Эдвард.

— В метафизическом смысле — очень верно, — заметил, входя на кухню, Теодор Грей, облаченный в клетчатый старый, коричневый с красным халат.

— Мне за порядком в доме следить приходится не в метафизическом смысле, — сказала Мэри.

— А где Пирс? — спросил, обращаясь к близняшкам, Теодор.

Пирсом звали пятнадцатилетнего сына Мэри

Клоудир.

— Наверху, у Барби. Украшает комнату ракушками. Целую тонну, похоже, наволок.

— Еще не легче! — сказала Мэри.

В дом неотступно вторгался берег моря. В комнатах у ребят под ногами хрустел песок вперемешку с галькой, раздавленные ракушки, засохшие организмы животного и растительного происхождения.

— Раз Пирсу можно приносить раковины, значит, нам можно — камушки, — рассудила Генриетта.

— А кто сказал, что Пирсу можно приносить раковины? — отозвалась Мэри.

— Но ведь ему-то ты мешать не станешь? — сказал Эдвард.

— Ох и всыпали бы мне, если б я в твоем возрасте перечила каждому слову! — сказала экономка Кейси.

Кейси она была по фамилии, а по имени — тезка Мэри Клоудир, отчего за ней, наподобие клички домашнего животного, и закрепилось смутно неоднозначное «Кейси».

— Тоже справедливо, хотя и не по существу, как мог бы возразить Эдвард, — сказал Теодор. — Может, если это с моей стороны не слишком, мне

дадут чаю? Нездоровится мне что-то очень.

— Это надо же, не повезло тебе, Кейси! — сказал Эдвард.

— Ему — не стану мешать, — сказала Мэри, — во-первых — поздно, а во-вторых — тут особый случай, в честь приезда Барбары.

В споре с близнецами имело смысл прибегать к разумным доводам.

Барбара Грей с Рождества находилась в пансионе благородных девиц в Швейцарии. Пасхальные каникулы она провела, катаясь на лыжах с родителями, завзятыми любителями путешествовать.

— Хорошо кой-кому на этом свете, — не обращаясь ни к кому в частности, выдала Кейси не очень внятное, но глубокомысленное высказывание, как было ей свойственно.

— Кейси, а можно, мы возьмем эти куриные лапки? — спросила Генриетта.

— Как, интересно, мне содержать кухню в чистоте, когда эти дети, что голодные кошки, вечно роются в мусорных ведрах?..

— Все-то хотя бы не вытаскивай, Генриетта, — сказала Мэри.

Вперемешку с куриными лапками наружу вывалились комки мятой бумаги, кофейные зерна,

листья вялого салата, клочья волос.

— Никто со мной не считается, — сказала Кейси. — Тратишь здесь понапрасну свою жизнь…

— Каждый из нас тратит жизнь понапрасну, — сказал Теодор.

— Глядите на меня, как на неровню…

— Вы и есть нам неровня, — сказал Теодор. — Ну так дадут мне чаю?

— Да помолчите вы, Тео, — сказала Мэри. — Будет вам Кейси заводить! Вон он, ваш чай, на подносе.

— М-мм, лимонная сдоба. Славно.

— Вам вроде бы нездоровилось, — сказала Кейси.

— Всего лишь невольный порыв желудка… Где у нас Минго?

Завтрак и чай, поглощаемые Теодором в постели, непременно проходили в присутствии Минго, рослого серого патлатого пса, отдаленно похожего на пуделя. Кейт с Октавианом изощрялись в непристойных догадках насчет отношений между Теодором и Минго.

— Сию минуту доставим, дядя Тео! — крикнул Эдвард.

Короткая возня завершилась появлением Минго из-за чугунной, с вычурным узором, плиты,

которая, невзирая на дороговизну содержания и непригодность для готовки, по сей день заполняла собою нишу кухонного очага. Теодор, с подносом в руках, начал подниматься по лестнице в сопровождении двойняшек, которые, следуя одному из многочисленных, добровольно возложенных ими на себя ритуалов, вдвоем тащили пса, так что его глуповато-улыбчивая морда торчала из-под Эдвардовой мышки, а мохнатые лапы скребли по полу, меж тем как колбаска-хвост, помахивая, ритмично задирал подол льняного платьица Генриетты.

Теодор, старший и обремененный несчетными хворобами брат Октавиана, некогда — инженер с должностью в Дели, а ныне давно уже безработный, покинул Индию, как все о том знали, при сомнительных обстоятельствах, хотя какого именно рода обстоятельства вынудили его покинуть Индию, дознаться никому не удалось. Неведомо было также, жалует Теодор или нет своего брата; пренебрежительные его реплики в адрес последнего с общего согласия в расчет не принимались. Был он сухопар, долговяз, с лысеющей седой головой, крутым лбом, изрезанным причудливой сетью морщинок и с умным прищуром задумчивых глаз.

— Пола, тебе обязательно читать за столом? — сказала Мэри.

Пола Биранн, мать двойняшек, не сразу оторвалась от книги. Воспитание детей, за сверстницу которых она легко сошла бы в подобные минуты, она целиком препоручила Мэри. С Ричардом Биранном Пола два года как состояла в разводе. Что касается Мэри, та много лет уже была вдовой.

— Извини, — сказала Пола, закрывая томик Лукреция.

Пола преподавала в местной школе греческий и латынь.

Для Мэри время совместных трапез имело особое значение. То были минуты общения, дружеского обрядового единения, почти духовного по своей сути. За разговором, в будничном кругу застолья, затягивались раны и царапины, очевидные, быть может, лишь для обостренного и беспокойного восприятия самой Мэри, заново воссоздавая всякий раз относительную гармонию, в существовании которой, быть может, опять-таки отдавала себе отчет одна она. При этих точках общего соприкосновения Мэри обладала верховенством, которое никто не оспаривал. Если в доме существовало коллективное бессознательное, то Мэри олицетворяла собою коллективную

сознательность. Размеренное чередование завтрака, ланча, чая и обеда было к тому же одной из немногих составляющих установленного распорядка в ситуации неустойчивого равновесия, поминутно грозящего, по ощущению Мэри, разрядиться не лишенной привлекательности, но абсолютно необратимой анархией.

Жаркое солнце вливалось в большие окна с их характерным для викторианской готики остроконечным завершением, обнесенные чугунной беленой ажурной решеткой и затененные зеленью, с одной стороны — жимолости, а с другой — глициний, освещая присыпанные крошками сдобы пятна на белой, в красную клетку, скатерти, кофейные зерна и клочки волос на мощенном плитами полу. Мизансцена сложилась на настоящий момент следующая: близнецы уже кончили пить чай, Тео для этой церемонии удалился к себе, Пирс не вышел к столу вовсе, Кейт по обыкновению опаздывала к чаю; Мэри с Полой и Кейси допивали свой.

— Опять она завела себе новую машину, — сказала Кейси.

— Хоть обозначили бы, о ком это вы, — сказала Мэри, — не называли бы всех подряд — «она».

— Сестрица моя.

Кейси большую часть жизни провела, ухаживая за больной, теперь уже покойной матерью, о которой отзывалась не иначе как «старая сука», и не могла простить младшей сестре, что та избежала подобной участи, выйдя замуж, и притом — за богатого человека. Толстощекая и румяная, с пучком седеющих волос, Кейси легко давала волю слезам, причиной которым вполне могла послужить душещипательная передача по телевизору, рассчитывая при этом на сочувствие занятой и озабоченной Мэри.

— И какую? — рассеянно спросила Пола, все еще поглощенная Лукрецием и мыслями о том, не слишком ли труден облюбованный ею отрывок, чтобы вынести его на экзамен.

— «Триумф» какой-то, что ли. Хорошо некоторым на этом свете. То тебе Коста-Брава, то еще чего.

— А мы сегодня снова видели ту летающую тарелку, — объявила Генриетта, возвращаясь назад и неся в руках кота Барбары по кличке Монтроз.

С подобным утверждением двойняшки выступали не впервые.

— Серьезно? — сказала Мэри. — Будь добра, Генриетта, не сажай Монтроза на стол.

Монтроз, крупный, орехового оттенка, поло-

сатый кот с золотистыми глазами, квадратным туловищем и прямоугольной формы лапами, обладал упрямым своевольным нравом и служил для детей предметом ожесточенных разногласий касательно его умственных способностей. Сообразительность Монтроза без конца подвергалась хитроумным проверкам, но толкование данных, полученных в результате, оставалось неоднозначным, учитывая склонность двойняшек во всем обращаться к первопричинам и сомневаться, является ли вообще готовность ладить с родом людским свидетельством большого ума. Одним неоспоримым талантом Монтроз все же обладал, а именно — умел по желанию поднимать свою лоснистую шерстку дыбом, преображаясь таким образом из гладкого полосатого куба в пушистый шар. Что получило название «косить под птичку».

— Где они деньги берут, лучше не спрашивайте, — сказала Кейси. — Впору прямо-таки социалистской заделаться от такого.

— Но вы и без того социалистка, Кейси, — сказала Мэри.

Что было, разумеется, справедливо по отношению ко всем ним, однако особенно бросалось в глаза лишь применительно к Кейси.

— А я что, отрицаю? Я просто говорю, от такого поневоле ею станешь.

— Хотите знать, какая самая большая птица? — проговорил, вырастая между Мэри и своей сестрой, Эдвард.

— Ну? И какая же?

— Казуар. Он пожирает папуасов. Убьет ударом ноги и съест.

— Я думала, кондор — больше, — сказала Генриетта.

— Это смотря как считать, по размаху крыльев или по весу, — сказал Эдвард.

— А как насчет альбатроса? — сказала Пола, всегда готовая принять участие в любом обсуждении, какое бы ни завязалось меж ее детьми, к которым она неизменно относилась как к разумным и взрослым существам.

— У альбатроса самый большой размах крыльев, — сказал Эдвард, — но туловище гораздо меньше. А знаете, каких нам размеров понадобилась бы грудная кость, если б мы собрались летать? Ты, например, знаешь, Мэри?

— Я — нет, — сказала Мэри. — Каких?

— Шириной в четырнадцать футов!

— Неужели? Вот это да!

— Но если взять кондора… — сказала Пола.

— Осторожней, Генриетта! — перебила ее Мэри, глядя, как Генриетта шлепает брата по лицу Монтрозовой лапой.

— Это ничего, он убрал когти, — сказала Генриетта.

— Я бы на его месте не убирала, — сказала Кейси. — Меня в твоем возрасте учили не мучить понапрасну домашних животных.

— Надо все-таки что-то делать с этими камнями, — сказала Мэри. — Иначе будем все спотыкаться о них и падать. Нельзя ли расположить их в порядке соответственно их достоинству, а после для наименее ценных мы подыскали бы пристанище снаружи?

Идея расположить камни в соответствии с достоинством нашла мгновенный отклик у близнецов. Они уселись на полу перед грудой камней и очень скоро с головой ушли в обсуждение очередной насущной темы.

— Что, Тео не ходил проведать Вилли? — спросила Пола.

— Нет. Я предлагала, но он только посмеялся. Говорит, разве я ему сторож?

Вилли Кост, ученый и беженец, жил в имении Октавиана немного выше Трескоум-хауса, в летнем домике с верандой, носящем название

Трескоум-коттедж. Вилли страдал меланхолией, что служило для обитателей имения предметом беспокойства.

— Опять, наверно, поссорились. Ведут себя прямо как дети. И ты к нему тоже не ходила?

— Нет, — сказала Мэри. — Минуты свободной не было. Пирса посылала к нему — вроде бы Вилли в порядке. Ты-то сама не была?

— И я нет, — сказала Пола. — Тоже дела не отпускали целый день.

Мэри выслушала ее с облегчением. Она чувствовала, что Вилли Кост — ее, и только ее забота, практически ее собственность, и важно, чтобы она, и никто другой, всегда знала, как себя чувствует Вилли. Завтра же она сходит навестить его.

— Очень кстати, что приезжает Дьюкейн, — сказала Пола. — Он всегда благотворно действует на Вилли.

— А Дьюкейн, значит, приезжает? — сказала Мэри. — Хорошо бы меня хоть о чем-то когда-нибудь ставили в известность.

— Вы, надеюсь, понимаете, что комната не убрана, — сказала Кейси.

— Кейт считает, вероятно, что это уже правило, потому и не предупредила.

Джон Дьюкейн, друг и сослуживец Октавиана, был у них частым гостем в выходные дни.

— Кейси, вас не затруднит убрать комнату, как покончите с чаем?

— Конечно затруднит, — сказала Кейси. — Единственное мое свободное времечко! Вы хотите сказать, сделаю ли я это — да, сделаю.

В эту минуту на кухню, с Минго по пятам, вошла Кейт Грей, и в мгновение ока вся сцена, словно пронизанная насквозь звездным лучом, рассыпалась на отдельные частицы и перегруппировалась заново, так что в центре оказалась Кейт. Мэри, как бы в общем строю людского состава, заметила, как расцветает смышленое, с чертами породистой собаки, лицо Полы, как разглаживается в улыбке ее собственное лицо и отлетают назад, будто подхваченные ветром, волосы. Минго разразился лаем, Монтроз вскочил на стол, Кейси подливала в чайник кипятку, двойняшки, разорив выложенный с таким усердием ряд камней, трещали наперебой, ухватясь загорелыми, перепачканными в песке руками за пояс полосатого платья Кейт.

Оживленное круглое лицо Кейт сияло на всех и каждого из-под пышного облака курчавых золотистых волос. В ее теплом беспорядочном

присутствии ярче обозначалась прибранность, стройность, подтянутость двух других — Мэри, с ее прямыми, заложенными за уши прядями темных волос и обликом гувернантки викторианских времен, и Полы, с ее узкой головкой, резкими чертами лица и аккуратной, волосок к волоску, каштановой короткой стрижкой. Кейт присущей ей зыбкостью сильнее подчеркивала завершенность в других; звуки, зной, освещение, приобретая форму, выгодно оттеняли четкость их очертаний. Говорила Кейт чуточку заикаясь и с легким ирландским акцентом.

— Октавиан, как выясняется, все-таки не приедет сегодня.

— Вот те на, — сказала Мэри, — стало быть, Барб встретим без него?

— Да, знаю, такая обида! У них стряслось кое-что на работе.

— Что стряслось?

— Один человек покончил с собой.

— Боги великие, — сказала Пола. — Так-таки покончил, прямо на работе?

— Ну да. Ужас, правда?

— А кто это? — спросила Пола.

— Не знаю.

— Как фамилия?

— Не догадалась спросить. Он не из тех, кто к нам вхож.

— Бедняга, — сказала Пола. — Жалко, не знаем его фамилии.

— Почему? — сказал Эдвард, производя некий опыт над сухожилиями на куриной лапке.

— Как-то проще думать о человеке, когда знаешь его по фамилии.

— А почему? — сказала Генриетта, препарируя кухонным ножом другую лапку.

— Законный вопрос, — сказала Пола. — Платон говорит, как поразительно, что мы способны *думать* о чем угодно, и, как бы далеко это что-то ни находилось, можем мыслью досягнуть до него. Так что я, вероятно, могу о нем думать, даже не зная его фамилии…

— И правильно, что ты думаешь о нем, — сказала Кейт. — Так и следует. Это мне в укор. Ты меня пристыдила. Я, признаться, подумала лишь о Барбаре и Октавиане.

— Из-за чего он покончил с собой? — сказал Эдвард.

— Пойду-ка я приберусь к приезду Дьюкейна, — сказала Мэри, обращаясь к Кейси.

— Даже и не мечтайте, — сказала Кейси.

Обе встали и вместе пошли из кухни.

Ленивое солнце, скользя наискосок по фасаду, ложилось продолговатыми квадратами бледного золота на выгорелые, в цветочек, обои просторного, мощенного плитами холла, которым по субботам и воскресеньям пользовались как столовой. Парадная дверь была распахнута настежь, служа как бы рамой далекому голосу кукушки, а за посыпанной гравием, поросшей сорняками подъездной аллеей, за стриженым газоном, полого уходящим вниз, к стене живой изгороди с кустами таволги цвета малины со сливками, вставало море, серебристо голубое, голубизны слишком размытой и прозрачной для металла, более сродни по структуре с лишенной объема серебряной фольгой, — вставало, незаметно сливаясь где-то с блеклой, сверкающей синевой июльского неба. Предвестие вечера ощущалось уже в приглушенном золоте солнца, в парящей невесомости моря.

Две женщины поднялись наверх по плавному изгибу белой лестницы, Кейси — топая, Мэри — легкой, стремительной поступью, и ненадолго остановились, улаживая свое разногласие. После чего Мэри отпустила Кейси убирать комнату для гостей, а сама направилась к комнате Барбары.

Мэри Клоудир со своим сыном Пирсом жила

к этому времени в Трескоум-хаусе почти четыре года. Отец Мэри, человек болезненный и неудачливый, был мелким служащим страхового агентства и, вместе с ее тихой, нерешительной матерью, умер от двусторонней пневмонии, оставив своего единственного ребенка, девятилетнюю дочь, на попечение немолодой и стесненной в средствах тетки. Мэри, тем не менее, при поддержке стипендий, сумела получить хорошее образование, в процессе которого и познакомилась с Кейт. У Кейт она вызывала восхищение, а также безотчетную потребность оказывать ей покровительство. Они крепко подружились. Много лет спустя, на определенном этапе блужданий Мэри по жизни в качестве безденежной вдовы с шатким социальным положением, Кейт предложила ей поселиться у них, и Мэри, обуреваемая тьмой сомнений, согласилась попробовать. И в итоге осталась. Кейт и Октавиан были люди состоятельные и в полной мере пользовались преимуществами, какие дает социальная защищенность. Мэри, как лицо неимущее, представляясь себе порой в несколько романтическом образе отверженной, признавала это превосходство за своими друзьями, готовая видеть в них свою опору. Хотя, конечно, никогда

не приняла бы от хозяев дома протянутую ей руку помощи, если бы не такое неоспоримое их достоинство, как бескорыстная широта натуры, — достоинство, нашедшее своеобразное выражение в округлости, отличающей их обоих: большой, шарообразной голове Октавиана, с лысиной, обрамленной рыжеватой шелковистой тонзурой, и пухлом личике Кейт с желтым нимбом пушистых мягких волос.

В обоих чувствовалось небрежное великодушие, изобильная щедрость созданий, способных стать великолепными грешниками, однако великолепным жестом избравших для себя праведную стезю. Счастливые в браке, они были естественны в своей потребности одаривать счастьем других. Мэри не смущалась сознанием того, что она, в сущности, чрезвычайно им полезна. Она вела хозяйство, управлялась с детьми — она была той, которая всегда на месте. Но знала, что сама получает при этом несоизмеримо больше.

Присутствие, не столь давнее, в доме востролицей Полы внушало Мэри на первых порах известные опасения. Пола была подругой Мэри еще по колледжу, незнакомой с Кейт вплоть до своего развода, когда ее пригласили погостить. Разведенную повсюду зовут в гости, как заметила

тогда Пола. Мэри передала ей приглашение — и Кейт пришла от гостьи в восторг, предложив, чтобы Пола осталась у них на неопределенный срок. Октавиан начал отпускать шуточки насчет своего гарема, и вопрос был решен. В колледже Пола училась на курс старше Мэри, и та смотрела на нее с почтением. Мэри не исключала, что с Полой при более тесном общении окажется трудновато; еще она боялась, что будет ревновать. Пола не знала компромиссов, и Мэри случалось наталкиваться в ней на безотчетный педантизм. Сила и цельность ее натуры, скрупулезная точность и правдивость служили живым упреком для Мэри, склонной относить себя к разряду прирожденных заурядностей с сумбуром в голове. Пола обладала спокойным и незыблемым чувством собственного достоинства, ни в малой степени не затронутым ее разводом, подробности которого оставались для Мэри невыясненными, хотя о том, что Ричард Биранн — неисправимый ветрогон и волокита, было общеизвестно. Тот факт, что обе, и Кейт и Пола, дружно «обожали» Мэри, едва ли стоило слишком уж принимать на веру. Мэри, со свойственной ей обостренной восприимчивостью, загодя приготовилась наблюдать, как возрастает их интерес друг к другу, и в первые

месяцы по приезде Полы не на шутку терзалась недобрыми предчувствиями. Кончилось, однако, тем, что как раз благодаря спокойному достоинству Полы, ее независимости, особой, присущей ей доброкачественности нервы у Мэри успокоились, освободив в ней энергию, потребную, чтобы видеть положение вещей таким, каково оно есть. Скоро она пришла к заключению, что бояться ей нечего. Взаимное расположение Кейт и Полы не таило в себе никакой угрозы для нее. В нем не было и тени скрытности, потенциальной возможности для сговора у нее за спиной. Вместе с убежденностью в этом пришло и особое удовольствие от их сосуществования в качестве свободного трио — удовольствие, которое, как она знала, разделяли и двое других.

Квартет детей тоже ладил между собой совсем недурно. Все дети теперь разъезжались по своим школам: Пирс — в Брайанстоун, двойняшки — в Бидейлз, Барбара — в швейцарский La Residence. Их попеременное присутствие и отсутствие в доме, вкупе с чередованием буден и выходных, словно бы разграфляли жизнь Мэри на контрастные шахматные квадраты. Когда детей не было, Кейт проводила обычно часть недели в своем лондонском доме либо отправлялась в очередную

поездку с Октавианом, для которого расписание воздушных рейсов было примерно то же, что для большинства людей — расписание пригородных электричек. С наступлением выходных дом преображался внедрением в него таинства супружеской пары. Кейт и Октавиан, очаровательно, с неиссякающим весельем объединенные в браке, занимали, так сказать, ожидающие их места на троне. Пола и Мэри, соответственно, обретали статус безмужних женщин. Смеялись в ответ на шуточки Октавиана насчет гарема, а по ночам слышали за стеной негромкое и неумолчное, как ручей, журчание супружеских разговоров. При детях напряжение по выходным несколько разряжалось — просто обстановка в доме становилась более людной, сутолочной, менее уединенной. Но, впрочем, дети в субботу и воскресенье изменялись тоже — Барбара обращалась внезапно в «хозяйскую дочку», чье положение подразумевает своего рода обособленность, нечто среднее между привилегией и повинностью, что остальные трое принимали без рассуждений. Присутствие в доме мужчин — Октавиана, а с недавнего времени и Джона Дьюкейна (рассматривать в качестве мужчины дядю Тео никому не приходило в голову) — тоже

влияло на поведение детей, не столько держа их в узде, но хотя бы побуждая к большему порядку в поступках и в голове.

В целом Мэри Клоудир была довольна — по крайней мере, испытывала посреди ежедневных забот и тревог смутное удовлетворение — лучшее, на что, как сама себе внушала, была способна. Алистер Клоудир умер, когда Пирс был еще совсем маленький, оставив свою жену без гроша. Для Мэри, которая, выйдя замуж, бросила университет, зарабатывать на жизнь оказалось нелегко. Она стала машинисткой. Пирсу присудили стипендию в той же школе, где когда-то учился его отец. Худо-бедно им удавалось перебиваться, однако Мэри затаила горькую обиду на судьбу, которая так жестоко обманула ее, отняв Алистера. Ею овладел дух мелочного и желчного сарказма. Она привыкла довольствоваться малым и полагаться лишь на то, что имеет. Кейт, которая и отдаленно не догадывалась, что Мэри — существо, разочарованное в жизни, отчасти исцелила ее. Неизменно и безоглядно счастливая, она и в Мэри пробудила стремление к счастью, зажгла в ней, словно поворотом выключателя, надежду. Несдержанная в проявлении чувств, Кейт придала и Мэри отваги дать волю своим

эмоциям. Безоблачный животворящий эгоизм Кейт и ее мужа, роскошное их самодовольство сообщили и Мэри долю жизнелюбия, очень скромную — никакого сравнения, — но спасительно благотворную для нее. Что же до прочего, она прекрасно видела все то, что причиняло ей боль, но, в общем, научилась с этим мириться.

Проходя по верхнему коридору, Мэри обратила внимание, что двойняшки вышли на газон перед домом и затевают игру. У близнецов был целый набор игр собственного изобретения, постигнуть правила которых Мэри не было дано, сколько бы она их ни наблюдала. Она подозревала иногда, что игры эти скорей из области математики и основаны на некой, от природы дарованной этим удивительным детям внутренней компьютерной системе, отсутствие которой у других людей они пока еще не обнаружили. Названия эти игры носили большей частью краткие и маловразумительные, типа «колышки» или «пух и перо». Та, например, что разворачивалась в настоящий момент на участке покатого газона, разбитом при помощи натянутой веревки на квадраты и треугольники, именовалась невесть почему «мышиная знать».

Дверь в комнату Барбары была открытой, и Мэ-

ри увидела с порога сосредоточенный профиль сына, который склонился над большим столом у окна, напряженно вглядываясь сквозь роговые очки в его поверхность. Пирс, смуглый и кареглазый, с каштановыми волосами, был носат, причем нос на его гладкой восковой физиономии составлял одну прямую линию со лбом, как бывает у животных. Побуждение протянуть руку и погладить его, как гладят пони, по лбу и носу бередило уже невольно душу многих, в том числе и некоторых его школьных учителей. Серьезный, пристальный взгляд и привычка говорить неторопливо, тщательно подбирая слова, придавали ему умный вид. На самом деле он, и вправду не лишенный способностей, не отличался ни усердием в занятиях, ни особой начитанностью. Мэри, оставаясь невидимой, подошла ближе и увидела, что Пирс выложил на столе затейливый узор, составленный из сотен ракушек, расположенных по спирали, совсем крохотных в центре и все более крупных ближе к краю. Завершая наружный край узора, он остановился, чтобы выбрать нужную ракушку из груды, наваленной у его ног.

Теперь Пирс почувствовал присутствие матери и медленно повернулся к ней лицом. Он

вообще чаще всего избегал быстрых движений. Он посмотрел на нее без улыбки, почти угрюмо. Смотрел, как зверь, загнанный в угол, но не испуганный — опасный, уверенный в себе зверь. Мэри вообразила мысленно самое себя — худая, темная фигура; мать, представляющая, что ни говори, прошлое, Пирсово прошлое, и восставшая перед ним уже чем-то вроде призрака, тени. Все это явилось к ней мгновенно, вместе с мучительным приливом властной любви к сыну, слепящей жалости, непонятно, к нему или к себе. Ища, что бы сказать, она вобрала в себя заново место действия — нарядную комнату Барбары, такую чистенькую сейчас, пустующую, но уже готовую принять свою хозяйку. И, безошибочно угадывая чутьем незащищенность сына, увидела, до чего не ко времени здесь и теперь это громоздкое сооружение из ракушек. Оно вязалось с выношенными в тиши помыслами Пирса о Барбаре, но никак не с шумной суматошливой реальностью ее приезда, которого Мэри сейчас ждала с содроганием. Весь он, показалось ей вдруг, был в этих усердных трудах над ракушками — замкнутый, обращенный внутрь себя и совершенно не умеющий правильно оценить обстановку.

Снаружи, с газона, донесся крик, затем — шур-

шание колес по гравию и восторженный лай Минго. Пирс не сразу двинулся с места. Еще минуту подержал, не отпуская, своим взглядом горестный взгляд матери, покуда она не отступила назад, и тогда неторопливо прошел мимо нее на лестничную площадку.

— Мамочка, до чего было здорово, — обалденный ланч в самолете, всех обносили шампанским и меня тоже, — погоди, Мэри, тебе нельзя поднимать мой чемодан, скажи ей, мама, — нет, вы взгляните, у Минго хвост крутится прямо как пропеллер, — сидеть, Минго, ты покалечишь Монтроза своими лапищами, — а Монтроз меня узнал, правда, мама, — но куда подевался дядя Тео, я его даже разглядеть не успела, — не дергай меня так за юбку, Эдвард, она совсем новая, — какое у меня платье хорошенькое для тебя, Генриетта, нашла в Женеве, — а Вилли как, ничего, — для него у меня замечательный бинокль, контрабандой провезла, оцените мою храбрость, — всем-всем до единого привезла подарки, — laisse moi done, Пирс, que tu m'embêtes[1], — мам, я верхом ездила каждый день, а с французским у меня теперь вообще отлично и на флейте занималась все время,

---

[1] Примечания: 1

Пусти же меня, Пирс, до чего ты меня раздражаешь *(франц.)*.

даже играла на концерте, — а загорела как, видите, — вы посмотрите, какой загар, — да, я тебе кружева купила, мамочка, а тебе, Мэри, брошку, папе — часы на стол, — Генриетта, забери-ка Монтроза, — а вот с этим чемоданом осторожнее, у меня там итальянское стекло, — просто положи на кровать, ладно, Мэри, — ой, какое блаженство быть дома, только жаль, папы нет, — так чудесно все видеть снова, — обязательно сбегаю к Вилли, — это что еще за ракушки у меня на столе, просто сдвинь их в сторону, вот и все, — а, черт, попадали, рассыплются теперь по всему полу, — Кейси, сколько раз я просила не пускать ко мне в комнату близнецов, — теперь можно другой чемодан положить на стол, — вот так, спасибо большое, — ма-ама, на каком потрясном балу я побывала, всем полагалось прийти в черном или белом, — и потом еще летала на вертолете, — так страшно, ужас, — совсем не то что самолет…

Глава третья

Джон Дьюкейн смотрел в глаза Джессики Берд. Глаза у Джессики понемногу наливались слезами. Дьюкейн отвел прочь свой взгляд, потом потупился. Он не расстался с нею раньше, когда разлука была бы для него мученьем. Бросал ее теперь, когда это было далеко не так мучительно, скорее даже сулило облегчение. Раньше следовало бросить. Однако тот факт, что следовало бросить теперь, все равно оставался фактом. Эта мысль была ему необходима, чтобы устоять против ее слез.

Он снова поднял глаза, обойдя стороной ее неясное несчастное лицо. Заново, уже словно бы вчуже, отметил, какой необычный вид у ее комнаты. Комната Джессики своим аскетизмом вызывала представление о военном корабле. Никаких примет обитаемого жилья — ни книжек, ни бумаг, разбросанных в уютном кавардаке, одни лишь жесткие чистые краски и формы, не смягченные следами нормального человеческого беспорядка. Если мебель — это набор предметов, созданных, чтобы человеку удобно было сидеть,

лежать, класть, писать, то и мебели в комнате не было, были только поверхности. Даже стул, на котором сидел Дьюкейн, — единственный стул — и тот представлял собой всего лишь покатую поверхность, не приспособленную ничьей заботливой рукой к изгибам человеческого тела. Даже кровать, арена былых его схваток с Джессикой, напоминала больше доску; постыдные вмятины на ней — расправлены и разглажены. На пластиковых полках, безликих, точно столики в кафе, помещались не то чтобы украшения или произведения искусства, но, точнее, объекты, изготовленные или найденные Джессикой. Вечерами она бродила по мусорным свалкам, подбирая кирпичи, кафельные плитки, деревяшки, спутанные мотки проволоки. Иногда из этих предметов создавала другие предметы. Иногда им дозволялось оставаться в первоначальном виде. Большей частью, однако, объекты изготовлялись из газетной бумаги особым методом, осуществляемым Джессикой в ванной комнате ценою регулярно повторяющихся засоров. Непрожеванная масса, хранящая следы газетного шрифта, уплотнялась, образуя невесомые геометрические объемы со сквозным разноцветным нутром. Эти загадочные объемы, расставленные рядами,

относились, как часто казалось Дьюкейну, к разряду явлений, принцип которых недоступен его пониманию. Для созерцания они, во всяком случае, не предназначались и подлежали в короткий срок уничтожению.

Джессика преподавала в начальной школе — рисование и английский. Ей было двадцать восемь лет, а выглядела она на восемнадцать. Дьюкейну, с его проседью в шевелюре, с голубыми совиными глазами и ястребиным носом, было сорок три и выглядел он на сорок три. Они познакомились на каком-то вечере. Любовь застигла обоих врасплох. Джессика, бледная, тоненькая, в непременной мини-юбке, с длинными каштаново-золотистыми волосами, спадающими, как придется, ей на плечи или туго схваченными тесемкой в конский хвост, была для Дьюкейна существом почти непостижимым — и определенно не его поля ягодой. Он видел в ней бездну таланта и почти полное отсутствие интеллекта — такого сочетания ему встречать еще не приходилось. Она принадлежала к племени молодых, чье чужеродство он ощущал в полной мере и в сущность которого проникать отнюдь не собирался. Первое время они не переставали удивлять и радовать друг друга. Дьюкейн дарил ей книжки, которые

она не читала, драгоценности, которых не носила, и маленькие дорогие objets d'art[2], которые, заняв место среди ее культовых творений, до того выпадали из их ряда, что обретали поистине сюрреалистический характер. Он убеждал ее работать с более долговечными материалами, но тщетно. Она в нем видела человека испорченного, неотразимого — и старшего на целую вечность.

Нервической, неустойчивой чувственности Дьюкейна требовалась, хоть он и не вполне о том догадывался, определенная духовная подпитка, известная игра, обеспечить которую Джессика была неспособна. Да и в любом случае, глубоко сидящий в нем пуританизм не выдерживал длительной связи. По темпераменту он не годился в любовники. И знал это. На любовные похождения решался нечасто, и продолжались они недолго. К тому же он и умом сознавал, что совестно удерживать при себе молодую и привлекательную девушку, если ты не намерен на ней жениться. Дьюкейн предпочитал не усложнять себе жизнь, не любил таиться, тяготиться чувством вины. С течением времени новизна открытий возбужда-

---

[2] Примечания: 2
Произведения искусства *(франц.).*

ла его все меньше, своеобразие художественных пристрастий Джессики скорее раздражало, а не пленяло, он видел в ней уже не столько редкостное и экзотическое создание, сколько не первой молодости девицу с чудачествами, обещающую в дальнейшем превратиться просто-напросто в пожилую англичанку с чудачествами же и без малейшего мистического флера. Тогда он нашел в себе силы — стыдясь, что не нашел их раньше, — положить конец роману, который, понятно, нечего было и начинать. Тогда-то, то есть более полутора лет назад, ему и следовало ее бросить. Вместо этого он позволил себе дрогнуть при виде ее слез и согласился, что лучше им остаться пусть не любовниками, но хотя бы друзьями, встречаясь так же часто, как и прежде. Согласился тем более охотно, что до конца еще не разлюбил ее.

Предполагал он или нет, но в его страсти была немалая доля лукавства, так как, освободясь от бремени главной своей вины, он вновь увидел прелесть Джессики, любуясь ею, прикасаясь к ней с ничем не омраченным удовольствием, почти уговорив себя, что нашел в ней дитя и друга. Мало-помалу он с огорчением убедился, что она не разделяет с ним это чувство вновь обретенной свободы. Он не отпустил ее на волю.

Она по-прежнему любила его, да и вела себя, правду сказать, по-прежнему, то есть как его любовница. Видеть его, ждать, видеть снова — его приходы, его уходы, — из этого слагалось ее время. Подавляя в себе порывы любви, она следила за ним с тревогой, с безотчетным страхом, как бы из-за нее он не почувствовал себя пойманным в ловушку или виноватым. Если и дотрагивалась до него, то совсем легко, стараясь продлить каждое воздушное касание, точно надеялась извлечь таким образом для себя некий бальзам, целительное снадобье, которое поможет ей пережить пустой промежуток, когда его не будет. Она по-прежнему воспринимала мир лишь сквозь призму его особы. Он не мог не заметить силу и глубину ее страданий, — накапливаясь до предела, они нет-нет да и прорывались наружу. Из-за этих убийственных моментов истины он начал страшиться приходить к ней. Оба были напуганы, оба ожесточились, готовые повздорить по малейшему поводу. В конце концов Дьюкейн пришел к решению, что единственный для них выход — самый жестокий: порвать друг с другом окончательно. Он все продумал, покуда не достиг полной ясности. Но стоило ему завести разговор на эту тему, пуститься в объяснения — и они

вновь окунулись в привычную муть, мешанину из сострадания и страсти.

— Что я сделала не так?

— Ничего ты не сделала.

— Тогда почему все не может идти как шло, почему ты вдруг заговорил об этом?

— Я хорошо подумал. Ситуация совершенно ненормальная.

— Совершенно нормальная. Я люблю тебя, вот и все.

— То-то и оно!

— На свете и без того мало любви. Зачем тебе убивать мою?

— Все сложнее, Джессика. Я просто не вправе принимать твою любовь.

— Не понимаю почему.

— Это несправедливо по отношению к тебе. Я не могу держать тебя в безысходном положении.

— А если я, допустим, хочу, чтобы меня в нем держали?

— Суть не в том, чего ты хочешь. Наберись духу и пойми.

— То есть, по-твоему, ты действуешь в моих же интересах?

— Тебе самой это известно.

— Я тебе надоела, так бы и сказал!

— Джессика, ты же знаешь, что я тебя люблю. Но не могу я больше причинять тебе такие страдания!

— Пройдет время, и страдания притупятся. И потом, где сказано, что нужно жить без страданий?

— Нам обоим это во вред. Должен я нести хоть какую-то ответственность…

— Да при чем тут твоя ответственность! У тебя кто-то есть. Ты завел себе новую любовницу.

— Никого я не завел!

— Ты же твердо обещал мне, что скажешь, если это случится!

— Я держу свои обещания. Этого не случилось.

— Почему тогда все не может и дальше идти так же? Я много от тебя не прошу.

— В этом-то все и дело!

— Как хочешь, Джон, но я не отпущу тебя, так и знай. Я этого… честно… не выдержу.

— О боги, — сказал Дьюкейн.

— Ты убиваешь меня, — сказала она, — и ради чего? Ради пустых, отвлеченных понятий!

— Господи!

Он встал и повернулся к ней спиной, опасаясь, как бы девушка, стоящая перед ним на коленях, не метнулась вперед и не обхватила его за ноги.

До этой минуты беспощадность его слов и ее потрясение удерживали их в неподвижности лицом друг к другу.

Мои слабости, проносилось в голове у Дьюкейна, греховность во мне привели к ситуации, когда хочешь не хочешь, а вынужден поступать как скотина. Она права, зачем убивать любовь, ее всегда и повсюду слишком мало. Да вот приходится. Черт, почему это действительно так похоже на убийство… Если б только я мог принять на себя всю эту боль! Но в том-то и кара за грехи, быть может, самая худшая и неотвратимая, что это при всем желании невозможно.

У него за спиной она сказала срывающимся голосом:

— Я все равно думаю, должна быть какая-то особая причина. Что-то там у тебя случилось…

Беда в том, что это была правда, и решимость Дьюкейна подрывало сознание, что побуждения его не столь уж бескорыстны. Нет, сам поступок сомнений не вызывал, и будь это лишь поступок как таковой, без посторонних примесей, Дьюкейн, пожалуй, совершил бы его — смущало, что тут примешаны и собственные интересы. Он и в самом деле хотел дать свободу Джессике, но еще больше хотел освободиться сам. Ибо то, что

случилось с Джоном Дьюкейном, носило имя Кейт Грей.

Дьюкейн был знаком с Кейт давным-давно, но в последнее время у него, как бывает с годами, произошел легкий сдвиг в отношении к тому, что, казалось бы, досконально тебе знакомо — он обнаружил, что немножко влюблен в Кейт и имеет основания предполагать, что она, в свою очередь, немножко влюблена в него. Это открытие не привело его в смятение. Кейт была замужем, и прочно. Он не сомневался, что в ее милой головке нет ни единой мысли, какую она не поведала бы мужу во время их долгих ежевечерних разговоров. Не сомневался, что супруги обсуждали его между собой. Определенно без насмешки, но может статься, не без подтрунивания. Он прямо-таки слышал, как Кейт сообщает мужу: «А знаешь, Джон ко мне неравнодушен!» Как бы ни называлось то, что так счастливо совершилось между ними, — Октавиан был в это посвящен. Ситуация не таила в себе ни малейшей опасности. Ни о каком настоящем романе здесь не могло быть и речи. Дьюкейн мог с чистой совестью ответить Джессике, что любовницы у него нет и не предвидится. Признаться, из безотчетной осторожности он вообще не упоминал

Кейт о Джессике или Джессике о Кейт. Он знал, что Кейт в своем новом восприятии его исходит из уверенности, что его сердце никем не занято, и уверенность эта имеет важное значение. Ирония заключалась в том, что оно было и впрямь не занято. Просто теперь, когда его чувства к Кейт заявляли о себе все громче, он ощутил настоятельную потребность стряхнуть с себя последние путы, еще удерживающие его.

Картина, которая рисовалась Джону в связи с Кейт, и рисовалась вполне отчетливо, была в его жизни чем-то новым, возникновение ее свидетельствовало о примирении с судьбой, признании того, что он уже не молод и вряд ли теперь когда-нибудь женится. Явилась потребность на чем-то остановиться, потребность обрести пристанище, семью обрести, если угодно. Он знал, хотя Кейт о том не говорила, что она прекрасно это понимает. Говорили о том полустрастные, — а случалось, и страстные, без всяких «полу», — поцелуи, которыми они, улыбаясь в глаза друг другу, обменивались теперь непринужденно и естественно всякий раз, как оказывались вдвоем. Знал он и то, что для Кейт перспектива заарканить его подобным образом не содержит ничего, кроме радости. Для него самого такие отношения

будут — и уже бывали — небезболезненны. Что ж, он был готов принять, вкупе со всем прочим, и эти недвусмысленные, эти локализованные муки — разве не может хотя бы и боль служить составной частью блага? Широта, свойственная Кейт, ее счастливый нрав, даже ее любовь к мужу — пожалуй, в особенности ее любовь к мужу — могли дать Джону ощущение, что он дома. Он сам любил и уважал Октавиана, души не чаял в каждом из детей, и прежде всего — в Барбаре. В нем назрела надобность принадлежать, прикрепиться наконец, с возможностью любить безгрешно — и он теперь был убежден, что может вверить себя Кейт, а через нее — и всему ее семейству вкупе с чадами и домочадцами. Но чтобы осуществить это с легким, чистым сердцем, придется раз и навсегда положить конец запутанной — ни туда, ни сюда — истории с Джессикой, которая была ошибкой с самого начала. Кейт до сих пор не задавала ему вопросов. Однако, когда задаст, нужно, чтобы он мог говорить ей правду. Вот в чем заключалась та личная, та настоятельная необходимость, из-за которой он вынужден был, чувствуя себя палачом, слушать сейчас, как за спиною рыдает Джессика.

Дьюкейн сел в машину. Он ездил на переднем

сиденье, рядом со своим водителем. Сел, с ощущением, что опустошен, взвинчен, нечист. Он все же дрогнул — согласился обнять ее, обещал, что они увидятся на следующей неделе. Все сызнова возвращалось к тому же.

Ища немедленной разрядки своим чувствам, он уронил, обращаясь к шоферу:

— Фу, как паршиво… То есть, я хочу сказать, паршивый день — все не клеится.

Шофер, шотландец по имени Гавен Файви, коротко повел карим глазом в сторону хозяина. Он ничего не сказал. Только иначе перехватил баранку, чем, словно крепким рукопожатием, умудрился выразить свое сочувствие.

Отец Дьюкейна был адвокат из Глазго, а дед — удачливый винодел, и от него Дьюкейну достались деньги. Единственная роскошь, которую он позволял себе помимо «Бентли», была держать слугу. Слухи и намеки в его адрес, порожденные этой прихотью, не оставались для него тайной. Но Дьюкейн, страдая неловкостью в движениях, связанной, по его мнению, с тем, что он — левша, не видел причин отказывать себе в таком удобстве, как личный водитель. У него, надо сказать, уже сменился в этом качестве ряд персонажей один хуже другого, — но те были приходящие. Файви

состоял в этой должности сравнительно недавно и был первым его опытом взять живущего слугу.

В пользу Файви Дьюкейна расположили два обстоятельства: во-первых — внешность, и во-вторых, о чем ему, деликатно опустив подробности, сообщили в агентстве по найму, — что он из бывших заключенных. Связывало их и общее шотландское происхождение. Файви, оказывается, даже ходил в ту же, что и Дьюкейн, начальную школу в Глазго. Это открытие, плюс несходство в том, как сложилась их дальнейшая судьба, имели в глазах Дьюкейна определенную прелесть. Он надеялся услышать от Файви рассказы о его уголовных похождениях, но пока сумел выведать о прошлом своего слуги немногое, в частности — что матушка у Файви, как сам он ни с того ни с сего объявил однажды, «была русалкой». «Которые в цирке, знаете?» — прибавил Файви своим неторопливым шотландским говорком. Дьюкейн не стал уточнять, взаправду русалкой или понарошку. Предпочел оставить вопрос открытым.

Внешность же отличалась у Файви крайним своеобразием. Огромная косматая голова придавала ему сходство не то с участником карнавала, не то, как изредка представлялось Дьюкейну, — с шекспировским заколдованным Основой. Никак

не удавалось решить, красавец Файви с такой головой или чудовище. Густые волосы и обвислые длинные усы были каштановые с рыжиной. Лицо, смуглое, с абрикосовым оттенком, — сплошь заляпано большущими веснушками; пятнистая, широкая его физиономия хранила сходство с мордой животного — спаниеля, скорей всего. Ясные, широко расставленные, ярко-карие глаза — слегка раскосы, так что, не знай Дьюкейн, что Файви шотландец, он принял бы его за славянина. Для Дьюкейна, который и не подумал бы обсуждать с кем бы то ни было собственного слугу, он был пока еще внове — предмет размышлений наедине с собой, нечто вроде хобби. Аккуратность в доме Файви соблюдал идеальную, умел приготовить два-три блюда. Был неразговорчив и, кажется, не имел друзей; свободное время проводил, уединясь в своей комнате, за чтением, сколько можно было судить, женских журналов. Действовал Дьюкейну на нервы привычкой жевать в машине мятные помадки и, выполняя свои обязанности по дому, довольно-таки заунывно тянуть якобитские песни. Дьюкейн, правда, подозревал, что Файви, возможно, не замечает, что поет вслух, и покамест не набрался духу сделать ему внушение. Во всяком случае, надеялся, что тот, в разумных

пределах, доволен.

Родители у Дьюкейна умерли, из близкой родни осталась только замужняя сестра, живущая в Обане, с которой он почти не виделся. В Бейллиол-колледже Дьюкейн изучал историю, затем — право, впоследствии перешел в Колледж всех душ, был принят в адвокаты. Короткое время занимался адвокатской практикой, но убедился, что за недостатком актерских данных не может с полным удовольствием проводить жизнь в залах суда. Ему претило упражняться в адвокатском острословии, когда решаются дела серьезные, — кроме того, он предпочитал держаться в стороне от применения власти, считая, что оно дурно сказывается на характере человека. Во время войны его прямиком направили служить в разведку, и таким образом военные годы он, к своему сожалению, провел на Уайтхолле. После поступил на государственную службу и в настоящее время состоял юрисконсультом в министерстве, которое возглавлял Октавиан. Он не утратил интереса к науке, считался видным экспертом по римскому праву и периодически читал в одном из лондонских колледжей лекции по этому предмету. Занятой, преуспевающий человек, сознающий, что он — уважаемая и известная фигура. Им

восхищались, его находили загадочным. Сам же Дьюкейн смотрел на себя и свой жизненный путь трезвым взглядом. Он сохранил — а теперь и умышленно пестовал в себе — самосознание и совестливость шотландца и пуританина. Притом был чужд религиозных верований. Просто хотел вести простую, чистую жизнь, быть хорошим человеком, и это оставалось для него реальной и досягаемой целью.

«Бентли» сворачивал на Уайтхолл, когда Дьюкейн, по-прежнему удрученный мыслями о Джессике, ощутил — уже не в первый раз — явное побуждение положить руку на плечо Файви. Он заметил, что рука его сама собой легла на спинку шоферского сиденья. Живо представилось вдруг: стоит лишь дотронуться — и вот оно, глубокое, блаженное утешение! Дьюкейн грустно усмехнулся про себя. Еще один парадокс, на какие богата жизнь. Он снял руку с опасного места.

Глава четвертая

— Здравствуйте, Октавиан. Вы оставили записку, что хотите меня видеть.

Дьюкейн просунул голову в дверь к Октавиану. Было субботнее утро, назавтра после самоубийства Радичи.

— Заходите, Джон, заходите. У нас тут ситуация.

В кабинете уже сидели Ричард Биранн и Джордж Дройзен, бывший журналист, а ныне, несмотря на молодость, — высокое должностное лицо в министерстве.

Дьюкейн вошел, сел; вопросительно глянул на Октавиана.

— Слушайте, — заговорил Октавиан, — боюсь, это вас не обрадует. Словом… Дройзен, мне начать или вы ему скажете?

— Лучше вы, — сказал Дройзен.

— Это связано с Радичи, чтоб ему… — сказал Октавиан.

Дьюкейн накануне слышал о смерти Радичи. Он изредка сталкивался с Радичи на работе, но был мало с ним знаком.

— И что же?

— Да все пресса, как водится. Сначала — пресса, потом — премьер. И как назло, в субботу. Короче, Дройзен по старой памяти наведался вчера вечером кой-куда на Флит-стрит, и выясняется, что пресса разнюхала какую-то историю насчет Радичи.

— Что за история?

— Этого-то мы не знаем, но звучит достаточно банально — по крайней мере, налицо два привычных элемента — женщины и деньги.

— Шантаж, иными словами?

— Похоже, во всяком случае. Фигурирует дама по прозванию Елена Прекрасная. О профессии, думаю, догадаться нетрудно. Упоминается, что «из рук в руки перешла большая сумма денег» — дословно. Так, Дройзен?

— В чьи руки?

— Не ведаю.

— Но материал пока не напечатан?

— Нет-нет, он чересчур еще сырой. Приобретен, насколько Дройзен мог понять, крупной газетой, из самых злобных. Вот уж где наверняка перешли из рук в руки большие деньги! Теперь его придерживают, выжидая, что будет дальше, а в воздухе тем временем множатся слухи.

— Не знаете, кто поставщик этой истории?

— Нет, но говорят — кто-то из стен родной конторы. Приятного мало.

— Радичи ведь не имел допуска к секретным материалам?

— Официально — не имел. Но только для кого это довод?

— Из спецслужб не беспокоили?

— Пока нет. Я туда звонил, естественно, поскольку им непременно вынь да положь любую малость, — в ответ что-то буркнули. А вот премьер-министр — побеспокоил.

— Дошло, стало быть, насчет этой истории и слухов?

— Что-то определенно дошло, остальное досказал я и особого восторга не вызвал.

— Не рановато ли расстраиваться, — сказал Дьюкейн. — Мы не знаем даже, что там, в этой истории.

— Правильно, зато мы знаем, что политиков мало волнует торжество справедливости, их волнует, чтобы выглядело так, будто она торжествует — вследствие их неусыпных трудов. На него, по всей видимости, уже нажимают, добиваясь официального расследования.

— Какого рода расследования?

— С этим еще не ясно — главное, что тут в игру вступаете вы.

— Я?

— Да. Вы не поверите, какого о вас лестного мнения наши верхи. Премьер желает возложить расследование на вас.

— И каков будет мой статус в этом случае?

— Слава те Господи, глазом не моргнул — я-то боялся, что вы взорветесь! Статуса, строго говоря, — никакого, расследование будет носить чисто ведомственный характер. То есть я даю вам поручение, вы его выполняете. Со всем прочим будем разбираться по ходу дела.

— Понятно. Основное, по-видимому, — действовать без промедлений.

— Именно. Покуда не разрослось, как снежный ком, — вот чего не хочет премьер. Если бы разгрести это все быстренько, установить, что там было и было ли, показать, что интересы спецслужб не затронуты, тогда можно бы избежать официального расследования, которого премьеру хочется не больше нашего.

— Как раз такое показать не просто. Ежели у Радичи не все чисто в плане частной жизни, да еще пресса будет усердствовать с намеками, то люди поверят чему угодно. Примеров предостаточно.

Впрочем, попытка не пытка. Тем более, что у меня, кажется, и выбора особого нет! Я полагаю, быть не может, чтобы Радичи действительно уступил шантажу и передал кому-то секретные материалы?

— Исключено, — сказал Октавиан. — Как остальные — согласны?

— Чужая душа — потемки, — сказал Бираннн, — и все же от Радичи я бы такого не ожидал.

— Согласен, — сказал Джордж Дройзен. — Притом я знал его неплохо, в тех рамках, какие позволяет служба.

— То есть в достаточно узких рамках, — сказал Дьюкейн. — И однако, это факт, что его шантажировали?

— Так утверждают.

— И факт, что он застрелился. С чего бы ему стреляться?

— Мало того, на работе! — сказал Октавиан. — Ведь неспроста, вот что меня поразило, ведь это о чем-то говорит! Почему бы не застрелиться тихо-мирно дома?

— Его безумно потрясла смерть жены, — сказал Джордж Дройзен. — Помните, она погибла в прошлом году, выпала из окна, что ли. Буквально ходил убитый.

— Да, чем не мотив, — сказал Дьюкейн. — Он не оставил записки?

— Нет, — сказал Октавиан. — Что тоже странно. Такой любитель был писать служебные записки по поводу и без! А уж о собственной смерти ему, казалось бы, написать сам бог велел.

— Если бы точно установить причину самоубийства, тем самым прояснился бы пункт относительно спецслужб. Похоже, нам предстоит немало разведать о Радичи. Вы хорошо его знали, Бираннн?

— Вообще почти не знал, — сказал Бираннн. — Просто встречались на работе, и то нечасто. Нет, не знал.

— Я и сам пересекался с ним не так уж часто, — сказал Дьюкейн, — но, признаюсь, с этой Еленой Прекрасной он меня удивил. Не подумал бы, что Радичи из эдаких.

— Каждый мужчина из эдаких, — со смешком сказал Бираннн.

Дьюкейн сделал вид, что не слышит.

— Я бы куда скорее отнес его к разряду чудаков, немного тронутых на научной почве. Последний разговор у нас с ним был о проявлениях полтергейста. Согласно его теории, существует связь между ними и поверхностью мирового океана.

— Он сообщался с душами усопших, — сказал Джордж Дройзен.

— В конце концов, — сказал Октавиан, — спиритизм, колдовство и прочее — все это связано, и всегда было связано, с сексом. К большинству из нас секс приходит в сопряжении с тем или иным вывертом. Может, в этом просто состоял его выверт.

Дьюкейн не был так уж уверен насчет большинства. Он невольно спросил себя, приходит ли секс к самому Октавиану в сопряжении с вывертом.

— Есть у него родные, близкие? — спросил он.

— Никого, как будто, кроме сестры, да и та уже много лет живет в Канаде.

— В полицию нужно идти, — сказал Дьюкейн, — поглядим, чем они располагают, хотя предвижу, что немногим. Не позаботитесь, Октавиан, предупредить обо мне кого следует в Скотленд-Ярде? А вам бы, Дройзен стоило прогуляться снова по Флит-стрит, навести подробнее справки об этой истории и, кстати, выяснить, кто скормил ее прессе.

— Назад в насиженные пабы! — сказал Дройзен. — С нашим удовольствием.

— Мне потребуется от вас официальное письмо, Октавиан.

— Я уже вчерне набросал.

— Тогда вставьте, ладно, что я по собственному усмотрению решаю, раскрывать или нет то, что, на мой взгляд, не существенно для цели расследования.

— Думаете, можно? — с сомнением сказал Октавиан.

— Да разумеется! Не нравственность же бедняги Радичи мы расследуем, в конце концов. Как его звали, между прочим?

— Джозеф, — сказал Бираннн.

— Вы в Дорсет едете, Октавиан?

— Всенепременно! Мало того — вы тоже. Нет смысла начинать, покуда Дройзен не проведет свои розыски.

— Ну хорошо. Как только добудете что-нибудь, позвоните. — Он продиктовал Дройзену номер телефона в Трескоуме. — Что ж, это все, друзья.

Дьюкейн встал. Дройзен — тоже. Бираннн продолжал сидеть, почтительно глядя на Октавиана.

Дьюкейн мысленно выругал себя за забвение приличий. Он слишком привык, в дружбе с Октавианом, к своему признанному превосходству и на минуточку упустил из вида, что находится в кабинете Октавиана, что не он, а Октавиан

проводит это совещание. Но сильнее всего в это мгновение он ощутил вражду к Бирану. Однажды, много лет назад, он, сидя в ресторане, слышал нечаянно, что за перегородкой говорит о нем Биранн: Биранн рассуждал о том, правда ли, что Дьюкейн — гомосексуалист. Выругав себя еще и за назойливую память об этом, Дьюкейн будто услышал вновь тот характерный, тот язвительный смешок Бирана.

Глава пятая

— А как в Древней Греции варили яйца? — спросил у матери Эдвард Биранн.

— Ты знаешь, не скажу, — отозвалась Пола.

— А как на древнегреческом будет «яйцо всмятку»? — спросила Генриетта.

— Не знаю. Что яйца употребляли в пищу — об этом кое-где упоминается, а вот о том, чтоб варили, — не припомню.

— Возможно, ели сырыми, — сказала Генриетта.

— Сомнительно, — сказала Пола. — У Гомера что-нибудь есть на этот счет, не помните?

Близнецы, которых мать обучала греческому и латыни чуть ли не с колыбели, были уже нешуточные специалисты в области классических языков. Из Гомера, однако, им ничего на память не приходило.

— Можно бы поискать у Лиделла[3] и Скотта[4],

---

[3] Примечания: 3

Лиделл, Генри Джордж (1811–1898) — английский ученый, составитель «Греческого лексикона».

[4] Примечания: 4

Скотт, Майкл (1175–1234) — шотландский переводчик и астролог.

— сказала Генриетта.

— Вилли, вот кто будет знать, — сказал Эдвард.

— Можно, мы вечером те водоросли положим в ванну, когда будем купаться? — спросила Генриетта.

— Это лучше спрашивайте у Мэри, — сказала Пола.

— Для тебя там письмо внизу, — сказал Эдвард. — Чур, марка — мне!

— Ты свинтус! — крикнула его сестра.

Двойняшки, действуя преимущественно в духе доброго согласия, соперничали, когда речь шла о марках.

Пола рассмеялась. Она в эти минуты как раз собралась выйти из дому.

— А что за марка?

— Австралийская.

Холодная, мрачная тень накрыла Полу. Продолжая машинально улыбаться, отзываясь на болтовню своих детей, она вышла из комнаты и спустилась вниз по лестнице. Мало ли от кого еще могло быть это письмо… Но только никого другого она в Австралии не знала.

Письма всегда раскладывали на большом, круглом, палисандрового дерева столе посреди холла, заваленном обычно также газетами, книжка-

ми, которые на данный момент читали в доме, и дребеденью, имеющей отношение к играм двойняшек. Эдвард, добежав первым, схватил брошюру «Еще о хищных осах», которой заблаговременно прикрыл письмо, спасая марку от глаз Генриетты. Пола еще издали разглядела на конверте узнаваемый почерк Эрика.

— Можно, мам, эту — мне?

— А можно, мне тогда — в следующий раз, — крикнула Генриетта, — и потом — тоже, и потом?

У Полы дрожали руки. Она быстро надорвала конверт, вытащила, письмо, сунула в карман. Отдала конверт сыну и вышла из дому на солнце.

Огромный купол, выщербленный и незамкнутый с ближнего края, образованный небом и морем, опрокинулся над Полой, точно своды холодного склепа; она зябко поежилась, будто не на солнцепеке стояла, а под лучами губительной звезды. Склонила голову, точно готовясь набросить на нее покрывало, и сбежала по стриженому косогору на лужок, на тропинку вдоль кустов боярышника, уходящую к морю. Летела, опускаясь к воде, замечая все в том же солнечном мраке, как скользят по лиловатой прибрежной гальке ее обутые в сандалии ноги. У моря берег круто

обрывался вниз, и Пола, с шумом осыпая гальку, устроилась на каменном выступе прямо над водой. Море было сегодня такое тихое, что казалось неподвижным, с неслышным плеском целуя берег, изредка наползая на него завитком крошечной волны. Солнце сквозь зелень воды освещало песчаное, усеянное камнями дно, ненадолго обнаженное отливом, и дальше — неровную бахрому розовато-лиловых водорослей. Поверхность воды роняла на песок подвижные тени, испещряя его легкими пузырчатыми очертаниями, похожими на изъяны в стекле.

О том, что когда-то Пола была влюблена в Эрика Сирза, свидетельствовали письма, которые к ней приходили. Память о том молчала. То есть преподносила ей отрывочные события и поступки, не поддающиеся иному объяснению, кроме того, что она была в него влюблена. Сама же любовь не оставила по себе воспоминаний. Ее не просто убило, но напрочь выключило из ясной цепочки осознанных и памятных дней потрясение от той чудовищной сцены.

Эрик Сирз стал причиной развода Полы. Ричард Бираннн, которому она без конца спускала его измены, с нерассуждающей жестокостью ревнивца развелся с нею, стоило ей оступиться один-един-

ственный раз. Причина причин — наваждение страсти к Эрику — стерлась у нее бесследно, но остальное не изжилось до сих пор. То страшное время, стыд и горе, были по-прежнему живы в ней — ни свыкнуться, ни примириться. Она поступила безрассудно — дурно поступила, и ничего не сошло ей с рук. Гордости ее, достоинству, возвышенному представлению о себе был нанесен свирепый удар, и эта рана по-прежнему болела и жгла днем и ночью. Пола думала, что об этом никто не знает, хотя, размышляя, говорила себе подчас, что Ричард-то знает наверняка.

Роман с Эриком — совсем короткий, надо сказать, — казался ей теперь чем-то невыразимо пошлым, ничтожным, в чем она положительно не могла участвовать, — как ни старайся, это не укладывалось в голове. Терпимая по отношению к другим, по отношению к Ричарду в прошлом, Пола считала, что сохранять верность в браке очень важно. Неверность унизительна, она, как правило, влечет за собою ложь или по крайней мере недомолвки, утайки. Для Полы имел большое значение «нравственный стиль», если можно так выразиться. Кто-то сказал о ней однажды, не вполне справедливо: «Для нее главное не то, какую мерзость вы совершили, а каким

тоном вы скажете об этом». Во всяком случае, к тому времени, как распался ее брак, Пола почти что убедила мужа, что ей более всего ненавистны не сами его похождения, а его вранье о них. И в собственном поведении тогда ее прежде всего оскорбляло не то, что она спала с Эриком, а то, что опустилась до полуправды в отношениях с Ричардом, играла мелкую, суетливую роль, дала вовлечь себя в чуждую ей, неуправляемую ситуацию. Сожаления грызли ее, не утихая, и, когда бы не постоянные усилия воли и доводы рассудка, окончательно отравили бы ей жизнь. Как повернулись бы события, не разразись та жуткая сцена с Ричардом, неизвестно. Ричард, пожалуй, развелся бы с нею в любом случае, он не помнил себя от ярости. Трудно было вообразить, что она продолжала бы любить Эрика. Из-за него она лишилась слишком многого. Хотя на самом деле уничтожило ее любовь — и, кажется, мгновенно — то сокрушительное поражение, которое он потерпел от рук Ричарда. Несправедливость — да, но та глубинная, не объяснимая логикой несправедливость, что свойственна силам, управляющим нами в самые роковые минуты, — силам, которые мы вынуждены признавать в нашей жизни как нечто исходящее свыше, и никакая мораль тут

ни при чем. Та сцена неотступным кошмаром преследовала Полу до сих пор: перекошенное лицо Ричарда, вопли Эрика, кровь повсюду, куда ни повернись. Все трое, разумеется, сделали вид, что произошла ужасная случайность.

Бедный Эрик. Он не хуже Полы распознал в том непостижимый приговор высших сил и подчинился ему. Стыд, положительно, сломил его. Навестив его в больнице, Пола быстро поняла, что ему это в тягость. Они кое-как простились. Эрик написал ей, что уезжает в Австралию. В прощальном письме из Австралии сообщал, что встретил на пароходе девушку и собирается на ней жениться. Было это почти два года назад. Вновь получить известие от Эрика Пола не хотела. Вообще не хотела знать, что Эрик существует в природе.

Солнце нещадно сверкало на поверхности воды. Сощурясь от слепящего света, Пола медленно развернула письмо.

«Милая, дорогая моя!

Ты удивишься, что я пишу тебе опять — а впрочем, может быть, нет. Я почему-то знаю, что ты вспоминаешь обо мне. Последний раз я писал, что собираюсь

жениться. Так вот, из этого ничего не вышло. Должен признаться, мне очень скверно, и это продолжается давно. Никогда не думал, что человек может быть глубоко несчастлив так долго. Хочу сказать, что знаю теперь — отъезд сюда был ошибкой, разлука с тобой — ошибкой. И я решил вернуться назад. Больше того — когда ты получишь это письмо, я уже буду плыть домой.

Не знаю, разумеется, что было или не было с тобой с тех пор, как мы расстались, но чутье подсказывает мне, что ты не поспешила снова выйти замуж. Пола, мы неразрывно связаны друг с другом. Вот заключение, к которому в конце концов привели меня эти горькие месяцы. Бывают узы, которыми людей навечно скрепляют в конторе или в церкви, — бывают вечные узы, которыми нас соединяют иначе, непредсказуемо и грозно. Ты понимаешь, о чем я говорю. Я пострадал из-за тебя, Пола, из-за тебя был покалечен; есть ущерб, который лишь ты способна возместить, — боль, которую только тебе по силам унять. Я думал, у меня это пройдет.

Не прошло. И у тебя не прошло, я знаю! (Какие невероятные сны, между прочим, из ночи в ночь снились мне про тебя!) Уверен, мы принадлежим друг другу. Следует научиться жить с тем, что произошло, сжиться с ним — и сделать это мы должны вместе. (Как удивительно все же устроен человек! У меня за то время, что я в Австралии, много было причин печалиться. И обижали меня, и обманывали, и подводили… Однако косвенным образом эти печали перекликались все с тем же, возвращались к тому же.) Ты передо мной в долгу, Пола, а ты, я знаю, из тех, кто платит по долгам. Ты ведь и сама тоже не можешь быть счастлива, довольна тем, как обошлась со мной, когда меня (употребляю эти слова намеренно) едва не погубили за то, что был повинен в любви к тебе. Прошлое необходимо признать, принять, — и примириться с ним. Мы можем исцелить, можем спасти друг друга, Пола, — и никому, кроме нас одних, это не дано. Я сердцем слышу, как отзываешься ты на мои слова, и, значит, сказанное мною — правда. Так жди меня,

о, милая, молись за меня, встречай меня! С дороги напишу еще. На веки вечные *твой*,

Эрик».

Пола скомкала письмо. Разорвала на мелкие клочки и рассыпала по упругому зеркалу воды. Как явственно из этого письма вновь перед ней встал Эрик, во всех подробностях, по счастью забытых ею, затмевая, словно фигура из преисподней, сверкающее море, — его вымученные восторги, его мистическая уверенность, смесь слабости и угрозы, что некогда представлялась ей столь трогательной, беспардонное коварство его эгоизма! Конечно же, она вела себя предосудительно — потому, не в последнюю очередь, что так поспешно отвернулась от него в самом конце. Однако любовь к нему, способность помочь покинули ее бесследно и навсегда. В том состояла ее уверенность. Хотя так ли это, тут же спросила себя Пола, стараясь привести в порядок свои мысли — вдруг она все-таки может помочь Эрику, вдруг все же стоит попробовать? Что, если он прав и им осталось еще что сделать друг для друга? От перспективы увидеться с ним снова ей сделалось муторно, тошно, страшно. Было в Эрике нечто са-

танинское. Ричард никогда не внушал ей страха, хоть был из числа тех, кому недолго и ударить. Пола знала теперь, что Эрик страшен ей — очень страшен. Таково было качество, присущее той, совершенно ею забытой любви.

Глава шестая

«Кот был из Абиссинии
И лазил по осинам», —

— напевал Эдвард, вытаскивая Монтроза из плетенки, в которую нерешительно и безуспешно пытался забраться Минго, пасуя всякий раз перед холодным взглядом кота. Минго расположился в корзине. Монтроз, оскорбленный, вывернулся от Эдварда и удалился к плите, где, подняв дыбом шерсть, закосил под птичку.

— Можно, мы в ванну вечером положим те водоросли? — спросила Генриетта у Мэри Клоудир.

— Зачем это вам понадобилось мыться с водорослями? — отозвалась Мэри.

— Это наше особое средство от ревматизма, — сказал Эдвард.

— Ты что же, Эдвард, ревматизмом у нас страдаешь?

— Нет, оно вообще-то для дяди Тео, но мы подумали, сперва проверим на себе, не появятся ли потом признаки отравления.

— Прошлый раз, как вы такое учудили, все водоросли попали в сток и образовался засор на

много дней, — сказала Кейси, входя на кухню с лукошком, полным салата и помидоров.

— На этот раз не попадут, честное слово!

— Тогда — ладно, — сказала Мэри. — Слушайте, вы бы все же вынесли в сад эти камни!

Кейт с Дьюкейном, проходя мимо кухни в холл, обменялись улыбками.

— Да, Мэри, — бросил через плечо Дьюкейн в кухонную дверь, — мы пошли к Вилли.

— К чаю только не опаздывайте, все-таки — воскресный чай, событие.

— Ну и как моя маленькая нимфа? — сказал Дьюкейн, сталкиваясь при выходе из дома с Барбарой.

— J'aimerais mieux t'avoir dans mon lit que le tonnerre[5]? — отвечала чопорно Барбара, устремляясь вприпрыжку следом за ними.

Дьюкейн, смеясь, дернул ее за прядку волос.

Светлые, короткие волосы Барбары, круглолицей, как и ее мать, тоже слегка курчавились, но только у Кейт копна их венчала ее подвижным растрепанным нимбом, меж тем как у Барбары, тщательно стриженные, они охватывали ее головку, точно филигранной работы шлем.

---

[5] Примечания: 5

Французское идиоматическое выражение, здесь слегка искаженное, смысл которого — комплимент.

Лицо, по-ребячьи розовое, отливало тем восхитительным яблочным глянцем, который в юности обычно уже утрачивают. Босые длинные ноги, от гарцующих ступней до короткой юбочки, были одинаково ровного, теплого, золотисто-смуглого оттенка.

— Что бы тебе не пойти поискать Пирса, — сказала Кейт. — Я его видела возле кладбища, и кажется, ему довольно одиноко.

Барбара, с миной, исполненной добродетели, тряхнула головой:

— Мне надо идти на флейте заниматься. Собираюсь дать сольный концерт из Моцарта для Вилли.

— А для меня не хочешь дать сольный концерт? — спросил Дьюкейн.

— Нет. Только для Вилли. — И она вприпрыжку пустилась к дому.

— Как выросла девочка! — сказал Дьюкейн. — Уже с вас ростом. И почти такая же хорошенькая.

— Дорогой мой! Боюсь, у них с Пирсом не все гладко, с тех пор как она снова дома.

— Ну что ж, причина вам известна. Взрослеют.

— Да, знаю. Они действительно созревают нынче рано. Я просто думала, прожив столько

времени бок о бок, как брат с сестрой, они будут от этого застрахованы.

— От *этого* ничем не застрахуешь, — сказал Дьюкейн.

И, сказав, почувствовал, как не нравится ему мысль, что это может коснуться Барбары. Лучше бы никогда ей не взрослеть!

— Да, так тот несчастный, — сказала Кейт, возвращаясь к прежней теме их разговора. — Почему он это сделал?

Дьюкейн ничего не говорил Кейт о расследовании. Он хоть и принял от Октавиана известие о своем задании достаточно хладнокровно, однако радости по этому поводу отнюдь не испытывал. В таком деле не знаешь, какой головной болью оно обернется. Докопаться до истины в короткие сроки может оказаться очень трудно, а показать, что не затронуты интересы спецслужб и нет причин учинять более тщательное расследование, — и вовсе невозможно. Тяготила Дьюкейна, впрочем, не одна только перспектива потерпеть неудачу и расписаться в своей несостоятельности. Ему претила сама идея вторгаться подобным образом в чужую личную жизнь. Тем более что личность Радичи, размышлениям о котором он по приезде в Дорсет посвящал немало времени, представля-

лась ему теперь и сомнительной, и темной. Он был уверен, что между спиритизмом, или что там еще, и самоубийством есть связь, — чутье подсказывало ему, что здесь, только копни, вылезет наружу нечто в высшей степени неприглядное.

— Не знаю почему, — сказал Дьюкейн. — Он потерял жену не так давно. Возможно, в том причина.

Они к этому времени перешли ровный газон позади дома, минуя две высокие перистые акации, переступили через низенькое заграждение из веревок, натянутых между колышками, явно имеющее отношение к двойняшкам, и поднимались теперь по дорожке, выложенной год назад из прибрежной гальки меж двумя рядами пышных кустов вероники ценой совместных героических трудов Пирса и Барбары. Ладонь Дьюкейна скользила по кустам, любовно поглаживая их тугие округлости. Сознание его в эти минуты распалось на несколько отделений или уровней. На одном уровне — пожалуй, верхнем — жила мысль о Вилли Косте, с которым ему вот-вот предстояло встретиться впервые за довольно долгое время, так как в последние два его приезда Вилли объявлял по телефону, что не хочет видеть у себя гостей. На другом уровне мозг сверлила

навязчивая мысль о Радичи и о том, что удастся разузнать Джорджу Дройзену на Флит-стрит. Еще был уровень или отделение с мучительной памятью о слабости, которой завершилась у него сцена с Джессикой и мучительным вопросом, как же с нею быть на следующей неделе.

И тем не менее сегодня мысли о Джессике не слишком портили ему настроение. Как правило, Дьюкейн предпочитал не уповать на то, что боги чудесным образом вызволят его из бед, которых он натворил по глупости, — это лишь нынче тревоги, связанные с Джессикой, померкли, заволоклись облачком смутного оптимизма. Так или иначе, все еще образуется, думалось ему. Оттого, быть может, что здесь же, на ближайшем уровне, он испытывал острую, чистую радость от присутствия рядом Кейт, соседства их тел, которые то и дело сталкивались на ходу неуклюже, дружески, — и от сознания, скорее даже физического предощущения, что, когда они дойдут до буковой рощи, он поцелует Кейт.

А еще где-то, на далеко не низшем, хотя и наименее отчетливом уровне, было восприятие окружающего, участие, продолжение себя в природе, в плотных, скругленных кустах вероники, шарообразной кроне большелистой катальпы

на краю сада, в блекло-розовых, нагретых солнцем кирпичах ограды, сквозь арку которой они сейчас проходили. Такие старые, истертые были эти кирпичи, так изрыты щербинами, сглажены по краям и углам, что выглядели естественным образованием из красных камней, которыми, похоже, вдоволь наигралось море. Все-то в Дорсете круглое, думал Дьюкейн. Круглятся пригорки и вот эти кирпичи, тисы, растущие в живой изгороди, кусты вероники и катальпа, круглятся кроны акаций и камушки на пляже, и купа молодого бамбука возле арки. Все в Дорсете, думал он, в точности нужного размера. Мысль эта наполняла его огромным удовлетворением, расходясь по прочим уровням и отсекам сознания потоком теплых, благотворных частиц. Так шагал он бок о бок с Кейт, неся с собою облако путаных мыслей, совокупное воздействие которых — самозащита и саморегуляция — есть признак душевного здоровья.

Они свернули на узкий проселок, где по высоким покатым обочинам, устланным длинным желтым мхом, иссохшим и выгоревшим на солнцепеке почти до полной утраты своей растительной сущности, цвели, пробиваясь наружу, крапива и кипрей. В воздухе застоялся густой,

щекочущий ноздри запах — возможно, запах мха. Неподалеку в лесу слышался голос кукушки, внятный, однотонный, размеренный, пустой и бессмысленный. Кейт взяла Дьюкейна за руку.

— Я, наверное, не пойду с вами к Вилли, — сказала Кейт. — Он что-то хандрит в последнее время, и лучше будет, я уверена, вам с ним увидеться наедине. Не думаю, чтобы Вилли решился наложить на себя руки, — как по-вашему, Джон?

Вилли Кост имел обыкновение заявлять время от времени, что жизнь невыносимо тяжела и он намерен вскоре покончить с нею.

— Трудно сказать, — отозвался Дьюкейн.

Его не покидало ощущение, что он слишком мало сделал для Вилли. Большинство из тех, кто знал Вилли, разделяли это ощущение. Впрочем, он был человеком, которому не так-то просто помочь. С Вилли, специалистом по античной филологии, который жил на пенсию от правительства Германии и работал над изданием, посвященным Проперцию[6], Дьюкейн впервые встретился в Лондоне, на заседании, где выступал с сообщением о малоизвестном документе,

---

[6] Примечания: 6

Проперций, Секст (ок. 50 до н. э. — ок. 15 до н. э.) — римский поэт.

трактующем понятие specificatio[7] в римском праве. Это ему принадлежала мысль вытащить Вилли из меблированной квартирки в Фулеме[8] и водворить в Трескоум-коттедж. Не раз с тех пор он спрашивал себя, не было ли это ошибкой. Суть замысла состояла в том, чтобы обеспечить другу надежность домашней обстановки. На деле же Вилли получил возможность жить в полном уединении.

— Думаю, если б он всерьез замышлял самоубийство, то не пускал бы так свободно к себе детей, — сказала Кейт.

В то время как взрослым зачастую ход в коттедж был заказан, детям дозволялось приходить и уходить, когда им вздумается.

— Да, это правда, пожалуй. Интересно, он что, работает, когда никого из нас не пускает к себе?

— Или просто сидит и терзается воспоминаниями. Подумать страшно…

— Никогда я не испытывал тяги покончить с собой, а вы, Кейт?

— Боже сохрани! Но я, правда, всегда жила в полное свое удовольствие!

---

[7] Примечания: 7
Положительно выраженное условие *(лат.)* — юридический термин.

[8] Примечания: 8
Исторический район в Лондоне.

— Таким, как мы, людям с нормальной, здоровой психикой, — сказал Дьюкейн, — трудно вообразить, что это такое, когда все у тебя в душе — лишь боль, все — ад.

— Вот именно. Что только ни вспоминается ему, должно быть, что только ни снится!

Вилли Кост всю войну провел в Дахау.

— Хорошо бы с ним Тео бывал почаще, — сказал Дьюкейн.

— Тео? Вот уж кто воистину трость надломленная![9] Он же сам — один сплошной комок нервов! Это вам хорошо бы почаще бывать с Вилли. Вы умеете говорить с людьми напрямик, сказать им, что делать. Другие, в большинстве своем, трусят.

— Звучит — не приведи Господь! — сказал, смеясь, Дьюкейн.

— Нет, серьезно. Я уверена, Вилли пошло бы на пользу, если б его просто вынудили рассказать, каково там было, в этом лагере. Он, по-моему, слова об этом никому не проронил.

— А я вот — не уверен, — сказал Дьюкейн. — Могу представить себе, чего бы это ему стоило!

Однако подобная мысль ему тоже приходила в голову.

---

[9] Примечания: 9
См. книгу пророка Исайи, 42:3.

— Надо жить в ладу со своим прошлым, — сказала Кейт.

— Когда перенесешь столько страданий и надругательств, как Вилли, — сказал Дьюкейн, — это может оказаться попросту невозможно.

— Что невозможно — простить?

— Какое там простить! Найти хотя бы приемлемый способ думать обо всем этом!

Дьюкейн нередко пытался вообразить себя на месте Вилли Коста — но тщетно.

— Я полагала, что Мэри растопит этот лед, — сказала Кейт. — Она, в сущности, знает его, как никто, — не считая вас то есть. Но она говорит, он с нею вовсе не касался этой темы.

Еще немного — и мы в лесу, проносилось в голове у Дьюкейна, еще совсем немного… На них упали уже первые тени, кукушка в некотором отдалении посылала им свой исступленный, свой сладострастный зов.

— Присядем на минутку, — сказала Кейт.

Здесь лежал ствол поваленного бука — чистый, пепельно-серый, с каскадом жухлых рыже-бурых съеженных листьев по обе стороны. Они сели, шелестя сухой листвой; повернулись лицом друг к другу.

Кейт, не спуская пристального взгляда с Дью-

кейна, взяла его за плечи. Он погрузился в крапчатую, темную, затягивающую голубизну ее глаз. Оба, словно по уговору, вздохнули, и Кейт приникла к нему томительно долгим поцелуем. Дьюкейн закрыл глаза, отгораживаясь от нарастающего в поцелуе жара, и с силой прижал Кейт к себе, ощущая на щеке колючую печать ее пружинистых волос. Какое-то время они сидели неподвижно.

— Ох, как же мне с вами хорошо, — сказала Кейт.

— И мне с вами.

Он снова отстранил ее от себя, с улыбкой, с чувством облегчения и свободы, желая ее, но не мучительно, глядя, как у нее за спиной простирается меж деревьев бурая с зеленой подстилкой пустота, а наверху, просвечивая сквозь россыпи листвы, играет солнце.

— Смотрю на вас — вылитый герцог Веллингтонский! Обожаю этот седой хохолок прямо надо лбом… Джон, это ведь ничего?

— Да, — отвечал он без улыбки. — Да. Я много об этом думал и считаю, что ничего.

— Октавиан… Ну, вы знаете, как Октавиан смотрит на вещи. Вы все понимаете.

— Октавиан — очень счастливый человек.

— Да, верно. Октавиан — счастливый человек, и это существенно.

— Я знаю. Кейт, милая, я одинок. А у вас — щедрое сердце. И оба мы — люди рассудительные. Так что тут все в порядке.

— Я и не сомневалась, Джон, — просто хотела услышать это от вас, эти самые слова. Я так рада! Но вы уверены, что вам это не будет тяжело, больно в известном смысле?..

— Будет, не без того, — сказал он, — но с этой болью можно справиться. А сколько будет радости!

— Согласна. Разве жить безболезненно и в довольстве — предел мечтаний? Мы с вами можем столько дать друг другу! Любить — значит так много, правда? По-настоящему, только это одно и важно…

— Да, заходите, — сказал Вилли Кост.

Дьюкейн вошел.

Вилли Кост полулежал в низком кресле у камина, зарывшись каблуками в горку седой древесной золы. Позади него что-то в медленном темпе играл патефон. Патефон у Вилли, по впечатлению Дьюкейна, всегда играл что-нибудь медленное. Дьюкейну, немузыкальному до скрежета зубовного, самые сладостные созвучия мгновенно резали слух. Он шел к коттеджу

взволнованный, в приподнятом настроении. Душевная гармония, рожденная сценой между ним и Кейт, полным взаимопониманием, достигнутым ими так быстро, позволила ему целиком сосредоточить свое внимание на проблеме, которую представлял собой Вилли. Музыка на фоне этого ощущалась как нечто чужеродное.

Вилли, зная, как действует музыка на Дьюкейна, встал, снял с пластинки звукосниматель и выключил патефон.

— Прошу прощения, Вилли.

— Да ладно, — сказал Вилли. — Вы садитесь. Будете что-нибудь? Чаю, может быть?

Он удалился, прихрамывая, в кухоньку, откуда до Дьюкейна донеслось сперва фырканье, а потом — ровное шипенье примуса. Единственную в коттедже общую комнату заполняли книги Вилли, одни — на полках, другие — все еще в коробках. Кейт, которая не мыслила себе жизни без обширного персонального пространства, на котором размещены предметы, всяк со своим особым назначением, постоянно сетовала, что Вилли никак не удосужится разобрать свои вещи. И не простила ему того, как его передернуло, когда она вызвалась сделать это за него.

Большой стол был весь завален фолиантами,

блокнотами, — здесь, по крайней мере, была уж точно зона особого назначения. Дьюкейн тронул одну открытую страницу, другую, делая вид, что просматривает их. Как обычно в присутствии Вилли, он чувствовал себя несколько скованно.

— Так как оно, Вилли?

— Что — оно?

— Ну — жизнь, работа?

Вилли вернулся в комнату и, опершись на спинку стула, окинул гостя бесстрастным, чуть насмешливым взглядом. Был он мал ростом, с тонкими чертами лица и выразительным изгибом узкогубого, всегда немного влажного, чуткого рта. Густая грива длинных седых волос венчала его смуглое, с маслянистым блеском лицо, в карих узких глазах затаилась недобрая ирония. Коричневая бархатистая родинка на щеке придавала ему своеобразную миловидность.

— «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание»[10].

Дьюкейн поощрительно усмехнулся:

— Здорово!

— Здорово, полагаете? Извините, я только заварю чай.

---

[10] Примечания: 10
Псалтирь, 18:3.

Он возвратился, неся чайный поднос. Дьюкейн принял от него чашку и стал расхаживать по комнате. Вилли, с большим стаканом молока, вновь уселся на прежнее место.

— Вот этому я завидую, — сказал Дьюкейн, указывая на стол.

— Неправда.

Да, неправда. Всякий раз, когда они встречались после перерыва, Дьюкейн поначалу — недолго, впрочем, — лебезил, заискивал. Он сейчас снисходил до Вилли, и они оба знали это. Преграду, воздвигаемую между ними этой непроизвольной, как бы машинальной покровительственной лестью, Вилли мог с легкостью устранить своею прямотой, когда у него на то хватало энергии. Порой — хватало. Порой — нет, и тогда он сидел безучастно, предоставляя Дьюкейну в одиночку преодолевать тягостность их встречи. Дьюкейн, надо сказать, умел справляться с этой своей непроизвольной фальшью и без посторонней помощи, только на это требовалось время и усиленная концентрация воли и внимания. С Вилли всегда приходилось нелегко.

— Чему-то — правда завидую, — сказал Дьюкейн. — Может быть, просто жалею, что не родился поэтом.

— Даже и в это не верится, — сказал Вилли.

Он откинулся назад и закрыл глаза. Похоже, сегодня выдался день, когда им владела безучастность.

— Тогда — что хотя бы не состою при поэзии, — сказал Дьюкейн. — Мой хлеб насущный — совсем другое.

Он наугад прочел вслух двустишие на открытой странице:

> — *«Quare, dum licet, inter nos laetemir amantes:*
>
> *non satis est ullo tempore longus amor»*[11].

Точно живая, возникла перед ним из слов Проперция Кейт — в особенности из этого конечного amor[12], столь превосходящего по силе певучее итальянское «amore».

Он увидел, как часто воочию видел по вечерам, мягкую, обметанную легким пушком линию ее плеч. Никогда еще не доводилось ему ласкать ее обнаженные плечи. *Amor.*

---

[11] Примечания: 11

> *«Будем же радостно мы отдаваться любви, пока можно: Недолговечна, увы, а мимолетна любовь»*

пер. Л. Остроумова. «Катулл, Тибул, Проперций», М. 63 «Худлит».

[12] Примечания: 12

Любовь *(лат.).*

— Пустое, пустое, — сказал Вилли. — У Проперция это расхожие фразы. В этих его двустишиях — бред спросонья. Людям, знаете, свойственно разговаривать во сне, даже поэтам, даже великим поэтам. Единственный вид *amor,* известный лично мне, — прибавил он, — это *amor fati*[13].

— То есть — блажь чистой воды.

— Вы так считаете?

— Что любить судьбу — значит блажить? Да, считаю. Случается обычно то, чему не надо бы случаться. Так за что же ее любить?

— Ну не стоит приписывать судьбе целенаправленность, — сказал Вилли, — ее следует рассматривать как механизм.

— Но она не механизм! — сказал Дьюкейн. — Мы с вами — не механические устройства!

— Еще какие механические! Тем и заслуживаем прощения.

— Где это сказано, что мы заслуживаем прощения? Во всяком случае — за любовь к року?

— Это не просто, разумеется. Пожалуй, даже невозможно. Требовать от нас невозможного? Что ж, почему бы и нет…

— Покоряться судьбе — это я понимаю. Но лю-

---

[13] Примечания: 13
Любовь к року, судьбе *(лат.).*

бить? Лишь спьяну, разве что.

— А напиваться — нехорошо.

— Само собой!

— А если пьянство — единственное, что дает силы жить?

— Будет вам, Вилли! — сказал Дьюкейн.

Эти беседы с Вилли порой пугали его. Никогда нельзя было знать наверняка, какой смысл — прямой или обратный — вкладывает Вилли в свои слова. У собеседника появлялось ощущение, будто его используют, будто для Вилли он — все равно что твердая безликая поверхность, о которую можно, как тараканов, давить в лепешку мысли, что преследуют его. Теряясь вчуже, Дьюкейн опасался, как бы его умышленно не подвели к порогу ненужного, если не пагубного признания. Чувство ответственности и в то же время бессилия владело им. Он прибавил:

— Должно же быть и другое, что дает силы жить!

— Даже без веры в Бога?

— Да.

— Не вижу почему, — сказал Вилли.

Дьюкейн в который раз убедился, какая пропасть отделяет тех, кто душевно здоров, от людей с увечной психикой.

— Но вы работаете все-таки?

Он чувствовал, что снова принимает покровительственный тон. Но многозначительные недомолвки Вилли отпугивали его; страшно было, что в такие минуты он мог, поддавшись Вилли, ненароком поддержать некое конечное, отчаянием продиктованное решение.

— Нет.

— Да ладно!

Дьюкейн знал, что Вилли с нетерпением ждал его прихода. Знал и то, что причиняет Вилли своим приходом одни страдания. Такое случалось и прежде. Случалось, правду сказать, достаточно часто, вопреки мифу, — его усиленно поддерживали все, включая обоих действующих лиц, — что Дьюкейн оказывает на Вилли благотворное влияние.

Не будь я такой закоснелый пуританин, думал Дьюкейн, дотронулся бы до него сейчас, за руку взял, что ли…

— Што с фами? — зорко наблюдая за другом, сказал Вилли.

Он произнес это ласково, нарочито подчеркивая свой иностранный акцент. Вопрос был ритуальный.

Дьюкейн рассмеялся. Между ними вновь побе-

жали токи, но исходили они от Вилли, оставляя его в еще более непроницаемом одиночестве.

— Да беспокоюсь о вас, вот и все!

— Не стоит, Джон. Расскажите мне лучше о своем. Как, например, протекает жизнь в этой вашей знаменитой конторе? Знаете, мне никогда не приходилось бывать в таких местах, а сколько народу там все дни свои коротает! Давайте поговорим о конторе!

Дьюкейну, словно во плоти, явился образ Радичи, и вместе с ним вернулись прежние неясности и смутные опасения. Он знал, что рассказывать Вилли о Радичи нельзя. Самоубийство — штука заразная, и оттого, в частности, оно предосудительно. Здесь же, как он подозревал, таилось еще и зерно безумия, даже порока, может статься, и подвергать их воздействию душевную организацию Вилли, бог весть какую ранимую и хрупкую, он был не вправе.

— В конторе — скука смертная. Это удача, что вас туда не занесло.

Не забыть бы предупредить всех, чтобы при Вилли не упоминали о Радичи, подумал Дьюкейн. Никогда не простил бы себе, если б Вилли и вправду наложил на себя руки. Знал бы, что это я виноват… Хотя много ли было пользы Вилли от

его привязанности? Что он мог? Как ему было заставить Вилли разговориться о своем прошлом?

— Спите нормально в последнее время? — спросил он без всякого перехода.

— Отлично сплю примерно до полпятого, покамест не разбудит кукушка.

— Страшные сны не снятся?

Дьюкейн по-прежнему стоял, держа в руках чашку чая; Вилли, вытянувшись, полулежал в своем кресле. Они скрестились взглядами. Вилли, с ленивой, хитроватой усмешкой, принялся негромко что-то насвистывать.

В дверь забарабанили; она распахнулась, и на пороге, вышагивая рядком и галдя наперебой, появились близнецы.

— А что мы принесли! — кричал Эдвард.

— Нипочем не угадаешь! — кричала Генриетта.

Тем же манером они прошествовали к Вилли и положили ему на колени легкий, мягкий и округлый предмет. Вилли приподнялся, наклоняясь над ним и восклицая с интересом:

— Что бы это такое могло быть? Как вы думаете, Джон?

Дьюкейн подошел ближе, разглядывая тускло-зеленый продолговатый, с ладонь длиною шарик,

который Вилли с любопытством трогал пальцем.

— Похоже на птичье гнездышко, — сказал он.

Он почувствовал себя de trop[14], посторонним, который затесался не в свою компанию и портит людям настроение.

— Длиннохвостой синички! — крикнул Эдвард.

— Деток вырастили — и вот! — подхватила Генриетта. — Мы наблюдали, как они вьют гнездо и после тоже наблюдали все время, пока они не улетели. Хорошенькое какое, правда? Снаружи, видите, мох и лишайник — смотрите, как их сплели, — а изнутри выстлано перышками.

— Один человек подсчитал, больше двух тысяч перьев у длиннохвостой синицы уходит на гнездо! — вскричал Эдвард.

— Очень красивое, — сказал Вилли. — Спасибо вам, двойняшки! — Бережно держа гнездо в руках, он глянул поверх него на Дьюкейна. — До свиданья, Джон. Благодарю, что навестили.

— Ворона, вредина, старалась их прогнать, — объясняла Генриетта, — а они держались так храбро…

Вилли и Дьюкейн с улыбкой переглянулись.

---

[14] Примечания: 14

Зд. лишним *(франц.)*.

Дьюкейн улыбался иронически, сочувственно. Вилли — виновато и с безмерной печалью. Сделав прощальный жест, Дьюкейн повернулся к двери.

— Со мной все хорошо, слушайте, — крикнул Вилли ему вслед. — Так и доложите им там — все в порядке.

Выкошенная через луг тропинка привела Дьюкейна под пятнистую сень буковой рощи. Дойдя до гладкого пепельно-серого поваленного дерева, на котором они с Кейт обнимались, он не стал садиться. Постоял неподвижно с полминуты и, опустившись на колени посреди хрусткой сухой буковой листвы, облокотился о теплый ствол. Не о Вилли он думал, не Вилли жалел сейчас. Он бесконечно жалел себя за то, что лишен той силы, которая дается, когда постигнешь, что значит страдание и боль. Он и хотел бы помолиться о себе, призвать к себе страданье из вселенского хаоса. Но он не верил в Бога, а у страданий, что наделяют мудростью, нет имени, и вымаливать их себе — кощунственно.

Глава седьмая

— Как ты приехала, мы хоть бы разочек спели купальную песенку, — пожаловалась Барбаре Генриетта.

— Возьми да спой, чего же ты!

— Нет, надо всем вместе, иначе не считается.

— А я ее забыла, — сказала Барбара.

— А я не верю, — сказал Пирс.

Барбара, растянувшись, лежала на плюще. Пирс стоял немного поодаль, опираясь на надгробный камень, с которого сосредоточенно соскребал ногтем желтый лишайник.

— Сходите, ради бога, выкупайтесь втроем, — сказала Барбара. — Мне неохота. Лень чересчур разбирает.

— Минго того и гляди перегреется, — сказал Эдвард. — И почему это собакам не хватает соображения лежать в тени?

Минго лежал, отдуваясь, на плюще возле Барбары, которая время от времени покачивала босой ногой его горячее овечье туловище. Заслышав свое имя, он повел глазами, приподнял хвост-колбасу и бессильно уронил обратно.

— Мне даже смотреть на него жарко, — сказала Генриетта. — Хорошо бы уж дождик пошел.

— Так уведи его отсюда, — сказал Пирс. — Спихни в море!

— Пойди найди летающую тарелку, — сказала Барбара.

— Мы ее *правда* видели, честное слово!

— Так ты идешь, Пирс? — сказал Эдвард.

— Нет. А вы, близнята, — брысь купаться и хватит путаться под ногами.

— Всем расхотелось теперь ходить купаться, — сказала Генриетта внезапно, чуть не плача.

— Ты злишься, Пирс! — крикнул Эдвард с осуждением.

Считалось, что злиться — серьезная провинность.

— Да не злюсь я. Извини.

— А может, нам не купаться? — сказала Генриетта Эдварду. — Поиграем лучше в барсучий городок.

— Не знаю, я хочу купаться, — сказал Эдвард.

— Ну и вперед, — сказал Пирс. — Может быть, и я за вами. Ступайте, будет дурака валять!

— Айда, Минго, — сказал Эдвард.

Минго нехотя встал. Честно изобразил улыбку на своей серой мохнатой морде, но, разомлев от

жары, не удосужился повилять хвостом, предоставив ему вяло болтаться позади, покуда сам он брел вслед за двойняшками, с осторожностью наступая большими косматыми лапами на податливый плющ.

Заброшенное кладбище лежало в четверти мили от дома. Со своею зеленокупольной шестигранной часовней, храмом геометра-бога, пустующим под замком, оно свидетельствовало о бурной жизни здешних мест в восемнадцатом веке, оставившей ныне по себе одни лишь памятники. Тесно застроенная площадка спускалась к морю, а за ней, по неглубоким, затененным деревьями лощинам, по складкам меж отлогих пригорков, освещенных солнцем вдалеке, виднелись блеклые фасады прямоугольных домов, служивших некогда кровом этому, теперь уже безмолвному населению. Там, если кто из них и задержался до сих пор, то в качестве самых благовоспитанных и скромных призраков. Здесь же они хранили нетронутым свое прошедшее время, тоже, пожалуй, обретя некоторую призрачность, но все-таки — существуя, как существуют подлинные сновидения подлинных спящих. Задрапированные урны и обелиски, усеченные поверху колонны, наклонные плиты с вырезан-

ными на них ангелочками и четкими надписями, уверенно и соразмерно выведенными под диктовку свыше, отсвечивали голубоватой белизной на ярком солнце, трепеща между присутствием и отсутствием, словно были не явью, а видением — такое наблюдаешь порой на археологических раскопках в Греции.

Однако, при всей компактности этого поселения, оно им в полном смысле слова не было. Присутствовало в нем единство, не без небрежности навязанное, быть может, божеством, которое и собиралось сюда вернуться, да запамятовало о том впоследствии — некая схема, продуманная и непостижимая, несхожая с людским искусством. Витало ощущенье речи, которая, как бывает в театре под открытым небом, не успев прозвучать, мгновенно поглощается воздухом. Природа, надо сказать, овладела кладбищем с непреклонной, почти зловещей решимостью, словно бы вознамерясь стереть, рассеять, свести на нет действие этих усердных не по чину усопших. Всю площадь кладбища плотно заплел мелколистный плющ, скрыв под собою без остатка камни помельче, карабкаясь вверх по стройным стволам тех, что повыше, заткав все промежутки между ними толстым настилом, слегка пружинящим под грузом,

отделяясь от земли.

С возвышения, где находились Пирс и Барбара, в миле к востоку ориентиром деревушки маячил над вершинами деревьев тонкий серый шпиль трескоумской приходской церкви, а на западе, за бугром, поросшим старыми тисами, согнутыми набок и сглаженными по кронам то трепкой, то лаской сильного морского ветра, едва проглядывала крыша Трескоум-хауса. Впереди тянулся книзу общипанный овцами зеленый склон, переходя в усеянный валунами горизонтальный прибрежный луг. Близнецы как раз дошли до дальнего его края и замедлили шаг, пробираясь среди камней, то и дело останавливаясь, чтобы вытряхнуть из сандалий мелкую гальку. Минго, по всей видимости стряхнув с себя оцепенение, убежал вперед, и снизу явственно слышался его отрывистый, возбужденный лай — «приморский» лай, по терминологии, установленной Эдвардом. Умелый и азартный пловец, Минго, казалось, не переставал заново поражаться всякий раз явлению необъятной и неспокойной водной стихии. Чуть дальше медленно вышагивала вдоль берега фигура дяди Тео со склоненной головой. Прогуливаясь, дядя Тео смотрел исключительно на собственные ноги, точно зачарованный их

размеренным движением. За дядей Тео мелькали чужие отдыхающие — «местные», как именовали их дети, которых этот отрезок берега, к счастью, манил в самых малых количествах, во-первых — из-за противных камней, а во-вторых — из-за крутых уступов и сильного течения: считалось, что купаться здесь опасно.

Барбара, вытянувшись во весь рост на солнцепеке, покоилась, точно в колыбели, посреди плюща. Она скинула с ног сандалии и, когда бросилась сразмаху на темную пружинистую зелень, белое в бледно-зеленых маргаритках бумажное ее платье сбилось выше колен, обнажив загорелое бедро. Полузакрытые глаза ее влажно и уклончиво поблескивали из-под ресниц.

Пирс, стоя к ней спиной, яростно сдирал плети плюща с небольшого квадратного камня, открывая вырезанное на нем рельефное изображение парусника.

— Так, значит, я по-твоему вру? — сказала Барбара, помолчав.

— Не верю я, что ты забыла купальную песенку. Быть не может.

— Почему это? Когда живешь в Швейцарии, все здешнее отступает.

— Все здешнее важнее, чем Швейцария.

— А кто спорит?

— Сама же плакала, когда уезжала!

— Я выросла с тех пор. Теперь я плачу, только когда мне скучно. Мне скучно с тобой! Шел бы ты куда-нибудь — купаться, что ли!

— Не хочу. Если ты тоже не пойдешь.

— Чего ты ходишь за мной повсюду, как привязанный? Что, разучился хоть что-то делать в одиночку? И вообще — почему ты здесь, если уж на то пошло? Тебе же, вроде, полагается сейчас гостить у этих, как их, Пембер-Смитов, кататься с ними на яхте?

— Да ну их, этих Пембер-Смитов!

— Что ты все время раздражаешься?

— Ничего я не раздражаюсь!

— И не гаркай, понятно?

— Никто и не гаркает!

Пирс сел на плющ, прислонясь спиной к надгробному камню. Ему хотелось со стоном положить голову на загорелые ноги Барбары чуть выше колен. Хотелось сокрушить что-нибудь, все вокруг — и себя заодно. Он рванул ветки плюща под собой, запуская руки все глубже, пытаясь выдернуть прочные, жилистые, неподатливые прутья.

Пересиливая себя, он сказал:

— Что-то с нами не так, Барби. Секс сказывается, наверное.

— На тебе — возможно. На мне не сказывается.

— Во всяком случае, до флирта с Джоном Дьюкейном ты доросла точно.

— Я не сказала, что до чего-то не доросла. И не флиртую я с Джоном Дьюкейном. Он мой приятель, вот и все.

— И юбочку на себе вон как подвернула!

— Даже не думала подворачивать! Мне просто все равно, есть ты здесь или нет.

— Скажите, какой мы стали важной персоной!

— А я всегда была важной персоной.

— Не хочешь посмотреть на гнездо поползня, Барби?

— Нет. Ты мне уже три раза говорил про это гнездо.

— А ты пять раз мне говорила про то, как была в Шильонском замке.

— Я не тебе говорила. Я рассказывала другим людям, а ты стоял и слушал. *Que tu est bete*[15], Пирс!

— Можешь передо мной не хвалиться своим французским, на меня это не действует.

---

[15] Примечания: 15
Ну и дурак же ты! *(франц.)*

— Не хвалюсь я, это само получается, я столько месяцев говорила на этом языке!

— Не ори на меня. Ладно, я ухожу. Сейчас отлив, сплаваю к Ганнеровой пещере. И заплыву внутрь.

Ганнерова пещера занимала в ребячьей мифологии почетное место. Открывалась она у основания утеса, прямо в море, служа, по общему мнению, прибежищем контрабандистам, хотя единственный вход в нее находился над водой только короткое время при отливе. Мэри Клоудир, чье живое воображение с первой минуты принялось рисовать ей втайне душераздирающие картины подводных ловушек и утопленников, давным-давно и строго-настрого запретила детям заплывать в пещеру. Барбара и двойняшки, которые побаивались пещеры, слушались беспрекословно. Пирс, на которого пещера наводила страх и ужас, иногда позволял себе ослушаться. Он не однажды заплывал при отливе внутрь и, хоть ни разу не нащупал там суши, вынес впечатление, что в глубине утеса пещера уходит вверх. Если так, то, возможно, существовала еще и верхняя камера, остающаяся над водой даже во время прилива, когда устье пещеры погружается в море, — великолепное укрытие для контрабанди-

стов. Пирс не видел иного способа проверить, так ли это, кроме как опытным путем: проникнуть в глубь пещеры и подождать, что будет. Конечно, если он ошибается и прилив заполняет водой всю пещеру без остатка, он утонет, но даже эта жуткая перспектива обладала для Пирса странной притягательностью, и он — особенно со времени приезда Барбары — думал о пещере непрестанно, представляя себе ее тьму неким завершением, где клады сокровищ и гибель под водой сливаются воедино в гулкой пучине вожделенного бесчувствия. Что относилось, впрочем, к области фантазии. В действительности же вылазки его на разведку были покамест и коротки, и робки — он торопился всякий раз выплыть обратно задолго до того, как прилив подберется к устью пещеры, которое оставалось открытым всего-то лишь минут на сорок.

— Что же, валяй, если хочешь, — сказала Барбара. — Хотя, по-моему, глупо делать то, чего боишься, это надо быть неврастеником.

— Я не боюсь, мне любопытно. Это пещера контрабандистов. Интересно, вдруг там оставили что-нибудь.

— Еще не факт, что пещера контрабандистов. И что Ганнер был контрабандист. Не факт, что

Ганнер вообще существовал. Вот римляне — это факт! А Ганнер — так, сказочки.

— Римляне? Три ха-ха! Помнишь, ты нашла в луже римскую монету?

— Ну да.

— Так ничего ты не находила! Это я подложил, нарочно! Купил у одного парня в школе.

Барбара села и одернула платье, глядя на Пирса с негодованием.

— Какое свинство говорить мне сейчас об этом, жуткое свинство!

Пирс встал.

— Хотелось сделать тебе приятное, — пробормотал он.

— А теперь захотелось доставить неприятность!

Что это с нами, думал Пирс. Нам раньше было так здорово…

С глухим, мягким стуком на могильном камне с изображением парусника возник Монтроз и, подобрав под себя лапы, преобразился в пушистый шар, уставясь на Барбару нахальными узкими глазами.

Пирс сгреб кота в охапку, вдохнув аромат любимого одеколона Барбары, исходящий от теплого меха, и бросил Монтроза Барбаре на колени.

— Ох, Барбара, не сердись, — сказал он. — Извини меня.

Барбара изогнулась и поднялась на колени, прижимая Монтроза к лицу. Пирс опустился на плющ напротив нее и, протянув руку, дотронулся пальцем до ее голой коленки. Они смотрели друг на друга озадаченно, почти со страхом.

— И ты извини, — сказала она. — Может быть, мы просто испортились, ты не думаешь?

— Что значит — испортились?

— Ну, как сказать… Когда мне было меньше лет и я читала в книжках и так далее про насквозь испорченных людей, отъявленных негодяев, то чувствовала себя в душе до того хорошей, чистой — совсем другой, чем они, — и знала, что никогда такой, как они, не буду и поступать, как они, не стану. А у тебя бывало такое чувство?

— Не знаю, — сказал Пирс с сомнением. — В ребятах, по-моему, изначально сидит испорченность.

— Да, — заключила Барбара. — Похоже, все складывается намного сложнее, чем я ожидала.

— Октавиан, голубчик, ты что, решил вообще не ложиться?

— Иду, моя радость. Нет, ты послушай сову!

— Да, прелесть, правда? Между прочим, Мэри

договорилась, что Барби дадут напрокат этого пони.

— Вот и прекрасно. Кейт, милая, у нас кончилась зубная паста.

— На туалетном столике непочатый тюбик. Не наткнись там на все эти карты и путеводители.

— Боюсь, душенька, поездку в Ангкор мы не потянем.

— Я знаю. На Ангкоре ставим крест. Я решила, что хочу ехать в Самарканд.

— Он в Советском Союзе, душа моя, тебе известно?

— Вот как? Ну и что, не съедят же нас там!

— Там будет страшно жарко.

— А Самарканд не на море?

— Нет, к сожалению. Не лучше ли действительно съездить куда-нибудь к морю?

— Мы, конечно, подумывали о Родосе…

— Насчет Родоса можно поспрашивать у Полы — помнишь, она туда ездила? Что, кстати, происходит с Полой? Я обратил внимание, что у нее такой подавленный, озабоченный вид!

— А, это просто конец триместра. Она так ревностно относится к этим экзаменам!

— Дьюкейн как будто ходил проведать Вилли?

— Да, и Дьюкейн ходил, а потом и Мэри.

— И как он?

— Вилли в порядке. Сказал Мэри, что Дьюкейн очень поднял ему настроение.

— Приятный он человек, Дьюкейн…

— Он такой *правильный*…

— На Вилли, во всяком случае, он действует благотворно.

— Он на всех нас действует благотворно. Знаешь, Октавиан…

— Что, милая?

— Я поцеловала Дьюкейн в буковой роще.

— Вот молодец! И как, он был доволен?

— Он был страшно мил.

— Смотри только, не влюби его в себя чересчур, моя птичка, — то есть не до страданий.

— Нет-нет, до страданий не дойдет. За этим я прослежу.

— Он, вообще-то говоря, человек весьма разумный, помимо того что приличный в высшей степени.

— Да. Интересно, что при всем том до сих пор не женат.

— Не стоит искать в этом жгучую тайну.

— Как знать! Ты не допускаешь, что он гомосексуален — подсознательно, может быть? Никогда не слыхала, чтобы он состоял в близких отноше-

ниях с какой-нибудь женщиной.

— Это оттого, что он невозможно порядочный и скрытный.

— Что скрытный — это определенно! Представляешь, ни слова мне не сказал о том, что ему поручено вести это расследование.

— Он не на шутку озабочен в связи с этим расследованием.

— Тогда тем более обидно, что не сказал. Он, между прочим, считает, что про этого горемыку — как его… Радичи — нельзя рассказывать Вилли.

— И совершенно прав. Мне бы и в голову не пришло!

— Обо всем умеет подумать! Что Радичи и вправду был шпион — это, надо полагать, исключается?

— Полностью. Нет, я думаю, Джона коробит перспектива соваться в чью-то личную жизнь.

— Боюсь, что мне она показалась бы заманчивой!

— А его, вероятно, отпугивает. Он считает, есть риск, что вскроются некие… м-м отклонения.

— Сексуальные, ты хочешь сказать?

— Ну да. Он ведь неисправимый пуританин, сама знаешь.

— Знаю — и обожаю это в нем. Интересно, что

он думает о том, чем мы занимаемся вдвоем с тобой?

— Он об этом вообще не думает.

— Октавиан, ну скоро ты? По-моему, теперь Дьюкейн мне расскажет — о женщинах, я имею в виду, о своем прошлом. Теперь — непременно расскажет!

— Ты что, спросишь его?

— Спрошу. Я не боюсь Дьюкейна.

— А я, иными словами, боюсь? Что ж, в известном смысле — возможно. Ни за что не хотел бы, чтобы такой человек был обо мне дурного мнения.

— Да, понимаю, — и я тоже. А тебя все же не смущает, что он держит у себя слугу?

— Да нет. Дьюкейн — не гомосексуалист.

— Октавиан, ты когда-нибудь видел этого слугу?

— Нет.

— Я и о слуге расспрошу Дьюкейна. Он не способен сказать неправду.

— Но способен испытать неловкость.

— Ну ладно, я, пожалуй, лично обследую этого слугу. Приеду, когда Дьюкейна не будет дома, и учиню инспецию.

— Кейт, неужели ты всерьез решила…

— Нет, конечно. Дьюкейн не из тех, кто создает сложные положения. Еще одно его чудесное свойство.

— Не создавать сложных положений? О каком мужчине скажешь такое?

— Никаких сложностей! Почему, в частности, и страданий не может быть.

— И у тебя не может. И у меня.

— Октавиан, миленький, до чего мне нравится, что мы можем обо всем говорить друг с другом!

— Мне тоже нравится.

— Есть Бог на свете, все в мире хорошо. Ложись поскорей, пожалуйста.

— Уже иду.

— Милый мой, какой ты кругленький…

— Ты готова, дорогая?

— Да, готова. Слушай, а знаешь, что Барби привезла тебе в подарок на день рождения — ни-почем не угадаешь?

— Что же?

— Ходики с кукушкой!

Глава восьмая

Напротив Дьюкейна, по ту сторону письменного стола, сидел министерский курьер Питер Макрейт.

— Я располагаю информацией, — вкрадчиво начал Дьюкейн, — которая позволяет заключить, что за недавней продажей средствам печати материала, порочащего мистера Радичи, стоите вы, мистер Макрейт.

Он замолчал, выжидая. В комнате было жарко. Снаружи монотонно рокотал Лондон. В воздухе, то и дело садясь на руку Дьюкейна, неслышно кружила быстрая мушка.

Белесо-голубые глаза Макрейта глядели на Дьюкейна в упор. Наконец он отвел их — вернее, повел ими по кругу, словно бы выполняя вращательное упражнение. Моргнул разок-другой. И с доверительной полуулыбкой снова уставился на Дьюкейна.

— Ну что же, сэр, видимо, рано или поздно это должно было выплыть наружу, — произнес он.

Дьюкейна раздражал тонкий голос Макрейта с шотландским, не поддающимся более точно-

му географическому определению выговором, раздражала расцветка этого субъекта. Никто не вправе был уродиться на свет таким рыжим и белокожим, с глазами такой водянистой голубизны и в довершение всего — с таким карамельно пунцовым ртом. Макрейт был воплощением дурного вкуса.

— Так вот, мне понадобятся кой-какие сведения от вас, мистер Макрейт, — сказал Дьюкейн, деловито перебирая бумаги на столе и смахивая прочь неотвязную муху. — Прежде всего я желаю точно знать содержание этого проданного вами материала, а потом задам вам ряд вопросов о данных, на которых он основан.

— Выпрут меня отсюда? — спросил Макрейт.

Дьюкейн замялся. Честно говоря, увольнение Макрейта было неотвратимо. В настоящий момент, однако, от Макрейта требовалось содействие, и Дьюкейн отвечал:

— Такие вопросы — вне моего ведения, мистер Макрейт. Вас непременно известят надлежащим образом, если отпадет надобность в ваших услугах.

Макрейт положил на стол бледные руки, опушенные рыжеватыми длинными волосками, и подался вперед.

— Спорим, что выпрут, — сказал он задушевно. — А то вы не знаете!

Теперь Дьюкейн различил в его речи оттенок кокни.

— Нам потребуется, мистер Макрейт, экземпляр этого материала. Как скоро вы можете его предоставить?

Макрейт выпрямился. С некоторым усилием обескураженно поднял бровь. Брови его, чуть тронутые рыжиной, были почти неразличимы на лице.

— У меня нету экземпляра.

— Полно, полно, — сказал Дьюкейн.

— Клянусь вам, нету, сэр. Понимаете, я его не писал. Я не больно горазд писать. А с этими ребятами, газетчиками, — знаете как. Я только говорил — они записывали, потом зачитали мне, что получилось, и я подписался. А сам ничего не писал.

Очень похоже на правду, подумал Дьюкейн.

— И сколько вам заплатили?

Бледная физиономия Макрейта захлопнулась, как створки раковины.

— Денежная сторона, сэр, — это личное дело каждого, если можно так выра…

— Я бы на вашем месте сменил тон, Макрейт, —

сказал Дьюкейн. — Вы поступили крайне безответственно, и вас могут ждать серьезные неприятности. Зачем вы продали этот материал?

— Видите, сэр, такой человек, как вы, сэр, просто не знает, каково это — жить в нужде. Ради денег продал, сэр, отпираться не стану. Соблюдал свой интерес, как по-своему соблюдаете даже вы, сэр, осмелюсь сказать.

Наглый тип, подумал Дьюкейн, и скорее всего отъявленный мошенник. Дьюкейну, хотя он сам до конца того не сознавал, отчасти помешало вполне преуспеть на адвокатском поприще неумение постигнуть какую бы то ни было разновидность злодейства, если он был неспособен совершить ее сам. Воображение его простиралось в мир злодеяний простым продолжением схемы собственных недостатков. И потому его суждение о Макрейте — что тот «отъявленный мошенник» — оставалось бесполезным общим местом. Дьюкейн не мог представить себе, что значит быть Макрейтом. Сама непостижимость мошеннической его сущности придавала ему в глазах Дьюкейна интерес и странным образом вызвала симпатию.

— Допустим. Продали ради денег. Теперь, Макрейт, я хочу, чтобы вы как можно подробнее

передали, что именно вы сообщили прессе о мистере Радичи.

Макрейт, не торопясь отвечать, опять повел глазами по кругу.

— Правду сказать, много-то не припомню…

— И вы надеетесь, что я этому поверю? — сказал Дьюкейн. — Не надо. Очень скоро сам материал окажется у нас в руках. И если вы посодействуете мне сейчас, я, возможно, смогу помочь вам впоследствии.

— Так, — отозвался Макрейт, впервые обнаружив признаки легкого беспокойства. — Так, значит… Мне нравился мистер Радичи, сэр, — проговорил он. — Правда, нравился…

Дьюкейн оживился. Теперь Макрейт сделался понятнее ему — такое чувство, быть может, возникает у матадора, когда он дотронется до быка.

— Вы близко знали его? — спросил он осторожно.

Дьюкейну не впервой было вести допрос и не внове сознавать, что он плетет в тиши кабинета невидимую ткань обстановки, располагающей того, кто зазевался, к откровенности. Хоть и немножко совестно, что он мастер по этой части. Это умение «разговорить человека» состояло не в том, что сказать или даже как сказать, — то был

талант улавливать, угадывать телепатические сигналы, почти физически исходящие от собеседника.

— Да, — отвечал Макрейт.

Он снова положил руки на стол и разглядывал их. Руки были на удивление чистые. Шустрая мушка переключилась теперь на него, но он от нее не отмахивался. Макрейт и мушка разглядывали друг друга.

— Он обходился со мной по-доброму. Я делал для него кой-чего. Помимо работы.

— Что именно? — мягко спросил Дьюкейн.

— Ну понимаете, ему требовались предметы для его магии. Я бывал у него на дому — в Илинге то есть.

— Иными словами, приносили вещи, нужные для обрядов, связанных с магией?

— Да, сэр. Он чудной был, мистер Радичи. Безобидный, но, как бы сказать, с приветом. Но при всем том — башковитый, заметьте. Про эти дела насчет магии знал все до тонкости — историю там и прочее. Что книжек у него было об этом, толстенных, — вы не поверите! Истинный был знаток, без дураков.

— Какие же предметы вы ему носили?

— Да всяко-разные. Никогда не угадаешь, что

нужно будет в следующий раз. Как-то вот перья понадобились, белые перья. Злаки, масло разных сортов. Покупал в «Диетических продуктах». А бывало, и птиц закажет или мелкое зверье — мышей, к примеру.

— Живых?

— Ага. Я в зоомагазин ходил за ними. Там, думается, учуяли что-то под конец.

Дьюкейн передернулся.

— Продолжайте…

— Ну, потом еще кое-чем запасался — травками, скажем, пасленом, и так далее — хотел научить меня разбираться в них, чтобы я, значит, ездил за город собирать их для него, только я не соглашался.

— Отчего же?

— Не люблю я загород, — сказал Макрейт. — Остерегаюсь этого зелья, когда оно прет прямо из земли, — прибавил он. — То ли дело, поймите, — в магазине…

— Да, понимаю. И что, мистер Радичи действительно верил в эти свои обряды?

— Еще бы, само собой! — обиженным тоном сказал Макрейт. — Не для потехи ими занимался. И притом — со знанием дела, то есть у него они срабатывали…

— Срабатывали?

— Верней, не знаю, я при том лично не присутствовал, учтите, но только мистер Радичи был очень необычный мужчина, сэр, — как говорится, наделенный сверхъестественной силой. От него просто веяло чем-то особенным.

— У вас есть прямые свидетельства, что мистер Радичи обладал сверхъестественными способностями — или это просто ощущалось?

— Чтобы свидетельства — это нет, но как бы чувство такое…

— Ну да, могу себе представить. Где вы впервые встретились с мистером Радичи?

— Здесь же, сэр, на работе.

— Ясно. И время от времени делали по его поручению покупки, за что он, надо полагать, платил вам.

— В общем — да, сэр, какую-то малость. Оплачивал мое время.

— Естественно. А приходилось вам сталкиваться с миссис Радичи?

— Не особо, сэр, она больше держалась в сторонке — так, разве, здрасьте — до свиданья.

— Она, на ваш взгляд, не возражала против ваших посещений?

— Нисколько, сэр. Она была в курсе, полностью.

Жизнерадостная такая дама, очень приветливая, любезная.

— Они, по-вашему, с мистером Радичи ладили между собой?

— Душа в душу, я сказал бы, сэр. Никогда не видел, чтобы человек так убивался, как он, когда она померла. Магию свою забросил на много месяцев.

— Миссис Радичи не огорчало, что он занимается магией?

— Я, например, вообще не замечал, чтобы ее огорчало что-нибудь, хотя девицы должны были немного портить ей настроение…

— Девицы?

— Да, в смысле, — для магии требовались девицы.

Вот мы и добрались до сути, подумал Дьюкейн. Он слегка поежился; комната беззвучно пульсировала электрическими животными токами.

— Ну да, магические обряды, сколько мне известно, нередко предполагают участие женщины, чаще — невинной девушки. Вы бы не рассказали о них немного?

— Насчет невинности — это я не знаю! — У Макрейта вырвался безумный смешок.

Радичи околдовал его, мелькнуло в голове у

Дьюкейна. В смешке Макрейта слышались шальные нотки восхищения.

— Вы хотите сказать, женщины, которых — мм — привлекал мистер Радичи, были… словом, что это были за девицы? Вам приходилось с ними встречаться?

— Приходилось иной раз, ага, — сказал Макрейт. Теперь он говорил, взвешивая каждое слово. Взмахнул рукой, прогоняя назойливую муху, и поднял глаза на Дьюкейна, выразительно двигая бесцветными бровями. — Потаскухи, иначе не назовешь. Не то чтобы я заставал его когда за этим делом…

— Чем же он, по-вашему, занимался с этими девушками?

Дьюкейн поймал себя на том, что улыбается Макрейту ободряюще — пожалуй, даже по-свойски. Предмет разговора сам собою вносил в обстановку элемент чисто мужской задушевности.

— Занимался-то? — переспросил Макрейт, в свою очередь отвечая ему улыбкой. — Я, понимаете, толком не видел этого, хотя раза два потихоньку возвращался и заглядывал в окошко. Интересно было, знаете. Вам бы, сэр, тоже было бы интересно.

— Да, наверное, — сказал Дьюкейн.

— То есть, чем с ними обыкновенно занимаются — такого, думается, не было, он же с причудами был господин. Один раз, смотрю, девица у него лежит на столе, и на животе у ней стоит серебряная чаша. А сама притом — раздетая до нитки.

Черная месса, догадался Дьюкейн.

— Он по одной принимал этих женщин или сразу несколько?

— По одной, сэр, только они не всегда бывали свободны, и на тот случай четверо было постоянных. Раз в неделю являлись, по воскресеньям — это уж обязательно, а бывало, и сверх того.

— А еще вы наблюдали что-нибудь?

— Не сказать, чтобы *наблюдал.* Просто довольно странные вещи лежали у него по всему дому.

— Что, например?

— Ну, там, хлысты, кинжалы — такое. Правда, чтобы он их когда применял — к барышням, я хочу сказать, — этого я не видел.

— Понятно, — сказал Дьюкейн. — Ну, а теперь расскажите-ка мне о Елене Прекрасной.

— Прекрасной? — Белокожее лицо Макрейта окрасилось легким румянцем. Он убрал руки со стола. — Никакой такой не знаю.

— Бросьте, мистер Макрейт, — сказал Дьюкейн. — Нам известно, что в истории, изложенной

вами прессе, упоминается некая особа под этим именем. Так кто же это?

— А, Елена *Прекрасная*, — небрежно сказал Макрейт, словно до того речь шла о какой-то другой Елене. — Да, вроде была одна с таким прозвищем. Среди других прочих.

— Почему же вы только что говорили, будто понятия не имеете, кто это?

— Я не расслышал, что вы сказали.

— Хм-м. Ну хорошо, так расскажите о ней.

— А нечего рассказывать, — сказал Макрейт. — Не знал я ничего про этих девиц. По правде, и не встречался с ними. Слышал просто, что одну так звать, — ну, оно и застряло в памяти.

Врет, подумал Дьюкейн. Что-то связано именно с этой женщиной. Он спросил:

— Вам известны фамилии этих особ и где их следует искать? В полиции, возможно, захотят их допросить.

— В *полиции*? — Физиономия Макрейта сморщилась, будто он собирался заплакать.

— Ну да, — невинно подтвердил Дьюкейн. — Чистая формальность, разумеется. Не исключаю, что их присутствие потребуется на дознании.

Это была неправда. С полицией уже договорились, что на дознании, назначенном на завтра,

касаться наиболее неординарных сторон жизни покойного не станут.

— Не знаю я ни их фамилий, ни местожительства, — буркнул Макрейт. — Я к ним касательства не имел.

Об этом он мне больше ничего не скажет, решил Дьюкейн.

— Кроме того, мистер Макрейт, — продолжал он, — если не ошибаюсь, в истории, проданной вами газетам, упоминается также шантаж. Не могли бы вы пояснить, о чем речь?

Макрейт опять порозовел, что придало его лицу несколько ребяческий вид.

— Шантаж? — сказал он. — Я ничего не говорил про шантаж. Даже слова такого не употреблял.

— Слово роли не играет, — сказал Дьюкейн. — Важна сущность. «Из рук в руки перешла сумма денег» — было такое?

— Точно не знаю. — Макрейт втянул голову в плечи. — Газетчики прямо-таки ухватились за эту мысль, им она первым пришла в голову.

— Но не могли же они просто придумать. Наверняка вы сказали им что-то.

— Они сами начали, — сказал Макрейт, — сами завели этот разговор. А я отвечал, что в точности ничего не знаю.

— И тем не менее, хоть что-то вы же знали — или догадывались, может быть, или предполагали? Что?

— Мистер Радичи как-то обмолвился насчет этого, хотя, может, я не так его понял. Я ребятам из газеты объяснял…

— О чем он обмолвился?

— Погодите, сейчас. — Теперь Макрейт смотрел Дьюкейну в глаза. — Сказал…постойте… что, дескать, кто-то тянет из него денежки. А кто — не назвал, и больше вовсе не заикался об этом. Или, может, я неправильно его понял, — и вообще, вижу, лучше бы мне было промолчать, просто газетчики больно уж наседали — так, будто в этом главная соль.

Ложь, подумал Дьюкейн. Во всяком случае, относительно Радичи. И внезапно его осенила догадка — что Макрейт и есть тот самый шантажист. А что газетчики ухватились за упоминание о шантаже — это, вероятно, правда. Алчность затуманила Макрейту его хитрые шотландские мозги. Он, несомненно, вообразил, что вся эта история сойдет ему с рук. Мошенник, но неумеха, мысленно заключил Дьюкейн.

— Вы, очевидно, воображали, что все это вам так и сойдет, мистер Макрейт? — спросил он,

приятно улыбаясь. — Что мы так и не выясним, кто продал эти сведения?

В глазах Макрейта как будто отобразилось облегчение, что подтвердилось шумным вздохом.

— Ребята из газеты говорили, никто никогда не узнает.

— Ребята из газеты вам скажут что угодно, — отозвался Дьюкейн, — им лишь бы добыть материальчик.

— Что ж, в другой раз буду умней, — сказал Макрейт. — То есть…

Оба рассмеялись.

— Должен ли я понимать, мистер Макрейт, что сказанное здесь вами полностью исчерпывает то, что вы сообщили газетчикам?

— Да, сэр, это все, — они, понятно, приукрашивали маленько кое-где, когда записывали за мной, но это все, что я им сказал.

— И ничего не утаили, мистер Макрейт? Не рекомендовал бы вам — тем более что скоро этот материал окажется у нас. Уверены, что вам нечего прибавить?

— Нет, больше нечего, сэр. — Макрейт помолчал. — Вы, небось, плохо думаете обо мне, — заговорил он снова. — Некрасиво получается, — действительно, не успел человек руки наложить

на себя, а уже торгуют его подноготной. Но мне серьезно нужны были деньги. А не то чтоб я зло держал на мистера Радичи или личную обиду. Только хорошее видел от него, и сам прямо-таки прикипел к нему. Вы это поймите, сэр. Мне очень нравился мистер Радичи.

— Понятно. Что ж, полагаю, это все на данный момент, мистер Макрейт. Я вас больше не задерживаю.

— На данный момент? — переспросил Макрейт с тревогой. Он встал. — Вы, значит, сэр, захотите встретиться со мной еще раз?

— Возможно, — сказал Дьюкейн. — А возможно, и нет.

— И что, я должен буду явиться на дознание?

— На дознании ваше присутствие, вероятно, не потребуется.

— Вышибут меня отсюда, сэр, как по-вашему? Десять лет все-таки на этом месте. Опять же пенсия. С ней что будет, если…

— Это решать администрации, — сказал Дьюкейн. — Всего доброго, Макрейт.

Макрейт медлил. В ходе их беседы зародилось теплое чувство, чувство своеобразной близости, и Макрейту хотелось найти у Дьюкейна утешение. А заодно и выведать, насколько серьезно

отнесутся в министерстве к его служебному проступку, — и он силился собраться с мыслями, подыскивая нужные слова. Стоял, потупясь, приоткрывая и снова закрывая, точно котенок, свой ярко-розовый рот.

— Будьте здоровы, — сказал Дьюкейн.

— Спасибочко, сэр, большое спасибо.

Макрейт повернулся и нехотя пошел из комнаты. Мушка увязалась за ним.

Так-так, размышлял Дьюкейн, откидываясь на спинку стула. По-видимому, то, что Макрейт поведал о Радичи и его девицах, и есть действительно суть его рассказа журналистам. С лихвою хватит для роскошной публикации. Насчет одной из девиц, Елены Прекрасной, Макрейт явно что-то недоговаривает, но, может статься, это что-то он утаил и от газетчиков. Просто обмолвился о ней, потому что, как объяснил Дьюкейну, ее nom de guerre[16] «застряла» у него в памяти — и подарил прессе живописную подробность. И разумеется, за этим «что-то» может скрываться нечто вполне невинное — например, что Макрейт слегка неравнодушен к этой даме. А может, и нечто важное. Паршиво то, думал Дьюкейн, что, хоть я

[16] Примечания: 16
Боевая кличка *(франц.).*

и твердил ему, будто материал вот-вот окажется у нас в руках, на деле это может обернуться далеко не так. Заставить газету передать нам материал при настоящем положении вещей невозможно.

Что касается шантажа, тут у Дьюкейна не было особой ясности. Задавая Макрейту вопросы, он пришел к предположению, что шантажист — или, по крайней мере, один из шантажистов — сам Макрейт. Теперь, однако, догадка эта выглядела уже не столь бесспорной. По складу личности Макрейт, пожалуй, и подходил для роли шантажиста, но лишь, по зрелом рассуждении, мелкого. Дьюкейн мог с легкостью представить себе, как Макрейт, ухмыляясь, в почтительных выражениях дает понять Радичи, что к тем грошам, которые ему платят за «покупки», не мешало бы подкинуть малую толику. Представить себе, как Радичи с невольной усмешкой отвечает ему согласием. Допустить, что по утрате курицы, несущей золотые яйца, Макрейт не устоял против искушения в последний раз поживиться за счет своего незадачливого работодателя. Чего он не мог себе представить — это чтобы Макрейт вымогал у Радичи громадные суммы денег. Для этого у Макрейта кишка была тонка, да и гнусности в нем достаточной не ощущалось. Он, возмож-

но, и вправду хорошо относился к Радичи и в известной мере подпал под его обаяние. Но если Макрейт шантажировал Радичи по мелочам, это едва ли могло послужить тому причиной для самоубийства. Стоит ли за спиной Макрейта кто-то другой, истинный шантажист?

Дьюкейн напомнил себе, что цель расследования — установить, не затронуты ли в этом деле интересы спецслужб. Поскольку доступа к секретным материалам Радичи официально не имел, сам по себе тот факт, что он очутился в положении, допускающем шантаж, и, может быть, стал его жертвой, еще не означал, что они затронуты — если бы не то обстоятельство, что мотивы самоубийства оставались нераскрыты. Предположим, ex hypothesi[17], Радичи вынудили раздобыть и передать в чужие руки секретный материал и он боялся разоблачения — или пусть даже не боялся, — и вот вам вполне убедительный мотив для самоубийства. Но ведь, с другой стороны, этому нет ни тени доказательств, Радичи не состоял в близких отношениях ни с кем, кто мог бы достать для него такого рода материал, — плюс те, кто был хорошо с ним знаком,

---

[17] Примечания: 17
Гипотетически *(лат.)*.

утверждали, что подобные поступки вообще не в его характере, и Дьюкейн склонен был с ними согласиться. Неизвестно, конечно, — допуская, что на сцене присутствовал и другой, более крупный шантажист, — какой ценой был готов Радичи откупиться за сокрытие чего-то, о чем Макрейт не сказал, о чем Макрейт ничего не знал. Впрочем, Дьюкейн не представлял себе всерьез, чтобы Радичи занимался шпионажем. Что-то за всем этим стояло иное. Моя главная задача, думал он, — выяснить, почему он покончил с собой. Причем ответ может оказаться страшно прост: из-за жены, вот и все. И если так, доказать это будет страшно трудно!

Ничто не противоречило утверждению, что супруги Радичи жили «душа в душу», — напротив, судя по всему, они были счастливы в браке. В том-то, возможно, и крылась причина. Как миссис Радичи мирилась с наличием «девиц», у Дьюкейна положительно не укладывалось в голове, — а впрочем, лучше понимая с недавних пор загадки брачных союзов, он уже знал, что нет такого, с чем неспособны справиться эти поразительные сообщества. Очень может быть, что миссис Радичи относилась к мужнину общению с девицами вполне терпимо. «Жизнерадостная такая дама»,

аттестовал ее Макрейт, — что соответствовало и другим свидетельствам. Самого Макрейта, разумеется, нужно будет допросить еще раз, и гораздо более жестко и профессионально. Сломить Макрейта окончательно, пригрозить, нагнать страху не должно составить особого труда, размышлял Дьюкейн. Только он предпочел бы повременить с этим, пока не станет ясно, согласна ли газета передать им купленный ею материал. Вести переговоры на эту деликатную тему и отрядили Джона Дройзена.

После чего мысли Дьюкейна обратились к Джессике. Ход этих мыслей был таков. Невозможно быть адвокатом, не воображая себя на месте судьи, и Дьюкейн тоже давал подобным образом волю своему воображению. Однако — что, помимо прочего, вызвало у него в конечном счете неприятие жизни в залах суда — вся ситуация с судейством в целом внушала ему отвращение. Он зорко наблюдал за судьями и пришел к выводу, что смертных, достойных быть судьей, не существует. Теоретически судья лишь представляет величие и беспристрастность закона, инструментом коего является. На практике же, из-за неточности, присущей закону и несовершенства, отличающего человека, судья, в достаточно

широких пределах, обладает абсолютно личной властью, которую и применяет в меру отпущенной ему мудрости. Рассудком Дьюкейн понимал, что на свете должны быть суды и что английский суд в общем и целом — хороший суд, а английские судьи — хорошие судьи. Но его коробило это противостояние узника на скамье подсудимых и восседающего над ним судьи в облачении, подобающем разве что монарху или папе римскому. Сердце, рассудку вопреки, восставало при лицезрении судейской гордыни, твердя, что так быть не должно, — с тем большей горячностью, что каким-то краешком своего существа Дьюкейн и сам бы желал быть судьей.

Со смешанным чувством вины и досады, словно позволил себе подслушивать под дверью, он знал, что бывают минуты, когда он говорит себе: «Лишь я один из всех обладаю теми достоинствами, тем смирением, что дают человеку право быть судьей». Он представлялся себе не просто потенциальным, но реальным правдолюбцем, вершащим справедливый суд. Как относиться к этим воображаемым картинам, Дьюкейн, честно говоря, и сам не знал. Иногда, исключив для себя уже реальную возможность стать судьей, принимал их за безобидные мечты. Иногда видел в

них источник самого разлагающего влияния в своей жизни.

По существу, воображая себя в этой свойственной ему манере судьей, Дьюкейн, лишь смутно о том догадываясь, столкнулся с одним из коренных парадоксов нравственности, а именно: чтобы сделаться праведником, необходимо бывает вообразить себя таковым, меж тем как это как раз и может стать преградой на пути к совершенству либо из-за тайного самодовольства, либо иной кощунственной заразы, подхваченной, когда раздумья о добродетели свернут на ложную дорожку. В стремлении к добру не обойтись без помыслов о добродетели, хотя бездумный простак может достичь нравственного совершенства, ни о чем таком не помышляя. Дьюкейн, во всяком случае, был крайне склонен к размышлению и с детства ставил перед собой ясную цель: стать достойным человеком, и хотя получил от природы мало демонического, но жил в нем дьявол гордыни, по-шотландски твердолобый кальвинистский дьявол, способный привести Дьюкейна к полной погибели, и Дьюкейн о том прекрасно знал.

Метафизическая эта дилемма возникала перед ним временами не в четкой концептуальной форме, а скорее как атмосфера, озадаченно-виноватое

ощущение, схожее по характеру с сексуальным и не лишенное приятности. Если б Дьюкейн верил в Бога — а он не верил с пятнадцати лет, когда отринул суровый низкоцерковный глазговский протестантизм, в котором был воспитан, — то, почуяв близкий наплыв этого ощущения, тотчас прибегнул бы к истовой молитве. А так — угрюмо терпел, закрыв глаза, отгораживаясь от заманчивых картин в перспективе. Это ощущение, которое естественным образом накатывало на него от сознания своей власти над другим человеком, в особенности власти официальной, в данном случае вызвано было допросом, который он учинил Макрейту. А волнующее сознание власти над Макрейтом навело, в свою очередь, на мысли о ком-то еще, также несвободном от его власти, и то была Джессика.

Дьюкейн сокрушенно признавался себе, что к угрызениям совести по поводу его поведения с Джессикой примешивалась отчасти досада, что в качестве малодушного ее возлюбленного он являет собой фигуру, весьма далекую от образа достойного человека. Он, откровенно говоря, давно решил, что таким, как он, противопоказано заводить романы, и случай с Джессикой — наглядный пример того, что подчас знаешь и

хочешь как лучше, а поступаешь как хуже. Но, впрочем, полагал также, что осуждать ошибки прошлого стоит лишь с целью избежать повторения их в будущем. Как, заварив всю эту кашу, сделать теперь верный шаг? Может ли он, запутавшись в сетях самотканой паутины, играть или хотя бы претендовать на роль справедливого судьи по отношению к бедной Джесс? Как ему дистанцироваться от этой заварухи, как осудить ошибку, когда ошибка — он сам? Вносил сумятицу в его мысли и привычный обличающий голос, настаивая, что он так рвется сейчас упростить себе жизнь лишь для очистки совести или, грубо говоря, — чтоб устранить помехи на столь важном для него пути под высокую руку Кейт. И все же разве не очевидно, что ему, каковы бы ни были на то резоны, следует окончательно порвать с Джессикой и больше с нею не видеться? Бедняжка Джессика, думал он, бедняжечка, — ах ты господи…

— Простите, можно к вам на минуту?

Течение Дьюкейновых мыслей прервал голос Ричарда Биранна, заглянувшего к нему в дверь.

— Да-да, войдите, — приветливо проговорил Дьюкейн, гася быстрым мускульным усилием враждебное напряжение, которым его тело мгно-

венно отозвалось на появление Биранна.

Биранн вошел и сел напротив. Дьюкейн взглянул на смышленое лицо посетителя. Высоколобую красивую голову Биранна венчали тугие завитки жестких пепельных волос, удлинняющие его слегка помятую физиономию. Подвижный, нечеткого рисунка рот легко кривился в усмешке. Высокий, назидательно резкий голос словно бы порождал физическое сотрясение воздуха, от какого предметы поблизости дребезжат, норовя разбиться. Дьюкейн вполне допускал, что он должен нравиться женщинам.

— Дройзен сказал мне насчет Макрейта, — начал Биранн. — Я хотел спросить, вы с ним встречались, греховодником, вытянули из него что-нибудь, если это не секрет?

Дьюкейн не видел причин избегать разговоров на эту тему с Биранном, тем более что тот присутствовал при завязке драмы.

— Да, встречался. Кое-что он мне сказал. Картина начинает проясняться.

— Вот как. И что же вам удалось узнать?

— Он говорит, что делал покупки для занятий Радичи магией. Что в сеансах магии предполагалось участие обнаженных девиц. К этому, не считая мелких прикрас, как будто и сводится то,

что он выболтал прессе.

— Девицами вы уже занимались?

— Нет еще. Макрейт сказал, будто ничего о них не знает. Чему я не верю.

— Хм-м. А как там обстоит с шантажом?

— Неизвестно, — сказал Дьюкейн. — Не исключаю, что Макрейт втихую сам шантажировал Радичи. Но это не имеет значения. Тут есть что-то другое. Есть кто-то другой.

— Другой? — переспросил Биранн. — Не знаю. Это что, всего лишь догадка? У вас, мне кажется, и так налицо все компоненты объяснения.

— А в единое целое — не складывается. Почему Радичи наложил на себя руки? Почему не оставил записки? И не нашел лучше места, чем контора? Меня не покидает ощущение, что последнее — существенно.

— Где-то же должен он был, бедолага, найти для этого место! Интересно, что Макрейт, по-вашему, возможно, шантажировал его. Разве это не могло послужить причиной?

— Не думаю. Впрочем, скоро буду знать наверняка.

— Звучит весьма уверенно. У вас есть еще какая-то зацепка?

Дьюкейн внезапно прикусил язык. Его смущало

зрелище Бирана на стуле, незримо хранящем многоцветный образ Макрейта. Вернулось вызванное допросом Макрейта волнующее чувство, в котором смешались сознание собственного несовершенства и свои честолюбивые устремления. С той разницей, что на Бирана его власть не распространялась. Бирани не был узником на скамье подсудимых.

Его потянуло подпустить в свой ответ туману.

— Да, есть кой-какие ниточки, — отозвался он. — Поживем — увидим.

Теперь он ощущал почти физически издавна привычную упорную неприязнь к Бирану. Пора, в конце концов, было забыть тот особенный язвительный смешок. Он ведь и сам сколько раз ни за что ни про что высмеивал людей, причем без всякого злого умысла. Пора покончить наконец с навязчивыми притязаниями уязвленного и раздутого самолюбия. Он напомнил себе о недюжинных воинских заслугах Бирана. Тоже лишний повод для зависти, лишний источник этой совершенно недостойной вражды. Глядя вслед Бирану, который собрался уходить, Дьюкейн был ослеплен явлением ему в пыльных солнечных лучах образа Полы с двойняшками, какими последний раз видел их у моря в Дорсете.

Дьюкейн, которому Пола нравилась и внушала уважение, ни минуты не сомневался, что виноватой стороной в разводе был Биранн. Он слышал, как Биранн рассуждает о женщинах. Но сейчас, провожая глазами своего посетителя, испытывал чувство, близкое к жалости: иметь такую жену, как Пола, таких детей, как двойняшки, и по собственной прихоти лишиться их навсегда!

Глава девятая

— Делай что хочешь, — сказала Джессика, — только не говори «никогда». Меня убивает это слово.

Дьюкейн промолчал с несчастным видом. Подавленный, виноватый, он выглядел сейчас другим человеком, непохожим на себя.

— Я просто не могу понять, — говорила Джессика. — Должно же быть какое-то иное решение, наверняка должно! Думай, Джон, думай, ради бога!

— Нет, — пробормотал он, — другого нету.

Дьюкейн стоял у окна в густых лучах предвечернего солнца, съежась от тоски, томясь и маясь, чужой и гадкий сам себе, как будто оброс коростою струпьев. Он медленно качнул головой туда-сюда не значащим жестом, а движением вьючного животного, которому больно давит на плечи ярмо. Со вздохом бросил на Джессику быстрый, острый, недобрый взгляд.

— Вот несчастье…

— Ты хочешь, чтобы я отпустила тебя легко, так ведь? А я не могу. Как я могу покончить с собой,

задержав дыхание.

— Бедная моя девочка, — сказал он сдавленно, — не надо, не надо воевать.

— Я не воюю. Просто пытаюсь выжить.

— Это стало ни на что не похоже, Джессика…

— У тебя — возможно. Я не изменилась. Почему ты не можешь *объяснить*, Джон? Зачем тебе совершать такое над нами?

— Нельзя влачиться дальше в подобном эмоциональном хаосе. У нас нет окружения, обыденности, устойчивости. Живем эмоциями и пожираем друг друга. И это — безобразие по отношению к тебе.

— Ты думаешь не обо мне, Джон, — сказала она, — я это знаю. Ты о себе думаешь. Ну, а обыденность — почему она для нас обязательна? Мы вовсе не обычные люди.

— Я говорю, что мы не можем сосуществовать и принимать друг друга как данность. Мы не женаты и мы не просто друзья. Так нельзя. Ситуация никуда не годится, Джессика.

— В последнее время — да, но, если только ты перестанешь носиться с этой темой, все уляжется.

— Необходимо упростить положение вещей. Добиться простоты в своей жизни.

— Не понимаю почему. Что, если жизнь устроена не просто?

— Значит, это неправильно. Жизнь у каждого должна быть простой и открытой. А у нас, покуда тянется эта история, и то, и другое невозможно. Живем, словно в дурмане.

— Никакой *истории* нет, есть то, что я люблю тебя. *История* существует в твоем воображении.

— Хорошо, пусть в воображении. Я с самого начала не должен был допустить этих отношений. Вина целиком на мне, Джессика. Я очень дурно поступил.

— А мне кажется, ты поступил замечательно, что допустил эти отношения, чем бы все это ни кончилось.

— Они неотделимы от того, чем это кончится.

— Почему ты не можешь жить в настоящем? Ты где угодно живешь, только не в настоящем! Что тебе сейчас мешает взять и пощадить меня?

— Мы — люди, Джессика. Мы не можем жить одним лишь настоящим.

Джессика закрыла глаза. Любовь ее к Джону была в этот миг такой неистовой, будто сжигала ее заживо. Сгинуть бы теперь, подумала она, пасть угольком к его ногам.

Его внезапное решение не видеться с нею

больше было недоступно ее пониманию, точно смертный приговор незримой власти за неведомое преступление. Все шло как обычно, и вдруг, словно гром среди ясного неба — это…

Джон Дьюкейн возник в жизни Джессики как первая большая подлинность. Родного отца она не знала, он умер, когда она была слишком мала. Мирилась кое-как с типичным для рабочей среды домом матери и отчима, откуда сбежала, поступив в художественное училище. Но студенческая жизнь представлялась Джессике теперь пустой, несущественной, — чем-то вроде хмельной случайной вечеринки. Спала то с одним, то с другим. Пробовала то одну, то другую новомодную манеру письма. Никто не пытался научить ее чему-нибудь.

Подобно большинству своих однокашников, Джессика — чего до конца не мог представить себе даже Джон Дьюкейн — существовала абсолютно вне христианства. Мало того что никогда не верила в Бога и не ходила в церковь — никто ни дома, ни в школе не познакомил ее с библейскими преданиями или доктринами религии. Христос был для нее фигурой из мифологии, и знала она о нем примерно столько же, сколько об Аполлоне. Она, по сути дела, являла собой чи-

стой воды язычницу, хотя это слово несет в себе положительный смысл, который отсутствовал в ее жизни. И если б задаться вопросом, для чего и чем жила Джессика в студенческие годы, в ответ, пожалуй, прозвучало бы: «молодость». Один могучий символ веры поддерживал и объединял компанию, в которую она входила, — то, что они *молоды.*

Джессика — во всяком случае на первых порах — считала, что обладает художественным талантом, ей только никак не удавалось найти ему точку приложения. Образование в области искусства не помогло ей определить для себя центральное направление, основную склонность или хотя бы изучить историю живописи — оно, скорее, пробудило позыв к непосредственному и легковесному «творчеству». Он-то со временем и вылился в единственно доступный ей вид духовного голода. В кругу ее товарищей принято было следовать неким правилам поведения, в чем-то сродни по своей роли племенным запретам. Однако Джессика так и не развила в себе способность лепить и строить из окружающего среду своего нравственного обитания — способность, именуемую подчас нравственной основой. Она, из страха перед общепринятым, оголила

свой мир. Установкам ее поведения недоставало внятных обоснований. Ее общение со сверстниками — а ни с кем, кроме сверстников, и притом в самом узком смысле слова, она не общалась — отличалось такой пригодностью и свободой, что выродилось наконец в безвкусицу. Она привыкла к интимной близости в присутствии третьих и даже четвертых лиц — не по извращенности натуры, а как к проявлению свободы. К тому же и условия были ограничены, да и никого это не задевало, никого не трогало.

Случалось, и не однажды, что Джессика принимала очередную встречу за любовь, но главная ее забота была, как бы не заиметь ребенка. Вечные перемены — и никаких обид, гласило основное правило, и Джессика, неукоснительно следуя ему, оставалась неискушенной и неиспорченной — невинной, в известном смысле слова. Была своеобразная честность в ее образе жизни. Верность идее вылилась у нее в форму презрения ко всему основательному, устойчивому, прочному, — к «старому», одним словом; презрения, которое, по мере того как сама она становилась старше, перерастало в глубоко спрятанный страх. И сиротливая нутряная тяга к Абсолюту — к тому, чего, в конечном счете, нет основательней,

устойчивее, прочней и старше — должна была поневоле находить себе выражение анонимно. Так Джессика тщилась создавать и любить то, что совершенно и вместе с тем недолговечно.

Эту свою увлеченность, эту одержимость пыталась она передать детям, которым преподавала в школе. Она учила их работать с бумагой, которую можно скомкать в конце урока; с пластилином, который можно смять обратно в бесформенный комок; с кубиками, камешками, разноцветными шариками, которые можно снова перемешать как попало, и если на белую поверхность наносили краску, ей полагалось растекаться рекой, пеленой тумана, изменчивыми образованиями из мира облаков. Копировать что бы то ни было никому не разрешалось, а малыш, которому захотелось однажды забрать очередное свое бумажное сооружение домой и показать маме, получил строгий выговор.

— Так это что, мисс, все *понарошку?* — озадаченно спросил наконец у Джессики кто-то из детей.

Для Джессики то была минута горделивого педагогического торжества.

Отказ мириться с основательным и прочным, который служил ей — а возможно, и был на самом деле — аналогом душевной чистоты и

наделял ее когда-то таким ощущением духовного превосходства, стал внушать ей ко времени знакомства с Джоном Дьюкейном куда меньше уверенности, сколь бы упорно ни цеплялась она за свои прежние взгляды. Первоначальные ее беседы с Дьюкейном перерождались в споры, когда он выражал удивление ее неосведомленностью о великих художниках, а она — неодобрение его дряблой неразборчивости во вкусах. Ему, оказывается, нравилось все подряд! И Джотто нравился, и Пьеро, и Тинторетто, Тициан и Рубенс, Рембрандт, Веласкес и Тьеполо, Ингр'Ренуар и Матисс, Бонар и Пикассо! Подобная всеядность наводила Джессику на мысль о неискренности. Сама она, уступая нажиму Джона, осторожно признавалась, что любит то или иное хорошо ей известное полотно. Хотя в действительности ей нравилось только то, что можно тут же усвоить и пустить в дело, а этого становилось с годами все меньше.

Дьюкейн был самым серьезным событием в ее жизни. Он сообщил ей отчаянную неуверенность в себе, являя в то же время собою единственно возможное исцеление от этой неуверенности. Скрытая тоска Джессики по пристанищу, где ждет успокоение, — тоска, сочащаяся с кончиков

ее лихорадочно деятельных пальцев, — нашла в Джоне чистый и непреложный исход. Девушка полюбила его безоглядно. Положительность, отличающая его, чуждые ей основательность и неторопливость, принадлежность его к существующему порядку, его *возраст,* а более всего — его пуританизм представлялись ей теперь тем, чего она искала всю жизнь. Его пуританская застенчивость и сдержанность отзывались в ней содроганием страсти. Серьезность, с которой он подходил к акту любви, будила обожание.

Строго говоря, Джон и Джессика по-настоящему никогда не понимали друг друга, и повинен был в том главным образом Джон. Будь он мудрее, имей кураж, которым из щепетильности не обладал, он взялся бы за девушку твердой рукой, обращаясь с ней как со своей ученицей или воспитанницей. Тем более что Джессика только мечтала бы, чтобы Джон ею руководил. Она, понятно, не знала, какого именно жаждет руководства, — просто, по природе своей любви, склонна была считать, что он умен и содержателен, а она — дурочка и пустышка. Джон со своей стороны тоже угадывал в ней эту жажду, но инстинктивно опасался ее и не желал видеть себя в роли наставника. Тщательно избегал «оказывать влияние» на свою молодень-

кую и ныне столь послушную любовницу. Едва лишь ощутив, как велика его власть над нею, он тотчас закрыл на это глаза, куда серьезнее греша неискренностью, чем при проявлении эстетической всеядности, в которой уличала его Джессика. Это его отрицание своей власти было ошибкой. Джону следовало найти в себе мужество руководить Джессикой. Тогда между ними образовалась бы почва для более полноценного общения, в котором Дьюкейну неизбежно пришлось бы раскрыться перед девушкой. А так он отстранился, дабы не теснить ее, предоставить ей пространство для роста; но Джессика оказалась неспособна расти и, не понимая его, лишь боготворила с разделяющего их расстояния. Меж тем как сама оставалась почти полностью скрыта от него за словом «художник», связанным для Джона с общепринятым представлением о том, что это такое, — представлением, которому он положил Джессике соответствовать, не подозревая, что встретил в ней существо новой и совершенно иной породы.

Мне не вынести эту боль, думала Джессика, он должен избавить меня от нее. Все это лишь наваждение, дурной сон, — этого не может быть! Когда мы перестали быть любовниками, я счи-

тала, что, значит, останусь в его жизни навсегда; я это приняла, прошла через это, потому что так сильно его любила, хотела быть для него тем, что ему нужно. И он ведь позволял мне любить себя, — должно быть, это доставляло ему радость. Не может он взять и уйти от меня сейчас, это невозможно, это какая-то дикая ошибка…

Летнее лондонское солнце заливало комнату послеполуденным нещадным зноем; в светлом мареве фигура Джона терялась за пеленой пыльного света, казалась бесплотной, как будто его слова произносил какой-то неживой манекен, а настоящий Джон слился воедино с ее измученным телом.

Дьюкейн надолго замолчал, глядя в окно.

— Обещай мне, что ты еще придешь, — сказала Джессика. — *Обещай*, — или я умру.

Дьюкейн обернулся, пригнув голову от света.

— Это бесполезно, — проговорил он глухим, тусклым голосом. — Будет лучше, если я сейчас уйду. Я напишу тебе.

— То есть ты больше не придешь?

— В этом нет смысла, Джессика.

— Ты что, уходишь от меня, другими словами?

— Я буду тебе писать…

— Ты хочешь сказать, что прямо сейчас уйдешь

и больше не вернешься?

— Боже ты мой… Да, я это хочу сказать.

Джессика испустила вопль…

…Она лежала на спине; рядом, зарывшись лицом в ее плечо, вытянулся на кровати Джон Дьюкейн, его сухие, прохладные волосы касались ее щеки. Руки Джессики, блуждая по темной ткани его пиджака, нашли друг друга и соединились, заключив его в крепкое объятье. Сплетя пальцы у него на спине, она глубоко вздохнула, устремив взгляд на потолок, расплывчатый и испещренный пятнами, объемный под золотистыми косыми лучами вечернего солнца; золотистый свет лился ей в глаза, широкие и бездонные, как озера, до краев заполненные покоем. Ибо мучительная боль ушла, пропала бесследно, и Джессика обмякла телом и душой от блаженства, что боли больше нет.

Глава десятая

Что-то грохнуло наверху, и следом послышался жалобный протяжный возглас.

Мэри виновато оторвалась от журнала «Летающие тарелки», принадлежащего Генриетте, и, бросив его обратно на стол, кинулась через две ступеньки из холла вверх по лестнице.

Сцена, которую она застала у Тео, примерно соответствовала ее ожиданиям. Тео, с глуповатым выражением лица, сидел в постели, обхватив руками Минго. Кейси, плача, пыталась вытащить из кармана шаровар носовой платок. Чайный поднос Тео лежал на полу, а на нем и вокруг него в беспорядке валялись черепки фаянсовой посуды, остатки бутербродов и ошметки торта. Ковер не пострадал, поскольку пол в этой комнате был постоянно завален старыми газетами вперемешку с предметами мужского белья, и пролитый чай успел впитаться в этот многослойный хлам.

— Ну хватит, Кейси, — сказала Мэри. — Подите вниз и ставьте снова чайник. Я здесь уберу. Ступайте же.

Кейси, не переставая причитать, удалилась.

— Что случилось? — спросила Мэри.

— Она сказала, что она старая заезженная кляча, я с нею согласился, а она в ответ швырнула на пол поднос.

— Вечно вы, Тео, поддеваете Кейси, так нельзя, это просто жестоко!

Минго тем временем соскочил с постели и принялся обследовать кавардак на полу. Пучки шерсти, торчащие по углам его пасти наподобие усов, обмахивали осколки разбитой посуды. Наморщив влажный нос, он выпятил нежно-розовую губу и грациозно ухватил тонкий ломтик хлеба с маслом.

— Только не подпускайте Минго к торту, — сказал Тео. — Он выглядит соблазнительно, и я определено намерен его съесть. Вы не положите его вот сюда?

Он протянул ей лист газеты.

Мэри подобрала несколько кусков покрупнее и положила на газету. Затем, морща, по примеру Минго, нос, принялась собирать на поднос останки еды и посуды. В комнате Тео, где кому бы то ни было редко разрешалось наводить порядок, попахивало лекарствами и йодом и прочно установился застарелый запах пота. По утверждению двойняшек, этот тяжелый дух служил основой

родственной близости между дядей Тео и Минго, и Мэри мало-помалу поверила в это, хотя, на ее взгляд, флюиды, исходящие от собако-человечьей пары, были скорее не физического, а духовного свойства.

Пес между тем, с сияющей мохнатой мордой, вновь очутился на кровати, обхваченный дядей Тео поперек живота, беспомощно держа на весу четыре лапы и сидя на хвосте, вибрирующем в тщетных усилиях повилять. Сиял и Тео, расплываясь и теплея всем лицом, что было трудно назвать улыбкой. Строго поглядывая на них, Мэри заключила, что Минго приобрел известное сходство с Тео — или, может быть, наоборот.

Дядя Тео вызывал у Мэри недоумение. Удивляло и полное отсутствие интереса к нему со стороны прочих домочадцев. Когда ей сообщили — так, будто это некий придаток к имени или званию, — что Тео покинул Индию при сомнительных обстоятельствах, Мэри — естественно, казалось бы, — спросила, каких обстоятельствах. Никто, похоже, не знал. Она сначала подумала, что вопрос сочли бестактным. Но потом пришла к заключению, что это просто никому не интересно. Странность состояла в том, что вызывал столь безразличное отношение к себе умышленно сам

Тео, как бы распространяя излучение, нейтрализующее участие к нему со стороны других людей. Нечто вроде способности обращаться в невидимку — и в самом деле: порой казалось, что дядя Тео неразличим в буквальном смысле слова, как, например, когда кто-нибудь, обронив: «Там никого не было», спохватывался: «То есть нет, впрочем, — Тео был».

Что за причина побуждала дядю Тео пресекать проявления интереса к своей особе? У Мэри на этот счет имелись на выбор две противоположные теории. Одна, поверхностная и утешительная, — что дядя Тео так полон животной самодостаточности и скудоват умом, что просто не заслуживает особого внимания, как не заслуживает внимания паук у вас в углу. Он, правда, вел образ жизни больного человека — во всяком случае, проводил невероятное количество времени в постели, куда ему неизменно подавали завтрак и чай, а иногда — и ланч, и обед. Пространно рассуждал о населяющих его организм бациллах, которых именовал «мои вирусы», но в то, что у дяди Тео действительно какое-то определенное, не мнимое заболевание, никто не верил. И хоть бывал он подчас остер на язык и временами мрачен, хандра его чуть отдавала балаганом,

что мешало принимать ее всерьез. Кроме того, он обладал незаурядным даром расслабляться — в нем ощущалось полное отсутствие напряжения, магнетизма. Этим налетом пустой и вялой развинченности и объяснялось, по-видимому, равнодушие к нему окружающих. Интересоваться было попросту нечем.

Время от времени, однако, Мэри склонялась к другой, более тягостной теории — что неприметность дяди Тео скорее своего рода достижение, а может быть, и проклятье. В такие минуты его бездеятельность и расслабленность представлялись ей не то чтобы отчаянием, а чем-то по ту сторону отчаяния, названия чему она не знала. Как будто, думала она, человеку переломали все кости, а он все же движется, плетется по земле наподобие куклы, набитой ватой. Нельзя сказать, чтобы ей удалось разглядеть за внешней личиной дяди Тео мгновенную вспышку, проблеск некой иной области, таящей страдание. Личины не было. Просто отталкиваясь от того, что составляло в совокупности бесцельность, отличающую дядю Тео, она могла разглядеть в нем совсем иное — человека, который прошел сквозь ад и где-то по дороге утратил волю к жизни.

Поглядывая теперь в его сторону, Мэри наблю-

дала, как дядя Тео старается растормошить Минго привычным приемом, обнюхивая его шерсть с шумным азартом терьера, выслеживающего крысу. В отличие от младшего брата, с которым он внешне имел очень мало сходства, Тео был сухопар и достаточно высок ростом. С лысеющей головы его на шею, завиваясь, спадали длинные пряди сальных волос. Черты лица под широким лбом теснились впереди, как если бы Создатель впопыхах стянул их торопливой рукой поближе к кончику довольно-таки длинного носа. И оттого при крупной голове лицо у него выглядело маленьким, невзрачным и схожим с песьей мордой. Мэри, как она ни приглядывалась, не удавалось определить, какого у него цвета глаза. Однажды, прибираясь в комнате, она наткнулась на его старый паспорт и заглянула в него, любопытствуя, какой цвет выбрал для них сам Тео; в соответствующей графе значилось: «Землистый».

По мере того как шло время, Мэри стала с огорчением замечать, что ее участие и внимание к Тео убывают. Возможно, эти его нейтрализующие лучи действовали и на нее, и она тоже вскоре сравняется в равнодушии с остальными. Привыкнув выслушивать чужие откровения, Мэри раза два пробовала расспрашивать Тео об Индии, но

он в ответ только сиял на свой песий манер и менял тему разговора. Он вызывал у нее сочувствие и готовность помочь, но воспринимала она его отвлеченно. Беда в том, что Мэри не настолько его любила, чтобы разглядеть как следует. Он был неприятен ей физически, а она принадлежала к числу женщин, которым по сердцу только то, что хочется потрогать.

— Вы приготовите мне еще чаю? — попросил Тео.

— Да. Пришлю его с Кейси. Вам нужно помириться с ней. Вы же ее действительно обижаете.

— Не беспокойтесь. Мы с Кейси добрые друзья.

Он говорил правду. Мэри и сама обратила внимание, что эти двое по-своему привязаны друг к другу.

— Не мешало бы вам сходить навестить Вилли, — сказала она. — Три недели как с ним не виделись. Вы не поссорились часом?

Тео, по-прежнему сияя, прикрыл глаза.

— Едва ли можно ожидать, что два эгоцентричных неврастеника вроде нас с Вилли будут ладить между собой.

— Вилли не эгоцентричный неврастеник.

— И на том спасибо, милая! Если честно, я дал Вилли отставку на время поста, а там обнаружил,

что могу обходиться без него.

— Я как раз собираюсь сейчас к нему, и он непременно будет спрашивать о вас. Что, если вы ему нужны?

— Никому я не нужен, Мэри. Идите лучше приготовьте мне чайку, ладно?

Мэри спускалась вниз недовольная собой. Ничего у меня не выходит, думала она. Эти ее столкновения с Тео, неумение достучаться до него, пробиться к нему, нередко завершались для нее приливом жалости к себе, из-за которой его облик лишь гуще застилало мглой. Мэри, более, чем хотела в том себе признаться, считала оправданием своей жизни на земле талант служения людям. От неудачи с Тео страдало ее тщеславие.

Внизу она застала Кейси, уже не в слезах, а в бешенстве, за яростным приготовлением нового чайного подноса для Тео. Проходя мимо, к задней двери, она услышала, как Барбара наверху заиграла на флейте. Красота проникновенных глуховатых звуков — плод усердных упражнений — действовала Мэри на нервы. Полная неспособность самой запомнить хоть какую-либо мелодию придавала ее восприятию музыки тягостную остроту. Флейта Барбары — при том, что девочка теперь играла совсем недурно — ста-

новилась для Мэри едва ли не орудием пытки. Интересно, подумалось ей, где сейчас Пирс — лежит у себя в комнате или прячется где-нибудь в саду и тоже слушает хватающие за душу звуки?

Сад притих в этот летний вечер; воздух, напоенный солнцем и пыльцой, опахнул лицо Мэри теплой пуховкой. Сюда слабее доносился томительный голос флейты. Мэри прошла по выложенной галькой дорожке, вышла за ворота и стала подниматься в гору. По высоким обочинам проселка густо разрослась цветущая крапива, и Мэри, которая любила это растение, сорвала на ходу несколько веточек и сунула в карман своего белого в синюю клетку платья. Ступив под сень буковой рощи, она, охваченная в этот предвечерний час неодолимой истомой, машинально опустилась на ствол поваленного дерева и оседлала его, чуть вороша обутыми в босоножки ногами оборки жухлых скрученных листьев. Ствол, серый и гладкий наверху, загибаясь, уходил книзу под слой листвы, похожий по цвету и на ощупь на слоистый молочный шоколад, и Мэри, сидя верхом на нем и оглаживая его бока, уловила его легкий грибной запах, от которого щекотало в носу. Мысли ее теперь обратились к Вилли Косту.

Что-то грызло ее все чувствительнее в последнее время, и причину этого она видела в своих отношениях с Вилли. Примерно то же саднящее ощущение неудачи, что и с Тео, но применительно к Вилли — все же другое, потому что Вилли она как раз очень любила и трогать его согласилась бы с удовольствием. Он прибыл в Трескоум-коттедж, когда Мэри в нынешнем своем особом качестве уже прочно обосновалась в Трескоум-хаусе, и немедленно приняла этого человека под свое крыло. «Как там Вилли?» — привыкли справляться у нее прочие домочадцы. Мэри первое время не сомневалась, что в недалеком будущем Вилли разоткровенничается и расскажет ей все о своем прошлом, но этого не случилось. Никто не знал наверняка, откуда он родом. Дьюкейн говорил — из Праги, Октавиан — кажется, из Вены. Мэри не строила предположений на сей счет, придя в конце концов к восприятию скорбной европейской загадочности, присущей Вилли, как некоего физического свойства — свойства, которое отзывалось в ней нежностью, какую не вызвали бы никакие конкретные сведения.

Мэри не уставала твердить себе, какая удача, что ей выпало жить среди людей, которых она любит, и что такого количества любви довольно,

чтобы заполнить собою жизнь женщины. Она прекрасно знала, чуяла сердцем и понимала умом, что любить людей — самое главное на свете. Но знала также и то, что в глубине души таит недовольство, что на нее нападает иногда беспросветно-мрачное настроение, гложет непонятная тоска и собственная жизнь представляется сплошным маскарадом, где она носит ханжескую личину участливой, сердечной, услужливой особы, которая на самом деле не имеет с нею ничего общего. Причина крылась не в том, что в мире якобы не стало восторга и блаженства, что некогда озаряли ее. Восторга и блаженства, навязчиво вторгающихся ныне в ее сознание, ей в жизни не досталось вообще. В ее любви к мужчине всегда присутствовали нервозность и недосказанность, даже когда речь шла о любви к мужу. Она любила Алистера горячо, но и придирчиво, с оглядкой, как и он ее, и, предаваясь этой любви душой и телом, постоянно оставалась не в ладу с нею. Не умела безмятежно носить ее в себе, уподобясь сосуду, заполненному до краев. Скорее, пожалуй, выдерживала ее, как дерево выдерживает порывы студеного ветра, — недаром к ее воспоминаниям о замужней жизни примешивался образ холода. Не сторонница копаться в себе, Мэ-

ри предпочитала обходить вниманием изредка посещающую ее догадку, что этот тревожный, половинчатый вид любви — единственный, на какой она способна.

Отношения с Вилли Костом, до обидного неполноценные, приобрели для нее теперь очень важное значение, и Мэри не без оснований надеялась, что со временем они станут лучше, естественнее, богаче. Она больше не ожидала какого-то решающего «прорыва». Не рассчитывала, как когда-то вначале, что Вилли внезапно схватит ее за руки и поведает начистоту, как все было в Дахау. Отчасти даже уже и не хотела этого. И все-таки не теряла надежды, что добрый маленький гений, оберегающий ее странную дружбу с этим человеком, сообразит, как способствовать их мягкому и нежному сближению.

— Вилли, можно к вам?

— А, Мэри! Да-да, входите. Я вас ждал. Чай пили уже?

— Да, спасибо.

На самом деле — не пила, ей просто не хотелось, чтобы Вилли двигался с места. Пускай сидел бы спокойно, а двигаться будет она.

Вилли опустился обратно на свое низенькое кресло у камина.

— Молока не хотите? Составите мне компанию.

— Спасибо, Вилли, не буду.

Она начала по обыкновению бесцельно бродить по комнате; Вилли, вытянув ноги и зарывшись каблуками в древесную золу, прихлебывал молоко, провожая ее глазами. Часто они подолгу молчали так после ее прихода. Мэри, оказываясь в присутствии Вилли, испытывала физическую потребность освоиться. Его присутствие всегда несколько выводило ее из равновесия, и она, словно бы выставляя ему навстречу заграждение, старалась оплести его комнату собственным присутствием.

Коттедж, в котором обитал Вилли, — прямоугольная кирпичная постройка, возведенная по дешевке предшественником Октавиана, — состоял, в сущности, из одной большой гостиной, за которой, в западном конце дома, находились кухня, ванная и крохотная спаленка. По стенам, большей частью сплошь, тянулись книжные полки, которые Октавиан, увидев набитые книгами ящики, привезенные Вилли, заказал для коттеджа у местного столяра. Зато на южной стороне, выходящей на море, было узкое длинное окно с широким белым подоконником, уставлен-

ным разнообразными предметами, в основном — подношениями от гостей, движимых, по всей видимости, желанием то ли расположить к себе хозяина, то ли уберечь его от зла, преподнося или просто оставляя ему дары, зачастую совершенно бесполезные — в духе тех, кто ставит блюдечко с молоком у норы священной змеи.

Мэри мимоходом провела по подоконнику рукой, проверяя, нет ли на нем пыли, и взору ее представились два светло-серых камешка с бледным отпечатком каких-то окаменелых завитушек — вероятно, подаренных близнецами; картонная коробка, полная птичьих яиц, несомненно того же происхождения; комочек мха вперемешку с перьями — похоже, птичье гнездо в процессе распада; пакет с помидорами, банка из-под варенья с двумя белыми розами сорта «мадам Харди», с куста, растущего у Вилли за порогом; деревянное блюдо, расписанное эдельвейсами, которое Барбара привезла в подарок Вилли из Швейцарии; бинокль — тоже подарок Барбары и грязная чайная чашка, ее Мэри забрала с подоконника. Ей вспомнились веточки цветущей крапивы, все еще лежащие у нее в кармане. Она прошла на кухоньку, вымыла чашку, а заодно и несколько оставленных тут же тарелок и ножей.

Потом вынула из буфета высокий бокал для вина, поставила в него поникшие ветки крапивы и отнесла тоже на подоконник. Любопытно, кто принес сюда розы. Вилли такое вряд ли пришло бы в голову.

— Вы принесли мне цветы и поставили их в бокал.

— Да.

— Будь я поэтом, я сложил бы стихи на эту тему. «Злую крапиву поставила дева в бокал…»

— Она не злая, — сказала Мэри. — Такая крапива не жжется. И я — не дева.

Упорное нежелание Вилли знать, какие цветы растут поблизости, да и вообще отличать приметы окружающей местности поначалу выводило ее из себя, но постепенно приобрело для нее своеобразную прелесть.

— Дева, дева, — повторил он негромко.

Неужели жалеет, что не родился поэтом, пронеслось в голове у Мэри. Ей захотелось дотронуться до него, но она знала, что еще не время.

— Честное слово, Вилли, хорошо бы вы сходили повидаться с Тео.

— Я не хожу ни с кем повидаться. Люди сами приходят повидаться со мной.

— Да знаю. Но вы, по-моему, нужны ему…

— Нет-нет. Применительно к Тео, я — пустое предположение.

— Не соглашусь. Я думаю, вы у него на особом счету.

— Есть лишь один человек, который у Тео на особом счету, и это точно не я. Скажите лучше, как там все прочие, как ваш красавец сынок?

— Ой, хорошо, что напомнили! Вы не подтянете снова Пирса по латыни на каникулах? Он страшно беспокоится насчет своей латыни.

— Конечно. Могу встречаться с ним в любой день примерно в это время.

После шести приходить к Вилли воспрещалось. Он говорил, что всегда работает в эти часы, но у Мэри оставались сомнения. Пытаясь подобрать ключ к цитадели, которой внутренне отгородился от мира Вилли Кост, она частенько размышляла о свойствах его уединения. Однажды, в порыве неудержимого любопытства, она зашла к нему без предупреждения часов в девять вечера. Света в доме не было. Вилли сидел, озаренный багряными бликами камина, и, по ее впечатлению, незадолго перед тем плакал. Он был так раздосадован и расстроен ее появлением в позднее время, что Мэри больше на такое не решалась.

— С греческим у него как будто обстоит при-

лично. Хотя за близнецами, должна сказать, ему в греческом не угнаться.

— Это да, — сказал Вилли, — у близнецов греческий — нечто erstaunlich[18].

Мэри было не по себе, когда Вилли употреблял немецкое слово или фразу. В первое лето по его приезде она уговорила его учить ее немецкому языку и несколько раз в неделю утром сидела с ним по часу. После того как выяснилось, что у нее никогда нет времени выучить то, что требуется, и сделать упражнения и что она слишком болезненно реагирует на свои промахи, Вилли тактично положил конец их занятиям. Мэри предпочитала не вспоминать об этом. На следующее лето он отдал те же часы Поле, и они вместе прочли вслух от корки до корки «Илиаду» и «Одиссею». Все это время Мэри изнывала от ревности.

— Што с фами?

— Ничего, — коротко отозвалась она, понимая, что Вилли прекрасно знает, о чем она подумала.

— Что происходит с Полой? — сказал он.

Не в первый раз, когда она расхаживала по комнате, а он наблюдал за ней, их мысли необъ-

---

[18] Примечания: 18
Поразительное *(с нем.)*.

яснимым образом пересекались в одной точке.

— А с нею что-то происходит?

— Да. Она, как мне показалось, не то обеспокоена чем-то, не то напугана.

— Просто сейчас конец триместра, — сказала Мэри. — Переутомилась, скорей всего. Она что, навещала вас?

Может быть, это Пола принесла ему две белые розы…

— Нет, встретилась мне на берегу во время моей утренней прогулки.

Летом, в самую рань, когда никто еще не вставал, Вилли имел обыкновение выйти пройтись вдоль моря.

Мэри опять задержалась у окна, где ее взыскующий палец проложил в легком налете пыли извилистый след, отчетливо различимый при ярком солнечном свете. Трескоум-хаус загораживала отсюда буковая роща, но за верхушками деревьев, уходящих вниз по склону, открывалась направо часть берега с ржавого цвета мысом, прозванным «Красная вышка»; слева, за холмистым зеленым лугом, виднелось заброшенное кладбище, зеленый купол, венчающий часовенку геометра-бога, а в сизой туманной дали тонкой чертой протянулись до черно-белого маяка пески

Мербери. Впереди же, у самого берега, что-то покачивалось на воде, и Мэри взяла бинокль, пытаясь разглядеть, что это.

— Ну и ну! — воскликнула она невольно.

— Что такое?

— Вот так бинокль!

Наведя его на резкость, Мэри увидела листья на деревьях у самого своего лица. Ей никогда не приводилось иметь дело с инструментом подобной мощности. Она повела кружок четкой видимости под уклон, затем — по усеянному камнями пляжу, подбираясь все ближе к предмету, который заметила на воде. Увидела легкую рябь у кромки берега, потом — шелковистую глянцевую поверхность тихого моря и руку, скользящую по воде. После чего в ее поле зрения появилась зеленая пластиковая лодочка, которую двойняшки в честь «Острова сокровищ» окрестили яликом. В лодке сидели Кейт и Джон Дьюкейн, оба в купальниках. По тому, как липла к телу потемневшая ткань, видно было, что люди только что купались. Они беспечно, весело смеялись, и у нее на глазах Дьюкейн положил своей спутнице руку на колено. Мэри опустила бинокль.

Она отступила от окна и стала напротив Вилли, переведя на него взгляд. Смех и веселье — не

мой удел, подумала она огорченно. Алистер был веселый человек, но Мэри не столько разделяла его веселье, сколько с удовольствием наблюдала за ним. Кейт умела веселиться сама и к тому же — рассмешить других, даже Вилли. У Полы было с Вилли нечто иное: ровные товарищеские отношения, основанные на общности интересов. А я, думала Мэри, лишь навожу на него грусть, да и он на меня — тоже.

— Што с фами, деточка?

— Вы, — сказала она. — Вы, вы, вы! Ох, до чего же я люблю вас!

Она не первый раз говорила ему это, и всегда слова бесследно исчезали, поглощенные безмерным отрицанием, встающим на их пути. Мэри хотела бы пронять его этими словами, растормошить, даже ранить — но он оставался таким же отчужденным, и даже его нежность по отношению к ней была одним из проявлений отчужденности. Что Вилли может быть равнодушен к ее чувству, ей в голову не приходило, как не приходило в голову сомневаться, что он находит ее привлекательной. Не отличаясь красотой в строгом смысле слова, Мэри питала твердую уверенность в своей способности нравиться. Нет, их удерживало на расстоянии что-то другое. Если

Тео напоминал ей человека, который бродит по земле с переломанными костями, то Вилли представлялся пришельцем из иного измерения, способным поддерживать лишь поверхностную связь с обычным миром. Что было бы еще не так уж страшно, если б это иное измерение не рисовалось ей обителью кошмара. Пытаясь придать ему конкретные черты, она пробовала вообразить себе, что значит стать жертвой подобного произвола. Сможет ли он когда-нибудь простить тех, кто его творил? Для нее самой, думала Мэри, это составило бы главную проблему. Но никаких свидетельств того, что это же составляет главную проблему для Вилли, у нее не было. Возможно, его терзали совсем другие демоны.

Она села лицом к нему, придвинув стул вплотную к его креслу. Делая это, ненароком опустила глаза и увидела в вырезе своего платья холмики груди, прильнувшие друг к дугу, словно две пичужки. Сокровище, которое ждет своего кладоискателя, мелькнуло у нее в сознании.

— Глядите, Мэри, ваша крапива подняла головки.

— Вы… Вы просто тролль, вот вы кто, — сказала она. — Что за мученье мне с вами!

Она принялась ласкать его, мягко пропуская

сквозь пальцы длинные пряди его седых волос, вороша их, покуда они не стали потрескивать и приподниматься навстречу ее руке. Потом перешла на лицо, осторожно очерчивая кончиками пальцев линию его профиля, высокий, тронутый морщинами лоб, тонкий семитский нос, канавку над верхней губой, колючий шершавый подбородок; поднялась к глазам — веки, затрепетав, сомкнулись под ее пальцами и разомкнулись снова, — нащупала косточку скулы, провела кончиком пальца по изгибу рта, ощущая поверх кости податливую плоть живого человеческого лица, трогательно ранимую, бренную. Наконец, движением, не нарушающим ритм ее прикосновений, Вилли перехватил ее руку и прижал ладонью к своей щеке. Теперь глаза его закрылись, и в этом положении они долго сидели, не двигаясь. Таков был у них акт любви.

Глава одиннадцатая

— Не опасно, вообще, говорить, что ты счастлив, как по-вашему? — сказала Кейт.

— По-моему, со стороны человека вроде вас, счастливого по определению, было бы неблагодарностью изредка в том не признаваться, — отвечал Джон Дьюкейн.

— Неблагодарностью? По отношению к *ним?* Они не ведают этики и не заслуживают благодарности. Да, я всегда счастлива, это правда. Но существуют градации. В данный момент — неимоверно счастлива, до потери сознания.

Зеленый ялик тихо скользил по гладкой поверхности моря, в котором они только что купались. Весел к ялику не полагалось, его вручную приводили в движение пассажиры. Посудинка годилась лишь для совсем безветренной погоды, при малейшей волне она легко переворачивалась.

Невдалеке на берегу двойняшки, успев выкупаться раньше, предавались своему извечному занятию — изучению камней. Дядя Тео, который недолюбливал камни, ощущая в них скрытую угрозу, заметил как-то, что близнецы напомина-

ют своим поведением людей, обреченных свыше на нескончаемый и недоступный пониманию поиск. Сам он, благополучно завершив обряд чаепития, сидел теперь на бережку рядом с одеждой, сброшенной с себя Пирсом. Мэри запрещала появляться в доме в мокрых купальниках, и дети всегда раздевались на пляже. Пирс, после довольно продолжительного купанья, словно морской зверь, прибитый к берегу, бессильно простерся по пояс в вводе на гальке, полого уходящей в море. Минго, вдоволь наплававшись с ним на пару, отряхивался, обдавая веером радужных брызг брюки Пирса и левый рукав дяди Тео. За выкрутасами пса, устроясь на зубчатых останках деревянного волнореза и распушив себя до шарообразного птичьего подобия, с недобрым желтоглазым прищуром наблюдал Монтроз. Пола с Октавианом, уже одетые, степенно прохаживались по берегу, рассуждая о политике. Поодаль расположились немногочисленные местные. День был субботний.

— Да, не мешает задуматься изредка о том, как тебе повезло, — продолжала Кейт. — Вполне могла бы родиться крестьянкой где-нибудь в Индии… — Впрочем, правду сказать, задумываться о крестьянах в Индии или о том, как ей повезло,

Кейт не удавалось, а удавалось просто чувствовать это в ласкающем натяжении кожи на ее полных ногах и плечах, подсыхающей от соленой воды под лучами солнца. — Знаете, по-моему, вас все чуть-чуть побаиваются, — прибавила Кейт, возвращаясь к чему-то, о чем вела речь раньше. — Вилли, например, и Мэри, а уж Октавиан — определенно. Отчего особенно радует то, что я — нет!

— Не поверю, что кто-нибудь меня боится, — сказал Дьюкейн, явно тем не менее польщенный.

— Мне в вашем обществе только хорошо. Причем отчасти — от ощущения полной свободы рядом с вами, когда у других оно отсутствует. Я, знаете, большая собственница!

— Удачно для нас обоих, что я хотя бы — нет, — сказал Дьюкейн.

— Милый мой! Не сердитесь! Хотя, конечно, вы не сердитесь на меня. Вам самому безумно хорошо, я это чувствую. Боже, что за блаженство на солнышке! Близнецы ждут не дождутся дождя, а по мне пускай бы вечно все оставалось, как сейчас.

Кейт находилась в том восторженном настроении, когда словоизлияние совершается

естественно, как птичье щебетанье или журчание ручья.

Лодочка, ритмично подгоняемая ленивым нажимом Дьюкейновой руки на толщу приятно неподатливой воды, сейчас почти не двигалась. Кейт и Дьюкейн заполняли собою скудное пространство внутри нее, едва ли не — и все же не совсем — соприкасаясь. Он полулежа раскинулся на тупо срезанной корме, согнув колени и свесив руки за борт. Она, слегка поджав ноги, сидела боком на носу, тоже почти не заостренном. Всего полдюйма, быть может, отделяли босую ступню Дьюкейна от ее колена, и восхитительное сознание этого не покидало их обоих, как будто в этом узеньком промежутке властно и сладостно пульсировали некие токи.

Кейт с нежным любопытством разглядывала Дьюкейна. Ей приводилось, понятно, видеть его раздетым и прежде, причем не далее как прошлым летом, но тогда он не был для нее тем первостепенной важности объектом, каким сделался теперь. Как замечательно, думала Кейт, что мы способны влюбляться в старых друзей! Одна из радостей среднего возраста. То есть нельзя сказать, что я так-таки всерьез влюбилась — хоть и похоже на любовь, но без малейшей тени

страданья. Словно бы наивысшее воплощение дружбы. Нечто, о чем мечталось в юности и что потом забылось.

Вся лихорадка любви в условиях стопроцентной безопасности. Как умилительно он худ, как белокож, а волосы на груди уже седеют. Чем нам так нравится мужское тело? В нем куда больше загадочного, больше духовного, чем в привлекательности женского. Отчего такое блаженство видеть, как выпирают косточки у него на запястье? Только пусть не подумает, что я разглядываю его критически. Он должен видеть, что им любуются. Ну вот, теперь он сам смотрит на меня точно так же. Кейт ближе подобрала под себя ноги, с удовольствием ощущая, как туго держит ее грудь мокрый купальник. В эту минуту ее любопытствующий взгляд скрестился с понимающим взглядом Дьюкейна, и оба точно по уговору рассмеялись. Дьюкейн выпростал руку из воды, подался вперед и обдуманным движением тронул Кейт за колено. Настойчивая твердость его ладони смешалась с прохладой воды, стекающей по ее теплой ноге, окончательно высохшей на солнце.

Внезапно лодочка рывком дернулась вперед. Дьюкейн поспешно отнял руку от колена Кейт.

Спереди послышался легкий всплеск. Это Пирс, подплыв незамеченным, схватился за веревку, свисающую с носа лодки, и принялся буксировать ее за собой.

Дьюкейн был раздражен и расстроен этим вторжением. Оставалось надеяться, что мальчишка ничего не заметил. Бездумная сиюминутная радость, в которой соединились и это солнце, и скольжение по воде, и милый ирландский голосок его спутницы, была испорчена. Настроение резко изменилось, ясный день застлало пеленою мрака, имя которому было Джессика. Отношения с Джессикой превращались в смертоубийство, и он не видел способа это исправить. Эмоции теперь захлестывали их с такой силой, как если бы они оставались любовниками. Он сдался, не выдержав ее воплей. И знал, что отпускает ей эту дозу обезболивающего, щадя не одну лишь ее, но в равной мере и себя. Размышляя о создавшемся положении в общем, он по-прежнему не сомневался, что должен расстаться с нею, покончить с этой историей. Но о частностях предстоящей процедуры думал не только с содроганием, но и с меньшей долей уверенности. Правильно ли это — причинять такую боль? Если б только все уже было позади, совершилось без ужасающей

надобности совершать своими руками! Нельзя же, думал он, просто взять и послать ей письмо. Тем более, что она немедленно придет, явится к нему на работу.

Вправе ли он провести хоть единую счастливую минуту с Кейт, принимать то, чем она одаряет его столь щедро, когда из-за него в это же время так страдает другой человек? Что подумала бы Кейт с этой ее фантазией, будто она ему ближе всех, знай она, во что он увяз? Что подумала бы, если на то пошло, Джессика, дознайся она о том, что сочла бы его интрижкой с Кейт? И как на фоне этого выглядит поборник справедливости Дьюкейн? Сейчас, конечно, проще всего сказать, что нечего было вообще связываться с Джессикой. До совсем еще недавних пор, однако, он был способен хотя бы видеть свой несомненный грех в истинном свете. Боль, связанная для него — и для нее, как он смел полагать, — с этим грехом, была, по крайней мере, чистой и честной. Им надлежало расстаться, и — как это ни мучительно — кончен разговор. Сейчас же прежней убежденности не было. Вытянувшись без сил на кровати рядом с Джессикой и положив ей голову на плечо, после того как он остановил ее вопли обещанием, что будет видеться с ней и дальше, Дьюкейн опять,

но иначе впал в отчаяние. Иначе — так как отчетливо увидел, сколько вреда уже нанес себе и ей, поддавшись первоначально своему увлечению.

Когда отношения с Кейт стали приобретать для Дьюкейна особое значение и он, не задумываясь еще, чем это обернется, решил порвать с Джессикой, он главной особенностью своего предполагаемого нового мира считал возможность отзываться должным образом на нужды других людей. Он ведь, в конце концов, не любил Кейт. Да, обожал ее, был рядом с ней вполне счастлив, но настоящей любви не было. Было цивилизованное достижение в зените зрелых лет. Кейт никогда не могла сделаться бременем и не была всепоглощающей страстью. Пока Дьюкейн был любовником Джессики и потом, когда пытался от нее отдалиться, он стал нечутким, черствым, недоступным. К людям, которые обращались к нему за помощью, относился рассеянно, небрежно. Ни к кому более не проявлял интереса, сосредоточась лишь на себе. И мир, который он собирался теперь создать с участием Кейт, он рисовал себе не как тет-а-тет, а вновь как многонаселенную страну, только на сей раз — счастливую. Прелесть Кейт состояла в том, что она была недосягаема, — для него это раз и

навсегда означало свободу. На сердце, слишком долго неприкаянном, станет легче рядом с нею и можно будет полнее жить в мире других людей, целиком посвящать им, став счастливей, свое внимание.

Но то был, впрочем, отдаленный пейзаж, пейзаж после Джессики. Еще вопрос, доберусь ли я туда, думал он. Может быть, следует отказаться от Кейт, по крайней мере на время? Представим — гипотетически, — что мой долг оставаться с Джессикой? При нынешнем положении вещей от меня никому нет проку. Я не способен думать ни о ком, кроме себя. Много ли пользы я принес сегодня утром Вилли? Тревога оттого, что Вилли так замкнулся в себе, что его невозможно хотя бы вызвать на разговор, с утра не покидала Дьюкейна. Уделить бы ему тогда больше внимания, размышлял Дьюкейн, и мне бы удалось наладить с ним контакт. Возможно, следовало вообще оставить Вилли в Лондоне. Здесь он, если разобраться, оказался в одиночестве. Возможно, я допустил страшную ошибку. Если Вилли покончит с собой, это будет моя вина.

Новый поворот в цепочке тягостных мыслей привел его сквозь пелену мрака к Радичи. Дьюкейн все еще не раздобыл материала, проданного

газете, и похоже, действовать предстояло, так и не получив его. Он решил, что в ближайший понедельник вечером нагрянет без предупреждения к Макрейту и действительно вытянет из этого субъекта все, что тому известно. Вопрос только, к чему сведется это «все». Дьюкейн с тоской обнаружил, что в ответ невольно напрашивается то, что Макрейт углядел в доме Радичи: «Хлысты, кинжалы — такое». Чем все же занимался Радичи с теми девицами? Дьюкейна немного отпустило, к нему вернулась способность видеть снова загорелые плечи Кейт, ее полную спину, — Кейт сидела теперь спиной к нему, глядя вперед по ходу лодки, — и он подумал, как естественно, изнывая под грузом грехов, искать исцеления, обратясь к черной магии; сам порок есть избавление от мук твоей вины, и пасть еще ниже может значить найти облегчение. Бедный Радичи.

Пирс, с веревкой, зажатой в зубах, разогнался, таща их за собой. Минго, который увязался купаться вслед за ним, тоже сопровождал лодочку, чинно выставив из воды сухую голову, нелепую рядом с гладкой мокрой головой юноши, который то показывался на поверхности, то уходил в глубину, словно дельфин в родной стихии.

— А где Барб? — крикнула ему Кейт.

— На пони своем катается, — отозвался он, выпуская и вновь хватая зубами веревку с ловкостью спаниеля.

— У нас теперь страсть кататься верхом, — сказала Кейт, оглядываясь на Дьюкейна. — Такая бесстрашная — даже слишком. Надеюсь, мы не ошиблись, что отправили ее в эту швейцарскую школу.

— С поступлением в Оксфорд у нее все будет благополучно, — сказал Дьюкейн. — Девочка она толковая, а уж французский знать должна в совершенстве.

— Ох, хорошо бы Вилли передумал насчет занятий с нею немецким.

Вилли по непонятной причине отказался помогать Барбаре с немецким языком.

Суденышко сбавило ход. Пирс выпустил веревку и плыл теперь дальше, к утесу, которым отвесно обрывалось в море восточное окончание «Красной вышки». Дьюкейн, будто избавясь от легкого бесовского наваждения, вздохнул свободней.

— Внутрь не заплывай, слышишь, Пирс? — крикнула Кейт вдогонку пловцу.

— Ладно, не буду.

— Это Ганнерова пещера, — сказала Кейт,

указывая на темную полосу у основания утеса. — Сейчас, должно быть, отлив.

— Да, вы рассказывали, — сказал Дьюкейн. — Вход обнажается только при отливе.

— На меня она жуть наводит. Я напридумывала себе, что там полно утопленников, которые проникли внутрь в поисках сокровищ, а обратно море их не выпустило.

— Поворачиваем назад, — сказал Дьюкейн, поежась.

Ритмично подгребая руками, он повел ялик по клейкой блистающей глади. Кейт подвинулась немного, и промежуток между ее и его ногой сомкнулся. Они взглянули друг на друга, испытующе, взволнованно…

Глава двенадцатая

— А почему Шекспир не написал ни одной пьесы про Мерлина? — спросила Генриетта.

— Потому что Шекспир и есть Мерлин, — отозвался дядя Тео.

— Я тоже часто задавалась этим вопросом, — сказала Пола. — Почему он ни разу не использовал легенды про короля Артура?

— Я, кажется, знаю, — сказала Мэри.

Все умолкли. Мэри замялась. Она была уверена, что знает, но это вдруг оказалось очень трудно изложить словами.

— Почему же? — спросил ее Джон Дьюкейн с ободряющей улыбкой.

— Шекспир знал, что область магии… Что это опасный предмет, и отношения такого рода — отчасти за гранью реального мира — это просто не для него. Там совершенно особый, специфический дух, который никак ему не подходил…

Мэри осеклась. Это было не совсем то, но она в самом деле *знала.* Мир Шекспира был чем-то иным, чем-то большим.

— Думаю, я вас понимаю, — сказал Дьюкейн, —

абсолютно.

Он снова улыбнулся.

Разговор после этого опять рассыпался на отдельные крупицы, каждый вернулся к болтовне со своим соседом. Воскресный ланч происходил — уже практически завершался — за круглым столом в холле. Вокруг стола сновала Кейси, убирая тарелки, рассуждая вслух сама с собой, как обычно, когда прислуживала за трапезой, наведываясь на кухню, сквозь открытую дверь которой видно было, как Монтроз, в своем продолговатом, а не шарообразном воплощении, вальяжно расположился в плетенке, а рядом, с явными признаками беспокойства, стоит Минго. Пес время от времени предпринимал попытку залезть в плетенку одной лапой, но тут же опасливо отдергивал ее назад. Монтроз, с позиции безмятежного превосходства, и ухом не вел.

— Вот в России — правильное отношение к женщинам, — рассуждала Кейси, принимая со стола тарелки для пудинга. — Я в России могла бы стать машинистом на железной дороге.

— Но вы же не хотите правда стать машинистом? — сказала Мэри.

— В России женщина — действительно человек. Здесь — просто грязь под ногами. Последнее

дело быть женщиной.

— Быть *вами,* допускаю, — последнее, но…

— Ах, да уймитесь вы, Тео!

— А по-моему, чудесно быть женщиной, — сказала Кейт. — Ни за что бы ни с кем не поменялась.

— Слава Богу, прямо камень с души свалился! — сказал Дьюкейн.

— Я уж скорее стала бы машинистом, — ни с того, ни с сего объявила Мэри.

Кейси удалилась на кухню.

Определенного правила, кому где сидеть во время воскресного ланча, не было. Все приходили и рассаживались как попало. В тот день, к примеру, порядок был таков. Мэри сидела рядом с дядей Тео, тот — рядом с Эдвардом, Эдвард — рядом с Пирсом, который сидел рядом с Кейт, Кейт — рядом с Генриеттой, дальше сидел Октавиан, за ним — Пола, рядом с Полой — Барбара, за Барбарой — Дьюкейн и, наконец, за ним — Мэри.

Эдвард сейчас делился с дядей Тео сведениями о птицах, обитающих в джунглях вдоль Амазонки и прозванных «проводниками», — о том, как ловко пристроились эти птицы к медведям и прочему лесному населению: показывают им дорогу к гнездам диких пчел; медведь вскрывает гнездо,

добираясь до меда, и птицам тоже перепадает от его добычи. Генриетта меж тем объясняла Кейт, что в пространстве-времени есть замкнутые системы и пустоты, — соответственно, хоть на космическом корабле ты и достигнешь центра галактики за каких-нибудь пятьдесят лет, но здесь, к тому времени как вернешься назад, пройдут тысячелетия. («Вот это мне как-то не совсем понятно», — сказала Кейт.) Октавиан, занятый до того обсуждением с Полой видов на реформы в профсоюзном движении, участливо осведомился у собеседницы, хорошо ли она себя чувствует, поскольку за ланчем практически ничего не ела. Дьюкейн и Барбара игриво переговаривались по-французски, которым Дьюкейн владел превосходно, чем не пропускал случая прихвастнуть.

Мэри, которая не раз во время ланча вставала из-за стола, помогая Кейси, очутилась, как часто бывало, в разговорном вакууме. Она любила эти минуты, оглядывая застолье, щебечущее вокруг, с материнским ощущением собственницы. Кейси подала фрукты и сыр. Октавиан потянулся к графину с кларетом. Вино пили все, кроме двойняшек, которым предназначался «Тайзер»[19], и

[19] Примечания: 19
Газированный фруктовый напиток.

Полы, которая предпочитала пить воду. Мэри бросилось в глаза лицо сына по ту сторону стола.

Пирс, сидящий между Эдвардом и Кейт, оказался, как и она, без собеседника. С пожирающим вниманием он наблюдал, как любезничают Барбара и Джон Дьюкейн. Надеюсь, это никому больше не заметно, пронеслось в голове у Мэри. Он еле сдерживается, он на себя не похож. Боже, подумала она, сейчас что-то произойдет.

— Quand est ce que tu vas me donner ce petit concert de Mozart?

— Jamais, puisque tu ne le mérites pas!

— Et pourquoi ce, petite égoiste?

— Tu n'y comprends rien à la musique, toi.

— Tu seras docile?

— Mais oui, mon oiseau!

— Et qu'est ce que tu vas me donner en retour?

— Dix baisers.

— C'est pas assez.

— Mille baisers alors![20]

Пирс рывком встал, с шумом отодвинув стул по мощенному плитами полу. Стул с грохотом опрокинулся. Пирс направился к парадной двери и вышел, громко хлопнув ею. Наступила неловкая тишина.

— Ничего себе манеры в элитарных школах! — фыркнула Кейси.

Мэри хотела было подняться, но дядя Тео с одной стороны и Джон Дьюкейн с другой удержали ее. Она села назад. Дядя Тео вновь повернулся к Эдварду:

— Да, так что ты хотел рассказать о дельфинах?

Кейт начала:

— Мэри, ты не волнуйся, дружочек…

Оставаться было невмоготу. Мэри незаметно отлучилась на кухню и оттуда вышла в сад.

---

[20] Примечания: 20

— Так когда ты дашь для меня этот самый концерт из Моцарта?
— Никогда, ты этого не заслуживаешь!
— Это почему же, эгоисточка?
— Ты ничего не понимаешь в музыке.
— А ты меня научи.
— Ты будешь послушным учеником?
— Ну да, моя птичка!
— А что ты мне дашь за это?
— Десять поцелуев.
— Недостаточно.
— Тогда — тысячу поцелуев! *(франц.)*

Сад затих под давящим зноем, кукушка — и та умолкла под напором полуденной жары. Мэри двинулась по галечной дорожке, проводя мимоходом ладонью по пышным кустам вероники. От кустов неслышно струились горячие волны. Мэри вышла за ворота. Она не собиралась идти на поиски Пирса, зная, что в тот же миг, как за ним захлопнулась парадная дверь, он пустился бежать и теперь уже на полпути к кладбищу. Там, даже если б она и последовала за ним, он мог зарыться в плющ и лежать незамеченным. В любом случае ей нечего было сказать сыну, да она уже и не думала о нем. Его душевные муки растравили душу и ей самой — это внезапный груз собственных глухих и смутных терзаний не дал ей усидеть за общим столом.

Совершеннейшей дурью маюсь, думала Мэри, и чем дальше, тем больше. Такое простительно разве что в восемнадцать лет. Нельзя поддаваться этим приливам необъяснимой жалости к своей персоне. И ладно бы еще была конкретная причина. Так ведь нет же…

По глубокому желобу проселка, сквозь аромат разогретого мха, она дошла до рощицы и села на ствол поваленного бука, разворошив себе в увядшей листве место, куда поставить ноги.

Возможно, мне нужны каникулы, думала она, обыкновенная передышка. Иногда ощущаешь себя в таком замкнутом пространстве среди всех этих людей, причем у каждого из них есть что-то свое, и лишь у тебя одной — ничего. Обязательно надо попробовать найти себе настоящую работу. Правда, здесь я, пожалуй, нужна, детям — определенно нужна. Но как двойняшки подрастут, пойду на учительские курсы и заживу совсем другой жизнью.

И это все, на что мне остается уповать, чем утешать себя, думала она? Еще несколько лет домоправительницей в чужом доме, а дальше — место школьной учительницы? А если мне этого мало, если я несравненно дальше захожу в своих желаниях? Любви хочу я, всей роскоши, всего неистовства любви, хочу сейчас же, хочу, чтобы и мне принадлежал кто-нибудь! Ах, Вилли, Вилли, Вилли…

Чья-то тень шевельнулась в рассеянном свете. Мэри подняла голову. Это был Джон Дьюкейн. Она в замешательстве встала.

Мэри прекрасно относилась к Дьюкейну, ценила его достоинства, но, как справедливо заметила Кейт, слегка побаивалась его.

— А, Джон…

— Сидите, Мэри, прошу вас. Извините, что пошел следом за вами.

Она опустилась на прежнее место; он сел рядом, пристроясь боком на стволе, чтобы лучше ее видеть.

— Мэри, я так виноват, — чувствую, все это разыгралось из-за меня. Я вел себя глупо и необдуманно. Надеюсь, вы не очень огорчены.

Огорчена… Да я вне себя, думала Мэри. Я изнемогаю, я в отчаянии! Но отвечала она:

— Нет-нет, не беспокойтесь. Боюсь, что Пирс поступил безобразно. Будем надеяться, Барбара не слишком обиделась.

— Нет, она к этому отнеслась вполне разумно, — сказал Дьюкейн. — Жалко, я не сумел разглядеть, как… мм… серьезно обстоят дела. Буду впредь тактичнее. Вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Молодым полагается страдать, мы не в силах избавить их от этого…

При чем тут их страдания, думала Мэри.

— Да, — сказала она. — У них болячки заживают быстро, это правда.

Какая мука, вдруг подумалось ей, сидеть здесь, поддерживать банальный разговор, когда мне так тяжело и горько, что сердце разрывается! И что, с этим ничего нельзя поделать?.. Делать,

по-видимому, оставалось лишь одно, к чему она безотлагательно и приступила. А именно — разразилась рыданиями.

— Боги великие! — воскликнул Джон Дьюкейн.

Он вытащил большой чистый носовой платок, развернул его и протянул Мэри, которая тотчас уткнулась в него лицом.

Минуты через две, когда слезы немного унялись и Мэри начала сморкаться в платок, он осторожно тронул ее за плечо — не затем, чтобы погладить, а, скорее, словно бы напоминая о своем присутствии.

— Это вы из-за Пирса?

— Нет, нет, — сказала Мэри. — Пирс меня всерьез не тревожит. Дело во мне.

— А что? Расскажите.

— Это я из-за Вилли.

— С Вилли что-нибудь не так? Вы опасаетесь, как бы он?..

— Нет. Я никогда не думала, что Вилли может покончить с собой. Просто… Ну, я, наверное, люблю его.

Сказанные вслух, слова прозвучали странно для нее самой. В волнующей ее невнятной нежности отсутствовала та жесткая определенность, с которой ей заявляла о себе любовь в других слу-

чаях. И все же она все более властно овладевала ее сознанием, являясь, по-видимому, скрытой причиной нежданных приступов тоски и боли.

Дьюкейн принял новость вдумчиво и серьезно, как если б Мэри была клиенткой, излагающей ему суть своей проблемы.

— Могу лишь порадоваться, — сказал он, помолчав, — так как для Вилли это несомненное благо. А он что? Он хоть знает?

— Да знает. А что чувствует… Вы его знаете не хуже моего. Как обнаружить, что он чувствует?

— Я думал, может быть, он с вами… совсем другой?

— Нет, вовсе нет. Мы как-то приноровились друг к другу, но это, по-моему, оттого, что я выставляю напоказ свои чувства. Он ласков со мною, замкнут — и пассивен, абсолютно пассивен.

— Он ничего вам не рассказывал о том, где побывал?

— Он вообще ничего не рассказывал о себе.

— Вы сейчас к нему?

— Нет. Сегодня велел не приходить. Вы же его знаете.

— Знаю, — сказал Дьюкейн, — и согласен, что он не самый удобный объект для любви. Тут надо очень подумать.

В рощице, где они сидели бок о бок, царила тишина; Мэри старательно вытирала платком лицо, Дьюкейн, наклонясь вперед и сосредоточенно нахмурясь, растирал пальцами в труху сухой буковый листок. Пара бабочек-капустниц, кружась, запорхала перед ними. Мэри протянула к ним руку.

— Извините, что втравила вас во все это, — заговорила она. — Нельзя перекладывать свой груз на чужие плечи. Со мной все в порядке, ничего страшного. Не девочка, в конце концов. Пройдет, уляжется.

Вот именно, думала она. Уляжется, войдет в наезженную колею унылого однообразия и скуки. И между тем она знала, что не трагическое острие страсти жалит ее сейчас, что ее взбудораженные нервы — проявление неудовлетворенной женской натуры. Постылая скука уже настигла ее, отсюда и это взвинченное состояние, и слезы. При этой мысли отчаяние подступило к ней снова, опять защипало в глазах.

В эту минуту она увидела, что Дьюкейн встал и стоит перед ней, пристально глядя на нее своими круглыми, вечно удивленными голубыми глазами.

— Знаете, Мэри, к какой мысли я пришел? —

сказал он взволнованно. — Что вам нужно выйти за Вилли замуж!

— Замуж? — тупо переспросила она. — Но я же сказала, как он ведет себя по отношению ко мне.

— Значит, это надо переломить. Хватило бы только воли — а так, я уверен. Вы позволяете ему заражать вас пассивностью, подстраиваетесь под его настроение.

Подстраивается, это правда.

— Вы в самом деле считаете, что я могла бы?..

— Вы должны попытаться, попытаться изо всех сил. Вы чересчур тушуетесь перед ним. Часто полезнее бывает обращаться с человеком как с равным, а не как с высшим существом! В любящей женщине — но лишь действительно наделенной волей — заключена громадная духовная мощь. Вы представления не имеется, какой властью обладаете над нами! Я давно знаю, что в случае с Вилли добиться чего-то способны вы одна. Просто не до конца понимал, что вам придется воевать с ним при этом, поражать его, будоражить, — даже причинять ему боль. Мэри, вы обязаны попытаться! Я считаю, — выходите за Вилли замуж и срочно забирайте его отсюда.

В силах ли я, спросила себя Мэри. С первого дня она беспрекословно подчинялась Вилли. И

нарочитая «демонстрация чувств» ничего в этом смысле не изменила. Несмотря ни на какие свои жесты, она, по существу, перечеркивала себя в его присутствии, главное было — не трогать его, оставлять в покое. Теперь ей показалось, что это было совершенно неправильно, что эта тактика как раз и разрешилась для них обоих необоримой подавленностью, которую она воспринимала как способ его самозащиты от нее.

— Говорите себе, — сказал Дьюкейн, — что нет ничего невозможного!

Да, думала Мэри, выйти замуж и увезти Вилли отсюда!.. Такое счастье несла с собою мысль об этом, что она поднялась на ноги легко и непроизвольно, словно два ангела поддерживали ее под локотки кончиками пальцев.

— Попробую, — сказала она. — Я попытаюсь.

— Ты, говорят, сегодня возмутительно вел себя за ланчем.

— Кто это вам сказал?

— Двойняшки.

— Ну и что?

— Да ничего. Что ж, поглядим, как у тебя с латинской прозой.

— Вилли… вы извините — мне так плохо…

— Барбара?

— Да.

— А что она?

— Я ее раздражаю, и только.

— Мне тебя нечем утешить, Пирс. Придется страдать. Но постарайся запереть страдание в себе. Подави его, как Одиссей, в своем сердце.

— А правда, что, когда любишь в первый раз, это тяжелей всего?

— Нет.

— Господи! Придется мне, думаю, отсюда уехать, Вилли. Если б она еще не играла на этой проклятой флейте! Пытка какая-то!

— Да, флейта — это мучительно, могу тебя понять.

— Ничего, если я похожу по комнате? Такая адская боль, вы не представляете, — не отпускает ни на секунду.

— Да нет, в общих чертах — представляю.

— Вы сами, Вилли, в кого влюбились первый раз?

— В девушку, друг мой, в девушку…

— Какая она была?

— О, это дело прошлое.

— А хорошо, наверное, выйти уже из того возраста, когда влюбляются…

— Подобно Кефалу из первой книги «Республ-

лики»[21].

— Ну да. Я раньше не понимал, в чем там смысл. Завидую вам. Переменится она, как вы считаете?

— Ты, главное, не позволяй себе надеяться.

— Лекарства не существует от этого?

— Искусство, разве что. Или — полюбить еще сильнее.

— Если еще сильнее, я умру.

— Умрешь и возродишься к новой жизни, Пирс.

— Нет, просто умру. Ну вот, разбилось яичко, из тех, что натащили близнецы. Я схожу вымою руки.

Отчего это раздавленное яичко, обломки крапчатой голубенькой скорлупы и ярко-желтые следы содержимого, которые он смывал с кончиков пальцев, так неистово обращали его мыслями к Барбаре? «Имя мне — смерть посреди жизни, и жизнь среди смерти». Любовь, не знающая меры, должна бы, по-настоящему, быть силой во имя жизни, навязывать миру порядок и красоту. Сердце разрывается, когда любовь так огромна — и ничего не может. Не жизни способствует любовь, она пособница смерти, она подталкивает к

---

[21] Примечания: 21

Речь идет о сочинении Платона, более известном под названием «Государство».

гулким и гибельным морским пещерам. Или — к бессмыслице вроде разбитого птичьего яичка, чьи останки сейчас смывает прочь вода из крана. Так и Господь возьмет в один прекрасный день, да и раздавит вселенную, как скорлупку, и смоет прочь могучим равнодушным потопом вместе с напрасным и бессильным скопищем ее любви.

— Простите, Вилли. Теперь давайте поглядим на мою прозу.

— Я передумал. Взгляну на твою прозу завтра. А нынче почитаем любовные стихи. Будешь читать мне вслух, и мы поплачем вместе. Вот отсюда:

«Vivamus, mea Lesbia, ataue amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis,
soles occidere et redire possunt:
nobis cum semcl occidit brevis lux,

nox est perpetua una dormienda…»[22]

[22] Примечания: 22

Катулл, «Книга стихов», 5:

«Будем, Лесбиа, жить, любя друг друга.
Пусть ворчат старики — за весь их ропот
Мы одной не дадим монетки медной.
Пусть заходят и вновь восходят солнца —
Помни: только лишь день погаснет краткий,
Бесконечную ночь нам спать придется».

(Пер. В.Ширвинского.)

Глава тринадцатая

В облаке пыли, в парах бензина сгущался тягостно долгий летний вечер, усталость человеческой массы, возвращающейся с работы, расползалась по Ноттинг-Хиллу, подобно ядовитому газу. Неумолчный уличный гул уплотнял собой освещение, искажая фасады домов и людские лица. Весь район пульсировал, подрагивал, смещался, как если б нечто чужое и очень скверное по тупичкам, градостроительным огрехам, по кособоким закоулкам пробивалось в обычный мир.

Дьюкейн шагал, сверяясь с маленькой картой, которую начертил себе в блокноте, отправляясь на поиски дома, где обитал Питер Макрейт. Перспектива явиться к Макрейту нежданно-негаданно несколько тяготила Дьюкейна. Он не любил хватать за горло, брать нахрапом, а то, что требовалось применить в данном случае, был умышленный, рассчитанный нахрап. Досадно было бы, кроме того, если б нахрап не дал результатов. Уж если использовать силовой прием, так по крайней мере быстро, умело и с полной отдачей. К несчастью, он слишком мало знал о

своей жертве, чтобы избрать наиболее действенный способ нажима, а утратив преимущество внезапности, мог столкнуться с тем, что Макрейт вообще откажется говорить, начнет настаивать на своих правах, а то и выкинет какую-нибудь пакость.

Усугубляло ситуацию то злосчастное обстоятельство, что его расследование покамест не принесло никаких плодов. Премьер-министр требовал отчета о состоянии дел на текущий момент, и Октавиан, которому нечем было ответить, начинал нервничать. Газета все еще продолжала придерживать материал. Разведка, предпринятая Джорджем Дройзеном на Флит-стрит, не увенчалась ничем, выследить Елену Прекрасную оказалось невозможно. Дьюкейн обследовал служебный кабинет Радичи, но ничего интересного не обнаружил. Обещанная же санкция на обыск его дома и знакомство с банковским счетом задерживалась из-за какой-то формальности. Дьюкейн мог бы резонно посетовать, что раз его расследование не имеет никакого статуса, то и неудивительно, если оно не дает результатов. Это, однако, были те условия, на которых он взялся исполнять задание, да и потом, ему отнюдь не улыбалось признать свое поражение и подвести

Октавиана. Единственной «ниточкой» в наличии по-прежнему оставался Макрейт, и, кажется, все зависело от того, что еще удастся вытянуть из него под нажимом. От этой мысли Дьюкейну, когда он сворачивал на улицу, где жил Макрейт, сделалось еще муторней.

По шумной узкой улице тянулись сплошь однообразные обшарпанные дома, в которых изредка помещались то газетный киоск, то продуктовая лавка. Входные двери большей частью стояли нараспашку; жильцы, по преимуществу цветные, либо толклись снаружи, либо высовывались из окон. Немногие из домов могли похвастаться номером, и все же, начав отсчет от одного из таких немногих, Дьюкейн сумел вычислить открытый подъезд, в котором, среди многочисленных фамилий рядом с набором разнокалиберных звонков, виднелась фамилия Макрейт. Помедлив нажимать на кнопку, Дьюкейн заметил, что у него учащенно бьется сердце. Как перед любовным свиданием, хмуро подумал он. И тотчас в мозгу его большой черной птицей пронеслась мысль о Джессике. Свидание с Джессикой предстояло ему назавтра.

— Звонки не работают, — сообщила, спускаясь с лестницы, некая фигура. — Вам кого?

— Макрейта.

— Четвертый этаж.

Дьюкейн стал подниматься по лестнице, темной и пропахшей кошками. Неудивительно — сопровождать его, откуда ни возьмись, явились целых три; едва различимые во тьме, кошки бесшумно шмыгали наверх между его лодыжками и перилами, поджидали его на площадке и снова шмыгали наверх. На четвертом этаже была единственная дверь, покрытая свежей краской и снабженная американским замком. Дьюкейн позвонил и услышал, что звонок работает.

— Кто там? — спросил изнутри женский голос.

Из сведений, полученных в министерстве, не следовало, что Макрейт женат, — Дьюкейн полагал, что он холост.

— Я хотел бы видеть мистера Макрейта, — сказал он.

— Одну минуту. — За дверью послышалось движение, потом она приотворилась пальца на два. — Крыс этих не впускайте, ради Бога!

— Крыс?

— Это я их так называю. Кошки, крысы — какая разница? Я открою, а вы давайте пулей сюда, иначе они явятся тоже, ну — живо!

Дверь открылась, и Дьюкейн поспешно вошел;

кошки — не успели.

Особа, которая открыла ему, оказалась женщиной высокого роста, очень смуглокожей — настолько, что он в первые минуты принял ее за индианку, — одетой в белый халат и с головой, обвязанной полотенцем. Может быть, этот белый тюрбан и навел его на мысль об Индии. Было в женщине что-то поразительное, хотя что именно, Дьюкейн на первых порах не разобрал. В сумеречной от приспущенных штор, мглистой комнате предметы теряли четкость очертаний.

— Терпеть не могу кошек, — оголодали, таскают все подряд, царапаются, — в детстве, как моя мать рассказывала, ко мне в коляску прыгнула кошка, уселась прямо на лицо, и мне с тех пор, если в комнате кошка, трудно дышать, — занятно, правда? Вы сами насчет кошек не очень?

— Нет, я — нормально, — сказал Дьюкейн. — Простите, что побеспокоил вас, но я ищу мистера Макрейта.

— Вы, часом, не из полиции?

Вопрос заставил Дьюкейна насторожиться.

— Нет. А что, мистер Макрейт ждет, что к нему придут из полиции?

— Не знаю, чего он ждет. Я лично жду, что придет полиция, что атомная бомба свалится на

голову. В вас что-то есть от ловчего.

— И все же я не полицейский, — сказал Дьюкейн.

Хотя немногим лучше, пристыженно прибавил он про себя.

— Макрейта сейчас нет. Но он скоро будет. Хотите, можете обождать.

Дьюкейн с удивлением отметил, что тягостное возбуждение бесследно покинуло его, сменившись спокойным щекочущим любопытством. Скованность исчезла. Он допускал, что отчасти напоминает ловчего, но его это не волновало. Он стал присматриваться к тому, что было поблизости, начиная с женщины, стоящей перед ним.

Высокая, в белом, с тюрбаном на голове и никакая не индианка. Да, кожа довольно смуглая, и прядки волос, выбивающиеся из-под полотенца, — почти что смоляные, зато глаза — пронзительно синие, густой, насыщенной синевы, точно Северное море в безоблачный ясный день. Дьюкейн отнес бы ее к кельтскому типу. Стоя перед ним с небрежным достоинством, свесив руки по бокам, она отвечала ему безмятежным, чуть отрешенным взглядом — так жрица с высоты нескончаемых каменных ступеней взирает на далекую вереницу паломников, что тянется к ее

таинственной святыне.

Смущенный этой воображаемой картиной, Дьюкейн отвел глаза. Не слишком вежливо было разглядывать ее так откровенно и, как оказалось, так долго.

— Не говорите мне, кто вы такой, дайте-ка, я угадаю.

— Я просто из… — торопливо начал Дьюкейн.

— А, неважно! Но на случай, если вам интересно, кто я такая, я — Джуди Макрейт, мисис Макрейт, иначе говоря, — не путать, естественно, с миссис Макрейт-старшей, та десять лет как померла, мымра старая. Я — жена Макрейта, как это ни прискорбно, да и вряд ли меня можно принять за его мамашу, правильно, хоть я уже и не та, какой была, когда победила на конкурсе красоты в Риле. Победила, представьте, что вы так уставились? Могу показать фотографию. Вы женаты?

— Нет.

— Я так и думала, что не женаты, — у холостых более свежий, не подержанный вид. И не педик?

— Нет.

— А то вы мне расскажете! Это мамочки делают их такими, стервы паршивые. Может, присядете, денег с вас за это не возьму? Винца не выпьете

красненького, — отрава страшная, но все же спиртное как-никак.

Дьюкейн сел на диван, накрытый тонким цветастым покрывалом, заткнутым за спинку сиденья. В комнате, заставленной вещами, было душно и пахло косметикой. Вторая, полуоткрытая дверь вела куда-то в темноту. Обстановку, помимо дивана, составляли коротконогие приземистые стулья и отлакированные до жаркого блеска журнальные столики в современном стиле, придвинутые ближе к телевизору, стоящему в углу. На столиках теснились безделушки, покрытые легким налетом пыли: вазочки, затейливые пепельницы, фарфоровые зверюшки. На одном стуле лежала дорогая, судя по виду, фотокамера. Кокетливая белая комбинация распласталась по линолеуму, уходящему в темноту дверного проема. Помещение чем-то напоминало магазин или приемную врача, носило отпечаток чего-то неустойчивого, временного, к чему не лежит душа, рождало ощущение скуки — возможно, скуки, передающейся от миссис Макрейт.

— Я перед вашим приходом не знала, куда деваться от скуки! — сказала миссис Макрейт. — Что за тоска — сидеть и ждать…

Чего, интересно, она ждет, подумал Дьюкейн.

Почему-то ясно было, что ждет не мужа.

— Нет, спасибо, — сказал он в ответ на протянутый ему бокал вина.

Он заметил, что она держит что-то и в другой руке; оказалось — ручное зеркальце.

— Нос воротите, м-м? Я Макрейту законная жена, было бы вам известно, — может, желаете взглянуть на паспорт? Или боитесь, как бы не опоила вас приворотным зельем? Я — не колдунья, обыкновенный человек, как вы! Может быть, просто не любите валлийцев? Вы не поверите, сколько народу их не любит! «Тоффи был валлиец, был Тоффи плут и вор»[23], и так далее — и ведь, представьте, верят! Я-то валлийка австралийского розлива, вернее, родители — австралийские валлийцы, но потом вернулись назад, так что я родилась уже в Риле, там и заняла первое место на конкурсе красоты. Манекенщицей могла бы стать. А вы сами англичанин?

— Шотландец.

— Подумать, так же как Макрейт, хотя какое там, он — лондонский шакал, родился в Кройдене[24]. Меня, кстати, звать Джуди. Ой,

---

[23] Примечания: 23
Строки детской считалочки из сборника «Стихи матушки Гусыни».

[24] Примечания: 24
Район в южной части Лондона.

извиняюсь, я уже говорила! Простите, я только схожу переоденусь.

Миссис Макрейт скрылась в соседней комнате, подхватив по дороге с пола распластанную на нем комбинацию. Минуты не прошло, как она появилась снова — в зеленом, очень коротком бумажном платье, проводя щеткой по своим смоляным волосам. Волосы, очень густые и жесткие, ложились ей на шею однородной, плотной массой, загибаясь вверх на концах и придавая нечто египетское ее облику.

Дьюкейн встал. До него теперь дошло, что поразительного было в миссис Макрейт — что она просто очень красивая женщина. Он сказал:

— Можно, я все же передумаю насчет вина?

— Решили поддержать компанию? Боже, какое пойло! За ваше здоровье! Да вы садитесь! Я тоже присяду рядышком. Вот так. Ничего, если я буду причесываться? Нет, сочувствую вам, но смотреть не на что, на мне колготки.

Миссис Макрейт, подсев к Дьюкейну, лихо закинула ногу на ногу. Дьюкейн пригубил вина. Если она и впрямь задумала опоить его приворотным зельем, он сейчас не имел бы ничего против. В комнате потянуло спиртным — очень может быть, что от миссис Макрейт. Дьюкейн

догадался, что она слегка навеселе. Он скосил глаза в ее сторону.

Зеленое, низко вырезанное платье открывало затененную ложбинку округлой белой груди, послушно заправленной в лиф. Лицо миссис Макрейт, без видимых следов косметики, показалось ему теперь бледнее, матово-сливочное под ровным коричневым загаром. Жесткие черные волосы потрескивали и поднимались навстречу мерным взмахам щетки. Смуглая Леди, подумал Дьюкейн. Цирцея.

Темно-синие холодные глаза встретили его все тем же отрешенным безмятежным взглядом. Не переставая проводить щеткой по волосам, миссис Макрейт протянула левую руку за своим бокалом.

— Бип-бип!

Она легонько чокнулась с Дьюкейном и с оттяжечкой гибким движением погладила его по ребру ладони тыльной стороной руки. Взмахи щетки прекратились.

Соприкосновение руки миссис Макрейт с его рукой затягивалось. В точке этого соприкосновения кожу сильно жгло и одновременно тело Дьюкейна до самой сердцевины прошило длинное острие тепла. Он не отнял руку.

Щетка упала на пол. Правая рука миссис Макрейт забрала оба бокала и, держа их за края, поставила на ближайший столик. Левая обвилась змеей вокруг его руки; пальцы, сжимаясь все туже, медленно поползли по его ладони.

Дьюкейн не отрываясь глядел в синие, очень сонные теперь глаза. Постепенно клонясь вперед, миссис Макрейт осторожно приложилась губами к его губам. Так прошли секунды. Потом, обхватив его за плечи, она порывисто припала к нему, раздвигая его губы. Дьюкейн ощутил ее зубы, ее язык. Еще мгновение — и он отпрянул назад и встал. Миссис Макрейт, которую он отпихнул от себя вставая, осталась сидеть в прежней позе, с воздетыми руками. Глаза цвета Северного моря, насмешливо сощурясь, глядели сейчас хищно и осмысленно.

— Вы мне нравитесь, Сладкин… мистер Сладкин, — правда нравитесь, — вкрадчиво сказала она.

Дьюкейн потом много размышлял о своем поведении в тот раз и не находил себе оправдания за то, что позорнейшим образом пустил события на самотек. В те минуты, однако, он, в основном, не чувствовал ничего, кроме острого и безрассудного физического упоения — упоения, связанного

с каждой подробностью происшедшего, как если бы все их телодвижения с того момента, как соприкоснулись их руки, сплелись узором, радостно пульсирующим внутри его нервной системы. Его распирало от шального удовольствия, словно ему нежданно-негаданно накинули на шею непомерно пышную цветочную гирлянду. Вместе с тем он испытывал настоятельную потребность объясниться с миссис Макрейт начистоту и выложить ей всю правду.

— Миссис Макрейт, — начал он скороговоркой, — я действительно не служу в полиции, однако я представляю министерство, в котором работает ваш муж. Боюсь, у вашего мужа возникли сложности, и я пришел задать ему кой-какие не слишком приятные вопросы.

— Как вас зовут? — спросила Джуди Макрейт, вновь принимая естественное положение.

— Джон Дьюкейн.

— Вы симпатичный.

Дьюкейн с опаской присел на один из журнальных столиков, предусмотрительно сдвинув в сторону семейство фарфоровых свинок, расписанных трилистниками.

— Боюсь, что дело, пожалуй, обстоит серьезно…

— Очень симпатичный. Известно вам это? Выпейте еще винца. Что вы хотите услышать от Макрейта? Возможно, я могу сказать?

Дьюкейн торопливо соображал. Стоит ли? Профессиональный расчет, подкрепленный, возможно, естественным чувством вины, крепнущим понемногу в его размягченных упоением нервах, подсказывал — да. Придав своему лицу надлежащую строгость для острастки собеседницы, он проговорил:

— Миссис Макрейт, ваш муж шантажировал мистера Радичи.

В глазах Джуди Макрейт не оставалось ничего от взора жрицы. Она смотрела на Дьюкейна цепко, но доверчиво. Так смотрят на старого друга, который принес дурные вести. Помедлив, она сказала:

— Он, видимо, потеряет работу?

— Сколько Радичи платил ему за молчание? — спросил Дьюкейн.

Он удерживал ее холодным, почти циничным взглядом, а между тем, как казалось ему впоследствии, по накалу страсти эти вопросы и ответы не уступали шквалу эмоций, что только что предшествовал им.

— Не знаю. Немного. Питер не из таких, кто

мыслит по-крупному. С детства пробавлялся тем, чем пичкают газеты.

Дьюкейн тяжело вздохнул и снова встал.

Пока он мысленно формулировал следующий вопрос, на лестнице послышались шаги. Оба как по команде повернулись друг к другу. Она сказала, понизив голос:

— Ну вот, пришел. Мы еще вами встретимся, мистер Сладкин, обязательно.

Дверь отворилась, и вошел Макрейт.

Первоначальный план Дьюкейна застать Макрейта врасплох сработал безотказно. Макрейт застыл на пороге точно вкопанный, разинув свой пунцовый рот и тараща на Дьюкейна глаза. Потом вороватая тень тревоги смяла его черты, и он неуклюжим и неистовым движением подался в сторону жены.

— Добрый вечер, Макрейт, — безмятежно уронил Дьюкейн.

Сейчас он был собран и хладнокровен.

— Ладно, я пошла в паб, — сказала Джуди Макрейт.

Она взяла с дивана сумочку и направилась к двери.

Так как Макрейт, опять уставясь на Дьюкейна, не тронулся с места, она оттолкнула его с дороги.

Он шумно захлопнул за нею дверь пинком ноги.

— Извините за непрошеный визит, — сказал Дьюкейн. — Как выяснилось, у меня остались к вам вопросы.

— Ну?

В атмосфере нарастало опасное ощущение равенства. Макрейт еще таил в себе неизрасходованную ярость, предназначавшуюся его жене. Надо брать его наскоком, мелькнуло в сознании Дьюкейна. Он произнес:

— Макрейт, вы шантажировали Радичи.

— Это жена вам сказала?

— Нет. Это явствует из бумаг, обнаруженных у Радичи. За шантаж, как вам известно, полагается весьма суровая кара.

— Не было никакого шантажа.

Макрейт прислонился спиной к двери.

— Ну, скажем так — Радичи положил вам вознаграждение за то, что вы держали язык за зубами. Откровенно говоря, Макрейт, вы для меня не представляете интереса, и, если сейчас изложите мне всю правду от и до, я постараюсь избавить вас от наказания. Если нет, вами займется правосудие.

— Не понимаю, — сказал Макрейт. — Я ничего худого не делал.

— Полно, полно! Мы доподлинно знаем, что вы вымогали у Радичи деньги. Вам, очевидно, не приходило в голову задаться вопросом, не вы ли отчасти повинны в его кончине?

— Я? — Макрейт шагнул вперед и ухватился за спинку дивана. Он успел собраться с мыслями и, раздувая щеки, напустил на себя вид незаслуженно оскорбленной добродетели. — Со мной он горя не знал! Я не причинял ему беспокойства. Он мне нравился! Мы ладили между собой!

— К сожалению, я вам не верю, — сказал Дьюкейн. — А теперь я вот что хочу знать…

— Никакой это был не шантаж, — сказал Макрейт, — и вам это не доказать. Если мистер Радичи давал мне деньги, так за то, что я делал! Насчет меня он нисколько не тревожился, не могло это случиться из-за меня, хотите — спросите мистера Биранна, он скажет, как и что там было, на квартире у мистера Радичи. Никогда я мистеру Радичи ничем не угрожал, вы не докажете, что это был шантаж, то есть никакого шантажа и не было, я человеку просто пришелся по душе, короче, полюбился, — ну, он и не скупился, когда платил мне, вот и все.

Дьюкейн отступил назад. Мозг его лихорадочно работал, силясь не упустить и усвоить то, что ему

подбросили так внезапно. Он сумел не перемениться в лице. Как ни в чем не бывало, сказал:

— У мисера Бирана. Да, естественно. Он ведь часто там бывал.

— А то! И он расскажет, как все было между мной и мистером Радичи. Это я-то шантажист! Да я мухи в жизни не обидел! Я…

Макрейт продолжал возмущаться.

Так, значит, Бирани солгал насчет своих отношений с Радичи, думал Дьюкейн. Почему, почему? Зачем?

Глава четырнадцатая

Три женщины шли не спеша вдоль кромки воды. Морская гладь светилась лучезарной, ясной голубизной, осыпанной мерцающими драгоценными переливчатыми блестками и отделенной тонкой темно-синей чертой от белесой голубизны пустого неба, в котором, кажется, взгляд в такой день может тонуть без конца и края. С утра на пляже наблюдались местные, но ближе к полуденному глухому часу их не стало. Чуть отступя от берега видно было, как по бровке зеленого открытого склона, точно фигурка на заднем плане полотна Учелло[25], катается на своем новом пони Барбара.

На фоне бледно-голубого света фигуры женщин в окружении пустынного ландшафта приобретали монументальность. Они двигались вереницей, лениво, не торопясь; впереди — Пола в прямом хлопковом желтом балахоне, за нею — Мэри в белом платье, усеянном синенькими маргаритками, и наконец — Кейт в платье с тропическими цветами по лиловому с багряным отливом полю.

---

[25] Примечания: 25
Учелло, Паоло (1397–1475) — итальянский живописец.

Кейт, обутая в полотняные туфли, шлепала прямо по воде. При отливе у самого берега обнажалась узкая песчаная полоска, и Кейт шла, ступая по песку. Другие двое шагали чуть выше, по гряде розоватой и белой гальки.

Пола шла, вертя на своем тонком пальце обручальное кольцо. Ее не раз подмывало швырнуть кольцо в море, но из чувства, близкого к суеверию, на это не хватало духу. Она ломала голову, спрашивая себя, как ей быть. Только что прибыла открытка от Эрика, отправленная из Сингапура. Нечто зловещее, сковывая волю, чудилось ей в неотвратимом продвижении ее бывшего возлюбленного по земному шару. Первой ее реакцией был откровенный ужас. С другой стороны, для нее, возможно, речь в данном случае шла об очевидном долге, и в свете слова «долг» Пола вновь обрела способность рассуждать. Что, если только ее радением можно исцелить душу Эрика, раненную и изуродованную по ее вине? В конце концов, совсем не обязательно выходить за Эрика замуж или опять становиться его любовницей, как ей, неизвестно почему, казалось в минуты первого потрясения. Единственное, что требуется, — это решимость встретиться с ним и все обсудить, здраво, доброжелательно и, если надо,

не один раз. Он тогда слишком быстро уехал, а она — слишком малодушно обрадовалась этому. В сущности, она так и не разобралась в той ситуации, не попробовала ее осмыслить; избавилась — и с плеч долой! Может быть, если попробовать теперь и помочь в этом Эрику, она принесет им обоим какую-то пользу, хотя какую именно — она понятия не имела. Сама идея встречи с Эриком была столь мучительна, что мозг отказывался разрабатывать эту тему.

Я так и не поняла тогда, что происходит, размышляла Пола. Голова попросту отключилась — все было слишком омерзительно. Кстати, ни разу не потрудилась задуматься, каково приходится Ричарду. Иначе, возможно, попыталась бы удержать его. Но мне было до того противно — из-за самой себя, из-за всей этой каши, — что я дала Ричарду уйти, лишь бы меня оставили в покое. Следовало бы противопоставить поступкам Ричарда свой интеллект — а впрочем, мне казалось, что все равно подобная развязка неизбежна. Да так, пожалуй, оно и было. Что толку теперь прокручивать про себя прошлое, восстанавливая связную картину того, как пошла вкривь и вкось твоя жизнь? Угрызения совести, раскаяние — никогда я в такое не верила! И все

же с прошлым надо что-то делать. Оно никуда не девается. Оно продолжает существовать и влияет на настоящее, причем всякий раз по-новому, по-другому, словно где-то в ином измерении в свою очередь тоже растет и меняется.

Пола окинула взглядом немую недобрую гладь голубого эриконесущего моря. Допустим, думала она, мне удалось бы восстановить ясную картину своих поступков в то время — и что, это в самом деле пошло бы нам всем на пользу? Она отметила, что это «нам всем» включает в себя и Ричарда, хотя до скончания времен единственное, что она могла еще сделать для Ричарда, — это решительно и бесповоротно отрешиться от него. Не Ричарду, а Эрику сейчас она, быть может, в силах помочь, и надо не сходить с ума от страха, а сосредоточиться на задаче, каким образом это сделать. Заранее все продумать и ни в коем случае не терять самообладания. Эрик умел навязывать ей свою волю — вот что пугало больше всего. Разумеется, Пола слова никому не сказала о своей напасти. Хранила ее в себе, подобно жуткому кровавому таинству какого-нибудь мистического верования.

Мэри думала, — что, если действительно выйти замуж за Вилли и срочно забрать его отсюда?

Мысль об этом была неясной и заманчивой, с нею внезапно открывались перспективы, горизонты, возможность перемен! Мысль, нежданная, точно гром среди ясного неба! А вместе с тем, почему бы и нет? Дьюкейн был прав, говоря, что она слишком примирилась с сознанием своей неполноценности в сравнении с Вилли. Позволила Вилли нагнать на них обоих нездоровую дремотную хандру. Теперь, чтобы вырваться из пут этой хандры, ей требовались и воля, и свежие душевные силы. Веселость как природное свойство — то, чем я никогда не обладала, думала Мэри. Вот Алистер был веселый человек, и все веселое в нашем браке исходило только от него. Мне же с самого моего рождения все лишь бы тревожиться, волноваться бессмысленно и бездарно. Даже сейчас, гуляя у лазурного моря, осыпанного сахарной пудрой света, я воспринимаю эту картину сквозь пелену озабоченности. Мой мир окрашен в бурый цвет — тоскливый, тусклый мирок, выцветший, словно старая фотография. По силам ли мне полностью изменить его ради Вилли? Боги из милости даруют нам добродетель. Так, может, они из милости пошлют мне веселость? Может быть, это вообще одно и то же — то, что иначе люди зовут надеждой? Мне бы чуточку больше веры

в счастье, и я бы справилась с Вилли, я принесла бы Вилли спасенье…

Правду сказать, фраза Джона Дьюкейна о том, что она обладает властью, уже внесла перемены в их с Вилли отношения. По-прежнему немыслимым представлялось самой сделать ему предложение, хоть она и пробовала рисовать себе подобную сцену. И все же кое-что между ними менялось. Наверное, думала она, я была слишком одержима идеей, что он должен заговорить со мной о своем прошлом — о том, как было *там.* Я ощущала это как преграду между нами. Теперь я знаю, что могу перемахнуть через эту преграду, могу подойти вплотную к Вилли и заразить его простой физической бодростью, растормошить обыкновенной простой любовью. Не мое дело связывать воедино обрывки прошлого Вилли, включать их в ткань настоящего, которое я могу делить с ним. Возможно, кстати, такое и невыполнимо. Нужно избавить любовное обращение с ним от постоянного присутствия тревоги и даже пойти на то, чтобы использовать его как средство добиться для себя личного счастья! Я и сейчас уже чувствую себя гораздо более независимо в его присутствии. Это чувство большей независимости отозвалось в Мэри радостным приливом

жизненных сил, когда она по привычке, но теперь совсем иначе совершала, бывая у Вилли, обход его комнаты. Чем Вилли, по ее наблюдениям, был положительно озадачен. И она, заметив как-то выражение озадаченности на дорогом лице, впервые за долгое время откровенно, от души рассмеялась.

Кейт думала: как восхитительно холодит лодыжки водичка — дивное ощущение прохлады, ласкающей горячее, напоминает знаменитый десерт, когда под горкой мороженого подают горячее пирожное. И море — такой насыщенной голубизны, совсем не синее, а как бы чаша, полная света. Что за бесподобный цвет — погрузиться бы в *цвет* этого моря и снижаться, кружа, по столбу голубизны к водовороту чистого света, где уже и цвета-то больше нет, а есть сплошное блаженство! Как великолепно все складывается — Октавиан ничуть не расстроился из-за Джона, ни капельки, я знаю, его это абсолютно не волнует. Октавин счастлив, и Джон у меня тоже будет счастлив. Его пока смущает мысль об Октавиане, но скоро он убедится, что все в порядке, все хорошо, и для него тоже настанет счастливая пора. Какое чудо любовь, нет ничего чудесней на свете! И какая удача, когда можно любить без

уверток, без опасений, не ведая препон и преград! Конечно, Октавиан — потрясающий человек. Надо же иметь такой изумительный характер! И у меня, если на то пошло, — не хуже. Мы с ним оба вскормлены материнским молоком, у обоих было счастливое детство. А это много значит. По-моему, добродетель в человеке обусловлена, в конечном счете, складом характера. Да, нас всех ждет счастье, способное уживаться с добром. Ах, повезло мне все-таки родиться такой, как я!

Глава пятнадцатая

— А, это вы! — сказал Вилли Кост. — Сколько лет, сколько зим…

Тео, не торопясь и не глядя на хозяина, вошел в коттедж, прикрыл плечом за собой дверь. Прошелся по комнате, поставив на подоконник бутылку виски. Заглянул на кухоньку и принес два стакана и кувшин с водой. Плеснул в стаканы виски, долил воды и поставил один стакан перед Вилли, сидящим за столом.

— Что это играют? — спросил Тео.

— Медленную часть двенадцатого квартета, опус 127.

— Невыносимо слушать.

Вилли выключил патефон.

— Муки сознания, представленные в замедленном темпе.

— Верно, — сказал Вилли.

Тео, прислонясь к длинному окну, выглянул наружу.

— Отличный бинокль. Это Барбара подарила?

— Да.

— Вижу, как у моря прогуливаются наши Три

Грации. Одна краше другой.

— Вот как.

— Знаете, почему я так долго не приходил?

— Почему?

— Я считаю, на вас вредно действует мое присутствие.

Вилли отпил глоток виски.

— Вы знаете, что это неправда, Тео.

— Нет, правда. Вам нужны обычные активные люди. Мы с вами постоянно толкуем о метафизике, а метафизика — бесовское наваждение, вся насквозь от лукавого.

— Что же, доброкачественной метафизики не бывает?

— Нет. Такая не подлежит обсуждению.

— Прискорбно для человечества, учитывая, какие мы прирожденные болтуны.

— Правильно. Прирожденные болтуны. Что только усугубляет, углубляет, продлевает и приумножает нашу скверну.

— Оставьте, — сказал Вилли. — Очень немногим известны эти бесовские теории, о которых вы ведете речь.

— И тем не менее они оказывают влияние. Расползаются, просачиваются. Создают видимость знания. Даже то, в чем мы незыблемо уверены,

известно нам лишь в иллюзорной форме.

— Как что, например?

— Как то, что все — суета. Решительно все суета, Вилли, и человек бредет в тумане пустой тщеты. Мы с вами здесь единственные, кто это знает, и потому дурно действуем друг на друга. Нам нужно болтать на эту тему. Мы с вами здесь единственные, кому дано знать, но дано знать и другое — что мы ничего не знаем. Мы слишком испорчены в душе, чтобы познать такую штуку, как истина, — мы знаем ее лишь умозрительно.

— И выхода нет?

— Выходов — хоть пруд пруди, на *этой* стороне, среди плодов воображения обычной жизни. Булочки к чаю — вот вам выход. Или Проперций — тоже выход. Но это так, подмена за неимением лучшего. Нужно суметь пробиться на *другую* сторону.

— Насчет Проперция вы, может, и правы, — сказал Вилли, — но что касается булочек к чаю, позвольте за них вступиться.

— Мэри, иначе говоря.

— Нет-нет, не Мэри. Мэри — это другое. Просто булочки к чаю.

— Булка булочке рознь, допускаю, — уступил Тео. — Но давайте возьмем Проперция. В чем суть

всей этой вашей деятельности, если честно, какую вы преследуете цель? Бессмысленная возня, и только, стремление заполнить вакуум, который вам, ради спасения души, куда бы лучше было оставить незаполненным. Или ваше издание Проперция обещает стать крупным научным достижением?

— Да нет.

— Может быть, оно необходимо человечеству?

— Тоже нет.

— И не великое достижение, и даже не вызвано необходимостью. Рядовая заурядная работа, способ убить время. Зачем вы ею занимаетесь?

Вилли на секунду задумался:

— Она выражает мою любовь к Проперцию, любовь к латыни. Любовь стремится выразить себя, стремится проявить себя в работе. Это, быть может, не сформулируешь без искажений на языке вашей бесовской метафизики, но это несомненное благо. А если у тебя под рукой бесспорное благо, ты протягиваешь к нему руку.

— Разрешите внести поправочку, милый Вилли. Объект любви в данном случае — вы сами. Это и есть та ценность, которую вы пытаетесь превозносить и защищать с помощью латыни и Проперция.

— Возможно, — сказал Вилли. — Только не вижу надобности непременно это знать. Вы — большой дока по части неведения. Давайте же будем и тут пребывать в неведении.

Тео отошел уже от окна и стоял у стола, опираясь на костяшки пальцев и вглядываясь в лицо хозяина дома. Полы его пиджака разошлись, обнажив под собой мятую рубашку, коричневые засаленные подтяжки и грязный вязаный жилет. Из этого сокровенного нутра, поверх наваленных грудой книжек и словарей, несло потом вперемешку с запахом псины. Вилли переменил положение, растирая изящной маленькой рукой тонкую лодыжку.

— А разделаетесь с Проперцием, что тогда?

— Вероятно, еще какой-нибудь способ убивать время.

— Вам не рассказывали про этого типа, который покончил с собой?

— Нет, — удивленно сказал Вилли. — А кто это?

— Так, не из наших, как выразилась бы Кейт. Мелкая сошка из ведомства моего любезного братца. Переполох учинил неописуемый. Такого радостного оживления не наблюдалось со времени, когда Октавиан получил орден Британской

империи. От вас это скрывают — сами знаете почему! Вас там у нас почитают за некий священный объект.

— Зря они беспокоятся обо мне, — проворчал Вилли. — Я отбуду свой срок.

— Да, я тоже так полагаю, — сказал Тео, — хоть и не знаю почему. А вот зачем я тяну — неизвестно. Чувствую себя все время отвратительно. И обстановку тамошнюю терпеть нет сил, поэтому тащусь сюда изводить вас. Там уж совсем плохо дело. Все за всеми следят, делая милое лицо. Homo homini lupus, Вилли, homo homini lupus.[26] Все до единого — сексуальные маньяки, о чем даже не подозревают. Чего стоит один мой братец, это круглое О, получающий эротическое удовлетворение от созерцания того, как его женушка флиртует с другим мужчиной…

— Ну зачем судить так строго, — сказал Вилли. — Особого зла от них нет. Да, не святые, — так что же, за это нападать на всех нас?

— Да, да, да! И когда я перестану нападать, то умру. Это единственное, что я умею, и я буду изрыгать поношения вновь и вновь, как надоедливая пичуга, которая тянет всегда одну и ту же песню.

---

[26] Примечания: 26
Человек человеку — волк *(лат.)*.

— Если вы знаете столько, то должны знать и больше. Тогда вы судите, рассматривая нас в определенном *свете.*

— Да, — сказал Тео. — И этот свет выявляет мою порочную сущность, но не дает мне никакой надежды на лучшее, ни капли, ни крупицы надежды.

— Не может быть, — сказал Вилли. — Такого быть не может.

— Что есть выражение религиозной веры, в трогательной и вполне фундаментальной форме. Тем не менее существуют те, кто обречен.

— Тео, — сказал Вилли, — расскажите когда-нибудь — или, хотите, сейчас, — что все-таки произошло с вами в Индии, что случилось?

Тео, нависая над столом и выставив вперед свое заостренное, обуженное лицо, покачал головой:

— Нет-нет, сердце мое, нет. — Он сделал паузу. — Это вы, Вилли, когда-нибудь — или, хотите, сейчас — расскажите мне, каково вам было в этом… там, одним словом.

Вилли помолчал, разглядывая свою руку и словно бы пересчитывая на ней пальцы большим пальцем другой руки.

— Не исключено, — сказал он медленно, — что когда-нибудь и смогу…

— Вздор! — сказал Тео. — Не смейте мне рассказывать, ни под каким видом, — о таком нельзя говорить, я и слушать не стану!

Он оттолкнулся от стола и, обойдя его, стал за спиной у Вилли. Положил ему на плечи свои мясистые широкие руки, ощущая под ладонями по-кошачьи тонкие косточки, разминая пальцами мышцы.

— Я очень глупый человек, Вилли, — проговорил он.

— Я знаю. Некий *kouros*[27]…

— Ну их к лешему, этих *kouroi!* Вы должны простить меня, отпустить мне грехи!

— Всегда вам хочется, чтобы вас прощали! За что вы алчете прощения? Предположу, что не за грубость и неопрятность, не за вероломство и эгоизм…

— Еще чего!

Оба рассмеялись.

— Простить вас, Тео, я могу. Отпустить вам грехи — не в моей власти. Это должны вы сами. Простите прошлое и проститесь с ним — полностью и навеки.

Тео нагнулся ниже, покуда не коснулся лбом

---

[27] Примечания: 27
Скульптурное изображение юноши *(греч.).*

шелковистых седых волос. Закрыв глаза, соскользнул руками с плеч Вилли, устремляясь вперед, навстречу утешению, за которым пришел, — туда, где на них крепко и ласково лягут ладони Вилли.

Глава шестнадцатая

— Октавиан, я обнаружил нечто любопытное.

— Садитесь, Джон. Уже то радует, что вы хоть что-то обнаружили, тем более, если любопытное.

— Слушайте, — сказал Дьюкейн. — Я вчера вечером ходил к Макрейту домой…

— Так что, Макрейт действительно шантажировал Радичи?

— Да, только это не важно. Макрейт упомянул Биранна. Сказал, что Биранн часто бывал у Радичи.

— Биранн? Я думал, он был вообще незнаком с Радичи.

— Он позаботился создать такое впечатление. Да, так я ничем не выдал своего удивления, просто дал Макрейту выговориться, но незаметно вернул его к тому, что — в подробностях — происходило, когда он, услышав звук выстрела, прибежал к кабинету Радичи, — и тут выяснилось еще кое-что. *Биранн, оказывается, запер дверь!*

— Дверь в кабинете Радичи? Изнутри?

— Вот именно! Повторю слова Макрейта: «И тогда мистер Биранн впустил меня».

— А он правду говорил, Макрейт?

— Я склонен верить, что да.

— Положим, это можно сделать, поддавшись безотчетному порыву.

— Странный порыв! Разумеется, дверь, возможно, была заперта лишь какое-то мгновение. Макрейт, по его подсчетам, был у двери, когда минуты не прошло после выстрела. Но почему она вообще была заперта? Впрочем, постойте, это еще не все. Я тогда стал размышлять об этой ситуации — что могло произойти за эти несколько мгновений — и обратил внимание на то, что обязан был заметить сразу, как только увидел снимки, сделанные полицейскими.

— На что?

— Радичи был левша.

— Х-мм, мне это как-то ни разу не бросилось в глаза. И что же?

— Да, вам могло и не броситься. А вот левша непременно обратит внимание на эту же особенность у другого. Был как-то редкий случай, когда у нас с Радичи состоялся серьезный разговор, и речь зашла как раз о причинах такого явления, как леворукость. Он говорил, что правой рукой абсолютно ничего не может.

— И?..

— Револьвер лежал на столе возле правой руки Радичи.

— О боги! — вырвалось у Октавиана. — А не мог бы он как-нибудь изловчиться правой?..

— Нет. Попробуйте-ка представьте, как вы стреляетесь левой рукой.

— Или револьвер — сам лечь туда, выпав из другой руки?

— Невозможно, по-моему. Я очень скрупулезно рассмотрел фотографии.

— Так что из этого следует?

— Сейчас, минутку. Биранн ведь говорил, что передвигал оружие…

— Да, но он сказал, что отодвинул его всего лишь на какой-то дюйм, чтобы разглядеть лицо Радичи, а затем подвинул назад, на прежнее место.

— Совершенно верно.

— Силы небесные! — сказал Октавиан. — Вы же не думаете, что Биранн убил его?

— Нет, не думаю…

— У Биранна не тот темперамент, и потом, с какой стати…

— Насчет темперамента — не уверен. Да и вообще, нашелся бы мотив, а темперамент уж как-нибудь найдется.

— С другой стороны, казалось бы, чем не идеальное преступление? Войти к человеку, застрелить его и затем «обнаружить» тело.

— Может быть. Хотя учтите и трудности в данном случае. Стреляли с очень близкого расстояния и прямо в рот… Но позвольте, я доскажу то, что начал. Я побывал в Скотленд-Ярде. Помните, я вас просил, чтобы Премьер предупредил там об этом ребят? Он, по всей видимости, так и сделал, поскольку они раз в кои-то веки из кожи лезли вон, стараясь оказать мне содействие. Я хотел проверить отпечатки пальцев на револьвере — от левой ли они руки и в нужном ли месте.

— Ну и?..

— Да, от левой и, сколько я мог судить, в соответствующем месте. Что, впрочем, еще окончательно ничего не доказывает. Но во всяком случае, он держал оружие в руке и притом таким образом, что мог сам из него выстрелить. А Биранн, стало быть, говорил, что трогал револьвер. Как он это сказал? Необычно нервничал, волновался?

— Это да! — сказал Октавиан. — Но и все мы тоже нервничали и порядком волновались! Не каждый день после ланча кто-то рядом с тобой стреляется!

— Естественно. Так или иначе, отпечатки паль-

цев Биранна действительно имелись, и только на стволе револьвера. Помните, он еще вызвался предоставить полицейским свои отпечатки?

— Помню. Довольно подчеркнуто, как я тогда отметил. Только все это не доказывает, что он не мог застрелить Радичи, тщательно вытереть револьвер и вложить его в руку Радичи. Отсюда, пожалуй, и запертая дверь.

— Хорошо. Но если у него хватило ума вложить револьвер в левую руку Радичи, то должно было хватить и на то, чтобы оставить его на левой стороне стола.

— Это правда. Биранн, таким образом, по-видимому, отпадает. Если только все это не дьявольски хитрый умысел…

— Нет, не думаю. Итак, продолжу. После этого я вернулся к мысли, которая возникала у меня еще раньше. Радичи, если помните, любил носить старомодные, туго накрахмаленные воротнички?

— Правильно.

— Так вот, на воротничке у Радичи тоже остались отпечатки пальцев Биранна.

— На *воротничке?* То есть между ними произошла драка, потасовка?

— Сомневаюсь. Никаких других свидетельств драки не было. Я склонен думать, что Биранн

перемещал тело Радичи.

— Удивительно! Тем более, что он не упоминал об этом. С чего бы ему вздумалось?..

— А помните, вы были озадачены тем, что Радичи не оставил записки? — сказал Дьюкейн. — Очень уж это не вязалось с его образом?

— Вы полагаете… Вы можете допустить, что Биранн обыскал покойного и забрал записку?

— Во всяком случае, не исключаю. Если Биранн и Радичи были оба замешаны в чем-то, Биранн мог опасаться, что у Радичи в карманах обнаружится нечто нежелательное. Да, я уверен, что он обыскал покойного, чтобы забрать либо записку, либо что-то еще. Оплошность с револьвером наводит также на мысль, что Биранн был захвачен врасплох. В смятении, зная, что у него на поиски лишь считанные мгновения, он запер дверь — достаточно рискованный поступок, — затем, как я себе мысленно рисую, отодвинул револьвер и откинул тело Радичи назад, на спинку стула, получив таким образом доступ ко всем его карманам. А когда позволил Радичи привалиться обратно к столу, то машинально придвинул револьвер к его правой руке.

— Очень может быть, — сказал Октавиан. — Я еще подумал тогда — не в буквальном смысле

подумал, а так, промелькнуло в сознании, — как удобно лежит револьвер возле правой руки! Ведь мог бы упасть куда угодно!

— Да, — покаянно сказал Дьюкейн. — Я до этого додумался только после. Боюсь, я на сей раз не блеснул особой догадливостью, Октавиан. Кроме того, я должен был сразу заметить, что оружие лежит не на той стороне — да и заметил бы, наверное, будь я тогда на месте, по фотографиям это труднее разобрать.

— А вам не кажется подозрительным то совпадение, что, когда это случилось, Бираннн оказался рядом, ближе всех? Можем мы быть уверены, что Бираннн не убивал его — страшное предположение, я его не приемлю, однако во всем этом столько странного?..

— Уверены быть не можем, но я не думаю, что Бираннн его убил. Будь это так, он либо вложил бы Радичи револьвер в правую руку, либо оставил бы его на левой стороне стола. Не сделал бы одно из двух правильно, а второе — нет. Во всяком случае — не думаю. А совпадение — что ж, отчего бы и нет... Или — разве не мог Радичи это сделать внезапно, под влиянием чего-то, что сказал ему Бираннн? Как знать, возможно, Бираннн еще до выстрела находился в кабинете. А может быть,

Радичи вызвал его туда, чтобы застрелиться у него на глазах?

— Непонятная история, — сказал Октавиан. — Причем одно не вяжется с другим. Радичи не обладал никакой секретной информацией, меж тем как Биранну практически известен весь джентльменский набор. Что они могли замышлять вдвоем?

— В этом направлении, убежден, ничего, — сказал Дьюкейн. — Нет, это, по-моему, нечто куда более экзотическое — нечто, связанное с занятиями магией, которые практиковал Радичи.

— Макрейт не говорил, что делал у Радичи Биранн?

— Нет. Он только видел, как Биранн приезжал туда. И полагаю, он говорил мне правду. Я припугнул его слегка.

— Мы его, кстати, уже уволили, прохвоста.

— Это не беда. Боюсь, все, что можно, я из него уже вытянул.

— А как отнеслись к этой истории в Скотленд-Ярде? Не захотят ребята сами взяться за это дело?

— Они ничего не знают! Отпечатки пальцев я снимал сам. Наплел им что-то о том, для чего это нужно.

— М-м. Не заработать бы впоследствии из-за

этого неприятностей.

— Это вы предоставьте решать мне, Октавиан. Полиции, конечно, придется сказать правду. Только я раньше времени не хочу спугнуть Бирранна.

— Вы не намерены попросить у него объяснения?

— Пока нет. Я хочу действовать по порядку. Мне требуется еще одна ниточка. Мне нужна Елена Прекрасная. В данный момент она — недостающее звено.

«Бентли» Дьюкейна медленно двигался в потоке часа пик по терракотовому изгибу Мэлла[28]. Сгустки зноя клубились среди ползучего шороха машин, застилали неверной дымкой неподвижные деревья Сент-Джемсского парка, уже теряющие к исходу лета тугую пышность своих крон. Настала одна из тех минут, когда вечерний Лондон, изнемогая от жары, испускает вздох отчаяния. Летний Лондон наводит тягостное ощущение тупого безразличия, какого не вызвать ни туманам, ни ранним сумеркам, — летнее оцепенение, когда одолевает зевота и стекленеют глаза и сон, которым ненадолго забудешься в убий-

---

[28] Примечания: 28
Улица в центральной части Лондона.

ственно скучной комнате, полон кошмаров. Рука об руку с расслабляющей истомой по городу крадется зло, воплощаясь в безразличие, бессонницу, бесчувственность. Это время, когда долгая борьба с соблазном устало завершается поражением, когда преступление, которое долго вынашивают в мечтах, в конце концов с легкостью совершают, небрежно пожав плечами.

Дьюкейн, сидя рядом с Файви на переднем сиденье, чувствовал, как расползаются вокруг него эти миазмы по запруженным толпой тротуарам, проплывающим мимо замедленно, словно бы во сне. Все в его жизни, казалось, приобрело неестественно раздутые, нелепые, искаженные формы. Он врал Джессике. Сказал ей, что из-за вечерних совещаний на работе не сможет увидеться с нею на этой неделе. Обещал, что увидится на следующей. Он ощущал, как Джессика все больше загоняет его в угол, затягивает все глубже в трясину. Бывали мгновения, когда он думал, почти цинично, — ну и давай, затягивай, буди во мне зверя, делай из меня демона, наделенного злой силой. После чего сознание, что мысли такого рода — отъявленная гнусность, ввергало его опять в состояние полнейшей неразберихи.

Потребность видеть Кейт приобретала тем

временем нешуточную настоятельность — столь нешуточную, что утром он едва не поддался искушению велеть Файви везти его не в Скотленд-Ярд, а в Дорсет. Однако он слишком ясно понимал, как грубо, а может быть, и непоправимо любой подобный поступок нарушит ту гармоничную схему, которую так уверенно придумала, одобрила и утвердила для них сама Кейт. В их с Кейт отношениях присутствовала некая пленительная и невинная бездумность, требующая держаться подальше со своими насущными проблемами и даже неожиданностями. Огромная нежность — да, глубокое чувство — естественно, но никаких безумных порывов. Желать не возбранялось — сдержанно, в положенных границах, но лихорадочно цепляться — ни в коем случае. Каким же шатким представлялось ему сейчас это безоблачное всеобъемлющее благо, сообразно которому он отныне строил свою жизнь и ради которого убивал любовь Джессики! Что, если выложить Кейт всю правду о Джессике, подумал он, и с приливом облегчения вообразил, как, коленопреклоненный, стоит на полу перед Кейт, положив ей голову на колени. Но нет, думал он, это будет для нее жестоким ударом, а меня, удрученно прибавил он про себя, выставит двуличным и

неискренним. Надо будет сказать, но только после, потом, когда все это давно закончится и отболит. Сказать теперь означало бы пойти против правил — ее правил. Нельзя вовлекать Кейт в свою неразбериху. По ее мысли, наши отношения должны быть просты и радостны — и, стало быть, такими мне надлежит неукоснительно их сохранять.

Открытие относительно Бирана расстроило Дьюкейна сильней, чем он готов был обнаружить перед Октавианом. Ему совсем не улыбалось идти по следу человека, которого он недолюбливал, и недолюбливал по вздорным и низменным причинам. На какие-то минуты — вероятно, под воздействием этой злокозненной летней расслабленности — Дьюкейн утратил привычное ощущение, с которым являл миру образ собранного, независимого, деловитого человека. Жалость к себе охватила его, чувство своей уязвимости, незащищенности перед неведомой угрозой. В таком состоянии людям легко было разбередить ему душу, больно ранить. Этим отчасти объяснялось, почему он уклонялся от встречи с Джессикой. Джессика способна была причинить ему невероятные страдания, и до сих пор лишь слепая любовь удерживала ее от этого.

Он знал, что, если явиться к ней таким, как сейчас, обезоруженным и бессильным, она, почуяв это, подвергнет его мучительному испытанию. Не радовала Дьюкейна и мысль, что он приобрел противника в лице Биранна. Его коробило от вероятной перспективы обрести власть над этим человеком. Что бы там ни связывало вместе Биранна и Радичи, это было нечто неприятное, и притом, как улавливал пророческий нюх Дьюкейна, неприятное с жутковатым душком. Как бы ни повернулись события, Дьюкейну, похоже, так или иначе предстояло вскоре вступить в борьбу с Биранном, для чего он в нынешнем своем виде ощущал нехватку в себе участливости, ясности ума и, разумеется, сил.

Было также и любопытное явление, именуемое миссис Макрейт. Тогда, выйдя от Макрейта, Дьюкейн в первые минуты мысленно восстанавливал случившееся полупристыженно, полусмешливо и не без приятного возбуждения. Давно уже неожиданное не врывалось в его жизнь в подобном обличье, оставив по себе, откровенно говоря, восхитительное впечатление. С течением времени, однако, эпизод стал выглядеть уже не так забавно. Расследование продвигалось со скрипом, на ощупь, в густом тумане, успехов до сих пор не

приносило, и ни к чему было осложнять его безответственными и опрометчивыми поступками. Он не мог позволить себе совершать оплошности. Макрейт — личность, неразборчивая в средствах, не брезгует шантажом, выбалтывает журналистам сведения, не подлежащие разглашению, да и вообще не тот человек, чтобы высокопоставленный государственный чиновник, на которого возложено негласное расследование, давал пищу слухам, что целуется с его супругой. На самом деле Дьюкейн не думал, что Макрейт — независимо от того, что могла наговорить ему жена, — способен серьезно навредить ему. Но все равно такое просто не должно было иметь места. Если же брать глубже, то по прошествии времени он оглядывался на этот эпизод с чувством подавленности, как если бы зелье, подмешанное в красненькое винцо, до сих пор продолжало оказывать на него усыпляющее действие. Не от дремотной ли скуки, что наполняла покои, где сидела и чего-то ждала обольстительница, привязалось к нему это ощущение тупого безразличия, которое отнимало у него сейчас столько сил?

Машина пошла быстрее, свернув на Олд-Бромптон-Роуд, ведущую по направлению к Эрлз-Корт, где находился дом Дьюкейна. Занятый мрачным

и изнурительным раздумьем, Дьюкейн в то же время почти что машинально перебрасывался с Файви замечаниями о погоде, о прогнозе, предвещающем продолжение жары. Дьюкейн не мог похвастаться, что в его отношениях со слугой произошли заметные сдвиги, хотя на чисто физическом уровне приноровился к его пребыванию в доме и научился с легкостью подавлять в себе раздражение при заунывных звуках якобитских песен или слыша, как Файви по телефону в холле делает ставки на бегах. Файви поведал ему еще одну подробность о своей матушке — что она обучила его, «как тырить в магазинах». Когда, однако, Дьюкейн попробовал развить эту тему в надежде, что услышит от слуги признания о дальнейшей его карьере на преступном поприще, земляк-шотландец только буркнул загадочно: «Тяжело, сэр, жить на этом свете». А на вопрос Дьюкейна о женщине неопределенного возраста, фотографию которой Файви держал у себя в комнате, лишь отвечал горестно: «Было, сэр, да быльем поросло». И все же, несмотря на упорные намеки, что жизнь — не сахар, Файви, также явно освоясь со своим новым положением, по временам оживлялся и, встречаясь взглядом с хозяином… нет, сказать, что подмигивал, было

бы преувеличением, но глядел понимающе, как бы говоря — хорошо, пусть я мошенник, но и ты, знаешь ли, на свой лад — не лучше. Разницы между нами — всего-то ничего. Тебе просто больше повезло, и только. Дьюкейна даже подкупала эта спокойная наглость.

Пока они сворачивали на Байна-Гарденз, Дьюкейн следил за неторопливыми, выверенными, властными движениями больших, щедро усеянных веснушками рук Файви, лежащих на руле. И, наблюдая, обнаружил, что его собственная рука, вытянутая вдоль спинки сиденья, каким-то неведомым манером дотянулась до дальнего от него плеча Файви. Секунду он соображал, как быть. Решил оставить руку в том же положении. Даже подвинул ее немного, так что пальцы мягко, без нажима охватили плечевой сустав. И вместе с этим прикосновением на Дьюкейна тотчас сошел блаженный покой, которого, как ему теперь казалось, он искал весь этот день. Файви продолжал бесстрастно глядеть вперед, на дорогу.

Глава семнадцатая

Три женщины приехали в Лондон. Пола — покупать книги. Кейт — следуя своему обыкновению наведываться в город раз в неделю, Мэри поддалась на уговоры «развеяться и сменить обстановку». Другой причиной была ее надежда склонить к отъезду из Дорсета своего сына, для которого Мэри искусно заручилась приглашением на ланч от Пембер-Смитов, собиравшихся на Норфолкские озера, где их ждала новая яхта. Мэри надеялась, что этому поспособствует Джеффри Пембер-Смит, школьный товарищ Пирса, расписывая за ланчем достоинства яхты другу, которого Пембер-Смиты уже позвали ехать с ними на озера. Правда, она опасалась — а вернее сказать, точно знала, — что ее отпрыск будет лишь считать часы, дожидаясь, когда сможет сорваться и ринуться назад, к мукам почти что полного отчуждения, которое установилось к этому времени между ним и Барбарой. Мэри жалела сына, видя, как он терзается, все более ожесточалась, наблюдая нарочитое безразличие Барбары, но ничего не могла поделать. Случались минуты,

когда из-за этих напрасных, выматывающих душу страданий сына она бывала близка к мысли, что вся затея поселиться у Кейт была ошибкой. А впрочем, не будь Барбары, была бы какая-то другая девочка; мучений первой любви не дано избежать никому, и нелепо было бы слишком уж жалеть Пирса. Тем не менее вся эта ситуация тяготила Мэри, она побаивалась, как бы Барбара, доведя Пирса до крайности, не толкнула его на какой-нибудь отчаянный поступок.

Пирс, понятно, не делился с матерью своими переживаниями, но она была рада узнать, что он делится ими с Вилли. Вилли очень хорошо относился к Пирсу и, обсуждая с ним сына, Мэри находила в нем опору и поддержку, как если бы Вилли уже взял на себя роль Пирсова отца. С тех пор как Дьюкейн произнес в буковой роще «формулу раскрепощенья», Мэри стала чувствовать себя куда свободней в присутствии Вилли, и ему тоже передалось это чувство. Они гораздо охотнее беседовали друг с другом, и, пусть эти беседы по-прежнему оставались не столь откровенными, как хотелось бы Мэри, ее покинуло то безнадежное ощущение непреодолимой, выстраданной разобщенности, которое так сковывало ее при нем. Можно стало прикасаться к нему более

непринужденно, весело, без прежней обреченности. Я еще что-то сделаю из Вилли, думала она в непривычных для себя выражениях, он у меня еще станет кем-нибудь…

На поезде ехали все вместе, вчетвером; на вокзале Ватерлоо пути их разошлись: Пола направилась на Чаринг-Кросс-Роуд[29], Кейт — в «Харродз»[30], Пирс — к Пембер-Смитам, а Мэри — перекусить наскоро в кафе, поскольку у нее на этот день имелись собственные планы, в которые она никого не посвящала.

Мэри сошла на «Ганнерзбери стейшн» и по пандусу, ведущему из метро, поднялась на улицу. Над окраинным Лондоном, беспорядочным, пыльным, обыденным, подобно давно знакомому запаху нависала летняя тоска, и каждый шаг под физическим воздействием памяти сопровождался трепетом узнавания. Много лет минуло с тех пор, как она была здесь последний раз.

Мэри шла по улице и, хоть до этого затруднилась бы мысленно нарисовать ее себе, сейчас узнавала каждый дом. Как будто бы, выплывая из

---

[29] Примечания: 29

Улица в центральной части Лондона, известная своими книжными магазинами.

[30] Примечания: 30

Дорогой и фешенебельный универсальный магазин.

неких глубин, приукрашенных значительностью прошлого, каждый предмет занимал свое место в рамке, мгновение назад подготовленной специально для него: резные ворота, овальный витраж в парадной двери, стена, заплетенная ломоносом, карабкающимся вверх по решетке; темнозеленый влажный мох между красными плитами мощеной дорожки, фонарный столб, одиноко торчащий на своем круглом цоколе. Все здесь, в районе «старых больших домов», как называла она его про себя прежде, осталось на удивление неизменным. В послеполуденном неподвижном оцепенении памятная улица внушала своим неуловимо знакомым обличьем смутную тревогу, подобно месту, которое видишь во сне и думаешь — я уже здесь бывал, но только где это и что должно случиться? Цвета были тоже как во сне: четкие, но плоские, без глубины, и матовые, они не отражали свет — так выглядят насыщенные краски, когда их видишь в темноте. И опять-таки словно во сне, улицы были пустынны.

Мэри завернула за угол и в первую минуту совершено не узнала того, что представилось ее глазам. Дома исчезли. На их месте высились кварталы многоквартирных зданий, огромные гаражи. Там и сям стояли машины, но пешеходы

на тротуарах по-прежнему отсутствовали. Мэри нахмурилась, изгоняя из поля зрения тьмы призрачных образов того, чего больше нет, и с неожиданной болью думая — а вдруг и *наш* дом точно так же попросту исчез? Но она уже дошла до конца улочки, и впереди, на левой стороне, показался полуособнячок, в котором они с Алистером провели четыре года своей совместной жизни.

Они были первыми, кто въехал в этот домик, построенный после войны. Чахлые деревца, названием которых она в то время не поинтересовалась ни разу, а теперь распознала в них сливу, высаженные по обочинам улицы стараниями городских властей, выросли и превратились в раскидистые деревья. Алистер, чуть моложе жены, не подходил по годам для военной службы и сдавал еще экзамены на диплом бухгалтера, когда привез новобрачную в домик на Ганнерзбери-Роуд. На углу Мэри, удерживая равновесие, оперлась на невысокую ограду, и в руке ее, словно в отдельном, независимом организме, ожила внезапно память о поверхности этой ограды, колючем зернистом камне и городском мхе, который, подобно мху на красной мощеной дорожке, ухитрялся сохранять прохладную влажность

даже на солнцепеке.

Вместе с прикосновением руки к ограде возник неожиданно образ фортепьяно, образ их старенького пианино, давным-давно проданного, но сейчас неотделимо связанного с этой замшелой оградой благодаря некой утраченной с тех пор мысли, вероятно посетившей Мэри в прошлом, когда она с хозяйственной сумкой в руках остановилась однажды на этом повороте. У Алистера был красивый баритон, и они часто пели дуэтом, он — сидя за пианино, она — стоя и положив руки ему на плечи, в самозабвении откинув голову назад. То было счастливое воспоминанье: в памяти до сих пор сохранилось то ощущение, с каким лицо ее в эти минуты преображала радость. Алистер играл на рояле, прекрасно пел. Еще он недурно рисовал, писал хорошие стихи и прозу, отлично играл в шахматы, фехтовал и был грозным противником на теннисном корте. Перечислив внезапно все это в уме, она подумала — сколько же у него было достоинств! И, поглаживая ограду, предположила, что, наверное, точно так же перечисляла их, когда решала, выходить ли за него замуж. С той разницей, что слово «достоинства» принадлежало не к тому времени, а к нынешнему и это было грустное слово с чересчур

узким значением.

Тем, что у Мэри хватило духу вернуться и поглядеть на домик в Ганнерзбери, она была косвенным образом обязана Вилли. Она не рассказывала о нем Вилли и вообще никогда и ничего не говорила ему об Алистере. Просто наряду с крепнущей решимостью «что-то сделать из Вилли» к ней пришло сознание, что она уклоняется от собственного прошлого, что слишком малодушно отстраняется от него. Нужно, чтобы она могла рассказать Вилли об Алистере, о том, как и что было тогда и чем завершилось. А для этого, казалось ей, надо вернуться в прошлое, пробудить и освежить в памяти поблекшие от времени воспоминания и утихшую со временем боль. Надо — что сделалось теперь возможным — на совершенно новой почве встретиться со своим мужем.

Какой ошеломляющей, переворачивающей душу окажется эта встреча, она не предвидела. Ни ломоноса не предвидела, ни мощенной плитами дорожки, ни ограды. На фоне мощного взрыва этой действительности Вилли казался бледной тенью. Сонное оцепенение, царящее на летней улице, с ее столь узнаваемым запахом пыли и гудрона, совпадало с атмосферой

ее замужества, нарастающим ощущением не столько западни, сколько общего спада, когда все размеры сокращаются, все краски блекнут. Было ли это, говоря просто и грубо, разочарованием, когда обнаружилось, что ее муж — не такая уж выдающаяся личность, как ей представлялось? Может, нечего было и выходить за него, думала Мэри, может быть, я слишком мало его любила. Но только какой смысл делать теперь подобные заключения? Много ли, в сущности, скажет замшелая ограда о том, что на сердце и на уме у девочки двадцати трех лет? Ей вспомнился в эти минуты — скорее как вещь, предмет, нежели плод интеллектуальных усилий, — увесистый роман Алистера, который она с таким усердием печатала на машинке и уже с меньшим воодушевлением перепечатывала заново, после того как два первых экземпляра, побывав в руках двадцати издателей и каждый раз возвращаясь назад, оказались истрепаны чуть ли не в клочья. Роман был жив по сей день. Она наткнулась на него год назад и с трудом подавляла тошноту, листая его страницы.

Мэри неторопливо пошла по другой стороне улицы. Отсюда уже видно было, что живую изгородь из желтых кустов бирючины, поса-

женную ею с Алистером, убрали, как убрали и пропитанный креозотом штакетник, заменив его низенькой кирпичной оградой с амбразурами. Весь палисадничек перед домом, который они с Алистером засадили розами, теперь замостили, оставив место лишь двум клумбам, на которых клонились вниз, метя сизыми ветками по каменным плитам, разлапистые рослые кусты розмарина. Уже почти напротив дома Мэри с дрогнувшим сердцем разглядела сквозь темноту в гостиной свет еще одного окна вдалеке. Значит, перегородку между двумя нижними комнатами все-таки снесли. Сколько раз они обсуждали это с Алистером… Она остановилась, глядя на противоположную сторону. Дом казался безлюдным, безлюдна была и улица. Мэри потрогала гладкий, плотный ствол набравшей толщину и силу сливы. Дальше, на месте дерева, поваленного вильнувшей в сторону машиной, по-прежнему был пробел.

Мэри крепче ухватилась за плотный ствол, побарывая слабость и дурноту. Вид окон гостиной напомнил ей тот последний вечер, летний вечер, объятый тою же отупляющей ленью, какую она вдыхала в себя сейчас. Они с Алистером поссорились. Из-за чего? Во всяком случае, в доме

чувствовался разлад — ничего серьезного, обыкновенная стычка двух усталых людей в летний вечер. Она видела у него в руке письмо, которое он собирался отнести на почту. Лица его не видела. Возможно, избегала смотреть ему в лицо. Подошла к окну поглядеть, как он шагает по дорожке, как сходит с тротуара, — и видела все, все слышала: внезапно вихляющая машина на тихой улице, скрежет тормозов; Алистер, который медлит в нерешительности, отскакивает, ища спасения, и попадает прямо под колеса; его рука, вскинутая вверх, его жуткий, жуткий вопль…

Зачем только я приехала сюда, думала Мэри. Знать бы, каково это будет!.. И, словно ничто и вправду не изменилось, прежние мысли волной нахлынули на нее. Если б я только окликнула его, постучала бы по стеклу, прибавила к тому, что наговорила, всего лишь еще одну фразу, пошла вместе с ним — ведь пошла бы, если б мы перед тем не повздорили! Что угодно могло бы разорвать ту длинную цепочку причин, что свела их вместе, его и эту машину, в единой точке во времени! По лицу ее потекли слезы. Мэри отделилась от дерева и пошла дальше. Она поймала себя на том, что повторяет вполголоса слова, которые, как безумная, твердила тогда вновь и вновь тол-

пе, обступившей ее на тротуаре. «Вы понимаете, по нашей улице ездит так мало машин! Здесь редко когда проедет машина...»

Пола спускалась вниз по узкой лестнице магазина «Фойлз». Она провела уже несколько часов в поисках нужных книжек, перекусила бутербродами в «Геркулесовых столпах» и сделала кой-какие покупки для Вилли по его просьбе. О чем не сочла нужным говорить Мэри, зная, что всякий, кто берется оказать услугу Вилли, вызывает у Мэри жгучую ревность. Подобного рода осмотрительность давалась Поле естественно и без рассуждений.

В руках Пола несла большую сумку с книгами да еще пакет под мышкой. Все, с делами покончено, думала она, только вопрос, куда податься с такой тяжестью? У нее оставалось еще время до отхода поезда, на котором они условились с Пирсом и Мэри ехать обратно в Дорсет. Зайду в Национальную галерею, решила она, сдам это все в гардероб и похожу посмотрю на картины. Она вышла на раскаленную людную улицу и кликнула такси. *Столбик градусника ползет вверх,* возвещали табло. *Ожидается продолжение жары.*

В картинах Пола разбиралась очень недурно, находя в них источник огромного, чистейшего

и всепоглощающего наслаждения, как ни в одном другом виде искусства, хотя на самом деле несравненно лучше знала литературу. Сегодня, однако, поднимаясь по знакомым ступеням и поворачивая налево, к сладостному собранию итальянских примитивов, она не могла думать ни о чем, кроме Эрика, образ которого, вытесненный на время поисками книг, с удвоенной силой вновь овладел ее сознанием. Эрика, который медленно и неотступно надвигался на нее, ползя, подобно большой черной мухе, по поверхности земного шара. Только что от него пришла открытка, посланная из Коломбо.

Пола представила себе руки Эрика. У него были странные руки, квадратные, с очень широкими уплощенными пальцами, поросшие длинным, шелковистым, золотистого оттенка волосом — не только по тыльной стороне ладони, но вплоть до первой фаланги пальцев. Перстень с печаткой, который он обычно носил, буквально тонул в этой рыжеватой поросли. Возможно, эти руки и решили за него, что судьба ему — быть керамистом. Пола явственно ощущала запах, исходивший от его рук, прохладный скользкий запах влажной глины. Того, что Эрику давала гончарная мастерская в Чизвике, едва хватало на

жизнь. Поле понравилась в нем отрешенность от житейской суеты, понравилось, как под лаской его ладоней из комка глины вырастает изделие; ей нравилась сама глина. Все это так отличало его от Ричарда! Может быть, я влюбилась в руки Эрика, думала она, может быть, влюбилась в глину. После Ричарда, с его смесью интеллектуальности и изощренной чувственности, Эрик казался ей таким основательным, естественным. А между тем, в первый раз подумалось Поле, Эрик был страшный неврастеник. Естественность его была наигранной, он лишь позировал, изображая из себя умельца-мастера — эта его вычурная блуза, эта львиная грива нечесаных золотистых волос! Эрик, большой и сильный! Что лишь усугубляло невыносимый позор сокрушительного поражения, которое он потерпел от Ричарда. Разве Эрик простит ей когда-нибудь это поражение? Что, если Эрик, мелькнула у нее догадка, возвращается, чтобы убить меня? Это, пожалуй, теперь единственное, что может вернуть ему душевный покой. Убить меня. Или — убить Ричарда.

Ричард… Пола, которая до этой минуты бесцельно переходила из одного зала в другой, остановилась как вкопанная перед полотном Бронзино «Венера, Купидон, Прихоть и Время».

Любимая картина Ричарда. «Вот тебе образец истинной порнографии, — услышала она снова высокий голос Ричарда. — Единственный пример, когда на картине правдиво изображен поцелуй. Когда целуют — и не целуют. Пола, Пола, подари мне поцелуй, достойный кисти Бронзино!» Пола прошла на середину зала и села. Эту картину Бронзино Ричард облюбовал и «присвоил» давно, еще до их женитьбы. Это он заставил Полу впервые по-настоящему разглядеть ее, и она сделалась в пору его ухаживания своеобразным символом их любви — символом, с готовностью одобренным Полой как раз потому, что здесь была отчасти чуждая ей область. Картина представляла в преображенном виде чувственность Ричарда, его распутство, и Пола с коротким вздохом удивления приняла ее, как приняла и самого Ричарда. Целомудренная, холодная Пола, синий чулок, открыла в развратной натуре своего беспутного мужа райский сад невообразимых восторгов. Блаженство вне брака для Полы исключалось. И прелести брака ей довелось изведать не в переносном, а в прямом значении.

Пола сидела, глядя на картину. Стройная, удлиненная фигура нагой Венеры томно обращена к стройному нагому Купидону. Купидон склоняет-

ся над ней, поддерживая длинными пальцами левой руки ее голову, длинные пальцы его правой руки охватили ее левую грудь. Губы лишь совсем легко прикасаются к ее губам или, быть может, замерли на волоске от прикосновения. Неподвижный долгий миг, отсрочка томительной страсти, преддверие лихорадочного водоворота, что увлекает за собою в падение. На фоне гладких масок и искаженных отчаянием лиц кудрявый отрок Прихоть приближается осыпать опоенную любовным дурманом пару лепестками роз, а поверх этой сцены, предвещая конец всем милым утехам, простирает длинную мускулистую руку старый греховодник Время. «Заходила посмотреть на мою картину, Пола?» — неизменно спрашивал Ричард всякий раз, как Поле случалось побывать в галерее. Последний раз он сказал эти слова под конец их первой и единственной ссоры из-за Эрика. Произнес их в знак примирения. Она не ответила.

На углу Смит-стрит и Кингз-Роуд Пола велела таксисту остановиться. Задержалась возле угловой продовольственной лавки, и хозяин, узнав ее, заулыбался, кланяясь. Она отвечала короткой принужденной улыбкой и двинулась вдоль по улице. Дурацкая манера самоистязания, такая же

дурацкая, как внезапное побуждение позвонить Ричарду на работу в прошлом году. С минуту она молча слушала, как знакомый голос говорит: «Бираннн!», затем, с недоумением: «Да, слушаю! Алло!» — и повесила трубку. И вот сейчас надумала увидеть снова тот дом в Челси, где они жили с Ричардом. Из слов, оброненных в каком-то разговоре Октавианом, она знала, что Ричард живет там по-прежнему.

Перейдя на другую от дома, теневую сторону, Пола замедлила шаги. Отсюда уже видна была парадная дверь, когда-то — синяя, а теперь — свежевыкрашенная в модный коричневато-оранжевый цвет. Дверь перекрасил, подумала она, стало быть, ему не все равно — листал каталоги, выбирал подходящий колер… Как чисто вымыты окна, думала она, подходя ближе, а под окном — ящичек с цветами, еще одна новость! Стоп, а чему я, собственно, удивляюсь? Я, должно быть, предполагала, что без меня все здесь придет в запустение и зарастет паутиной? Что Ричард без меня впадет в уныние, опустится, пропадет? Да, верно, — предполагала. Как он мог выбрать новый колер для двери без меня! Пола остановилась в тени напротив дома. Можно было не опасаться застать тут Ричарда в такое время

дня. Она приложила руку к сердцу, повторяя пальцами изгиб левой груди, как Купидон на картине повторял изгиб груди своей матери. Поколебалась, размышляя, отважиться ли ей перейти улицу и заглянуть в переднее окно, как вдруг произошло нечто ужасное. По другой стороне быстрым шагом приблизилась чрезвычайно привлекательная, элегантно одетая женщина, остановилась возле дома, где жил Ричард, и *вошла, открыв дверь своим ключом.*

Пола круто повернулась и торопливо зашагала назад, на Кингз-Роуд. Слезы ярости жгли ей глаза. Она знала теперь — знала по нестерпимой, раздирающей боли, грызущей ее изнутри, что предполагала не только то, что Ричард без нее впадет в тоску, опустит руки и не сможет заниматься покраской парадной двери. Она предполагала — не сознанием, а плотью своей, своим сердцем, — что Ричард без нее останется в одиночестве.

Джессика Берд почти никогда не виделась с Джоном Дьюкейном у него дома. Она не придавала этому особого значения. Джон всегда повторял, какая мрачная обстановка у него дома и какое для него удовольствие бывать у нее. Вот почему они обычно — а в последнее время неизменно

— встречались не в доме на Эрлз-Корт, а в квартире Джессики.

У Джессики не было прежде чувства, что ей чего-то недодают или куда-то ход заказан. Теперь, однако, — в особенности с тех пор как Дьюкейн заговорил о разлуке, его дом приобрел в ее воображении таинственность и притягательность, словно хранил в себе, как некий предметный талисман, разгадку перемены, происшедшей с его хозяином. Дом снился ей в страшных снах, он разрастался в лабиринт темных помещений, по которым она, испуганная, потерянная, блуждала в поисках Джона. Джессика еще не поверила, что он и правда ее бросит. Не находила для этого разумных оснований, принимая во внимание, что она так мало требует от него. Она не вполне созрела, чтобы сказать ему напрямик: заведи себе другую любовницу, я это стерплю. Но, вынудив его обещать, что, если это и в самом деле случится, он ей скажет, жила с ощущением, что в известном смысле благословила его завести другую любовницу. Что же тогда толкало его на эти неистовые попытки избавиться от нее? И поскольку видимых причин для подобного неистовства не было, Джессике не очень верилось, что оно неподдельно. Что-то здесь не то,

размышляла она, здесь должно быть какое-то недоразумение.

Когда очень любишь — а Джессика все еще любила очень, — трудно поверить, что чувство любимого человека к тебе действительно пошло на убыль. Приемлемо любое другое объяснение — только не это. А Джессике к тому же довелось уже перейти критический рубеж смерти и воскресения, когда Джон перестал быть ее любовником. Она претерпела уже ради него умерщвление и восстала из мертвых, уверовав после этого в собственное бессмертие. Джон с тех пор оказался вплетен в самую ткань ее существования и, как ей представлялось наконец, неразрывно, за отсутствием такой драматической составляющей, как любовная связь. Захотеть отнять у нее и это казалось ей чистой блажью с его стороны.

Есть в человеческом сознании потайные силы, которые, подобно бродячим газам, кочуют по свету, раня и калеча, при том что обладатели их не совсем — или даже совсем не — отдают себе отчет, какая мощь заключена в этих испарениях и на кого в данный момент направлено их действие. Возможно, по полному отсутствию таких газообразных щупальцев можно было бы распознать святого, но обыкновенный человек наделен ими

от природы, как, скажем, наделен способностью, подобно призраку, являться другим людям в сновиденьях. Вот так и получается, что мы становимся кошмаром друг для друга — что, уединясь в четырех стенах, мы изнываем от унижения, подчас прямо-таки от физической боли по милости кого-то, кто, скорее всего, и в помыслах нас не держит. Фантомы, порожденные сознанием, живут своею собственной жизнью, скитаясь в поисках жертвы и терзая ее горестями и страхами, за которые первоначальный источник этих летучих зол, по справедливости, и винить-то нельзя, а известием об их существовании можно просто огорошить.

Джессика рисовалась себе в своих отношениях с Джоном предельно беспомощным, безобидным созданием, ей в голову не могло прийти, что для него она стремительно становится ненавистней удава, сжимающего ему шею своими кольцами. Не могло прийти в голову, что по ночам она преследует его в мучительных снах. Дьюкейн не мог простить, что она своими воплями сломила его решимость и вынудила так малодушно принять ее в свои объятья. Эта сцена, которую ему никак не удавалось выкинуть из головы, служила своего рода образцом того, как, разыграв для вида

роль злодея, можно позволить завлечь себя в омерзительно ложное положение. А пока что бедняжка Джессика, которая с утра до вечера только тем и занималась, что мечтала о нем, из жажды хоть какой-то деятельности, связанной с ним, повадилась ежедневно писать ему письма, которые он получал с отвращением, небрежно пробегал глазами и оставлял без ответа.

Сегодня же, в этот летний день, Джессику побудило отправиться на Эрлз-Корт, главным образом письмо от Дьюкейна, в котором он сообщал, что на этой неделе завален работой и не сможет с ней увидеться. Весть, что они не увидятся, принесла с собой горькое разочарование. Но письмо оставляло по себе еще одно впечатление, от которого Джессика странным образом оживилась, а именно: четкое впечатление, что Дьюкейн *лжет*. Джессика не поверила словам о неких «вечерних совещаниях». Она твердо знала, что до сих пор он никогда ей не врал. Ей неизменно служила утешением уверенность, что он абсолютно честен с нею. Но в тоне этого письма звучало что-то новое, что Джессику почти обрадовало, потому что уличить его во лжи или хотя бы знать, что он *лжет*, значило обладать известной силой. Было, в конце концов, очень уж непохоже на правду,

чтобы Джон был целую неделю так занят, что не мог выкроить время с ней повидаться. В письме определенно звучала фальшь.

Цель предпринимаемой вылазки Джессика представляла себе не слишком ясно. Она не собиралась всерьез шпионить за Джоном, просто, желая отвлечься, искала себе занятие, неважно какое, лишь бы оно, пусть косвенно, затрагивало «его». Думала, например, подождать в метро на Эрлз-Корт и как бы случайно столкнуться с ним, когда он будет выходить оттуда, так как он изредка возвращался с работы на метро, — и в самом деле подождала некоторое время у входа на станцию, хотя для него было еще рановато ехать домой. Потом прошлась по улице и свернула в переулок, ведущий к укромному ансамблю красивых небольших особняков, где жил Джон.

Переулок, а точнее, тупик, упирался в поперечную улицу, а напротив этого перекрестка была пивная, которая как раз в это время открывала двери. В эту пивную и направилась Джессика и расположилась со стаканом пива у окна, откуда открывался отличный вид на перекресток и на фасад Дьюкейнова дома. Она пробыла там недолго и уже стала размышлять, сможет ли, если увидит его, удержаться и не выбежать

наружу, как вдруг произошло нечто такое, что поразило и потрясло ее. По улице быстрым шагом приблизилась чрезвычайно привлекательная, элегантно одетая женщина, остановилась возле дома, где жил Дьюкейн, позвонила, и ее тотчас же впустили.

Джессика отставила от себя стакан. Значит, он там, он дома, думала она, он мне врал, у него есть любовница. Новое, неизведанное дотоле чувство ревности сотрясало все ее существо очередями боли. Одновременно, неким сопутствующим чудом, та сила, что влилась в нее по получении лживой Дьюкейновой отписки, возросла стократ, и в тихой, сонной пивной родилось на свет новое исчадие ада — ревнивая, полная злобной решимости женщина.

Кейт Грей приблизилась быстрым шагом к дому, в котором жил Дьюкейн, остановилась, позвонила, и ее тотчас же впустили. Она знала, что Дьюкейна дома быть не может, так как он собирался сразу после работы провести весь вечер с Октавианом. Кейт явилась учинить самоличный смотр слуге Дьюкейна.

— Я хотела занести кое-что для мистера Дьюкейна и черкнуть ему записку, — сказала Кейт, проворно ступив в прихожую. — Вы не могли

бы дать мне листок бумаги? А это, если можно, я оставила бы на кухне. Спасибо, я знаю, куда пройти. Я — миссис Грей. А вы — Файви, надо полагать.

Файви последовал за Кейт на кухню и молча наблюдал, как она достает из сумки коробку засахаренных каштанов и бутылку сливовицы — ее приношение Дьюкейну, а также предлог зайти к нему.

— А у вас тут порядок, Файви, — сказала она одобрительно. — Порядок и чистота, ничего не скажешь. Так, вот это — для мистера Дьюкейна. Его, как вам известно, сегодня допоздна не будет дома, он встречается с моим мужем.

Кейт оглядела Файви поверх стола. Он оказался совершенно не таким, как она ожидала. Попытки Дьюкейна описать, в ответ на ее вопрос, внешность своего слуги, ограничились довольно-таки общими словами и создали у Кейт впечатление о чем-то неотесанном и грубоватом. Неотесанность, пожалуй, присутствовала, но живописного, приукрашенного, почти что подкупающего свойства, с какой обычно изображают в кино и театре Чудовище из «Красавицы и Чудовища» — большим, мохнатым, симпатичным зверюгой, который представлялся Кейт в детские

годы гораздо предпочтительнее скучного красавчика принца, в какого ему надлежало обратиться под конец. Кейт отметила про себя абрикосовый оттенок кожи, густо заляпанной коричневыми кляксами веснушек, огромную, как воздушный шар, косматую голову, копну волос и усы сочного с рыжинкой цвета, словно свежеочищенный от кожуры конский каштан; светло-карие, ясные без единой крапинки раскосые узкие глаза, прямую длинную линию рта. Расчесывает их, должно быть, подумала она. Интересно, удастся ли уговорить Октавиана, чтоб отрастил себе усы, я и не подозревала, что они так украшают мужчину.

Кейт спохватилась, что неприлично долго разглядывает Файви, который в свою очередь разглядывал ее.

— Так вы не принесете мне листок бумаги для записки? — сказала она поспешно.

Файви, ничего не говоря, удалился и через две минуты пришел назад, неся бумагу.

Кейт присела к столу и написала: «Милый Джон…» У него и руки в веснушках, продолжала она свои наблюдения, подняв глаза на доступную ее взгляду руку. Любопытно, он весь такой пятнистый? Она вывела восклицательный знак и остановилась с занесенным пером. В голову

никак не шло, что бы такое сообщить Джону. «Вот оказалась здесь, — написала она и тут же зачеркнула. — Я только что из «Фортнума»[31], где раздобыла для вас небольшой гостинец».

— Нет, я все-таки не буду писать записку, — сказала она Файви. — Вы просто передайте мистеру Дьюкейну, что я оставила ему вот это.

Файви кивнул, и Кейт медленно скомкала записку. Что-то пошло не так. «Не так», по ее заключению, состояло в том, что Файви до сих пор не проронил ни слова. Дьюкейн не говорил, что он *немой,* подумала она.

— Вам здесь, у мистера Дьюкейна, хорошо живется, надеюсь? — спросила она.

— Мистер Дьюкейн — очень добрый господин.

— Боги великие! — вскричала Кейт. — Что же мистер Дьюкейн не предупредил, что вы ирландец! — Спутать акцент было невозможно. — Ведь и я — тоже ирландка!

— Я, мэм, с вашего позволения, признал ваш выговор, — сказал Файви.

Лицо его оставалось бесстрастно, раскосые карие глаза пристально смотрели на Кейт.

— Как славно! Я родом из графства Клэр, а вы

---

[31] Примечания: 31

«Фортнум энд Мэйсон» — дорогой универсальный магазин в Лондоне.

откуда?

— Я сам из графства Клэр.

— Удивительное совпадение! — воскликнула Кейт. — Что ж, получается — мы с вами не чужие. Откуда именно в графстве Клэр?

— Там, с побережья…

— Не из-под Баррена?

— Да, мэм!

— Поразительно! До наших мест — рукой подать! И что, у вас там до сих пор есть родные?

— Только старушка-мамаша, мэм, домик у нее плохонький, корова…

— И часто вы у нее бываете?

— Проезд кусается, мэм. Я от своего жалованья немного посылаю мамаше.

Надо дать ему денег на билет, подумала Кейт, но только как? Он, похоже, человек гордый. Да, конечно, теперь я ясно вижу, что он ирландец.

— Давно вы в Англии, Файви?

— Совсем недавно, мэм. Деревенские мы.

Поистине дитя природы, думала она. До чего прост и трогателен, настоящий крестьянин! Ничего общего с тем, как описывал его Дьюкейн. Отсюда оставался один шаг до следующей мысли: не худо бы заполучить такого слугу себе. Очень заманчиво заиметь у себя такого Файви.

— В Лондоне, должно быть, страшновато на первых порах. Но ничего, потом привыкнете.

Кейт, которой к этому времени решительно расхотелось уходить, встала и принялась совершать обход кухни, трогая чашки, поглаживая кастрюли, заглядывая в миски. Она начинала чувствовать себя вполне непринужденно в присутствии Файви, как будто теплое излучение, идущее от его звероподобной персоны, оказывало ласкающее и вместе с тем стимулирующее действие на ее нервы.

— Угощайтесь, берите.

Она вскрыла коробку с каштанами и пододвинула ее к нему, на другой край стола.

Большая пятнистая рука протянулась, и Файви, по-прежнему не спуская глаз с Кейт, препроводил засахаренный каштан к себе в рот.

Беззастенчиво пялит глаза, думала Кейт, но мне это даже нравится. Фу ты, раз коробка открыта, ее теперь не подаришь Джону. Придется забрать с собой. Или отдать Файви!

Она продолжила прерванный обход.

— А это что такое?

Кейт указала на глубокую стальную раковину с зияющим круглым жерлом, разверстым на ее дне.

— Мусородробилка, — отозвался Файви с полным ртом.

— Да? Я таких не видела. Давайте спустим туда какой-нибудь мусор.

Файви подошел исполнить процедуру показа. Вытащил из мусорного ведра сверток намокших газет, бросил в дыру и повернул выключатель. Раздался грохот перемалывания.

— Б-рр, мороз по коже, — сказала Кейт.

Наклонясь над машиной, она на минуту оставила на краю раковины свои белые нейлоновые перчатки. В мгновение ока, точно рыбка, сорвавшаяся с крючка, беленькая перчатка скользнула вниз по стальному гладкому скату в круговерть темного провала. Вслед за ней, почти столь же стремительно, рванулась веснушчатая рука Файви, однако спасти перчатку от гибели все же не успела. В ту же секунду Кейт перехватила на лету руку Файви.

— Ой, осторожно!

На миг они застыли, глядя друг на друга. Потом Кейт отступила назад и потянула его за собой, крепко сжимая в руке ширококостное волосатое запястье.

— Прямо дух захватило! — сказала она. — С этой штукой надо осторожнее, она опасна. Сейчас,

по-моему, хорошо бы выпить. Вы не достанете две рюмки?

Файви поставил на стол две рюмки и сел — не напротив Кейт, а рядом. Нетвердой рукой Кейт разлила по рюмкам сливовицу. Она совсем забыла, какой у нее необычайный эротический аромат. На ладони словно бы отпечаталась текстура волосатого запястья Файви. Кейт оглянулась на него, и они выпили.

Кейт поставила рюмку на стол. Файви, повернув свой стул, сидел к ней лицом, держа рюмку в правой руке и положив на стол левую. Большая обмякшая рука внезапно вызвала у Кейт сравнение с лежащим геральдическим зверем. Странное что-то творится, думала Кейт, я и забыла, какой вкус у сливовицы — это чудо что такое! Очень медленно, обдуманно она накрыла руку Файви ладонью и подвигала ею слегка, смакуя осязанье волос, кожи, кости. Они продолжали в упор глядеть друг на друга.

Потом, церемонно и размеренно, точно собираясь пригласить ее на танец, Файви поставил свою рюмку, отодвинул подальше рюмку Кейт, придвинулся вместе со стулом, и рука его поползла по ее плечу. Каштановые усы приближались, все увеличиваясь в размерах. Кейт закрыла глаза.

— Октавиан, прекрати смеяться, ты ужасный человек!

— То есть, ты хочешь сказать, этот тип так-таки порывался тебя совратить?

— Нет, дорогой. Я же объясняла. Это я порывалась его совратить!

— А после сунула ему десятку на проезд к старушке маме?

— Ну хотя бы!

— Кейт, моя радость, ты сумасшедшая, я тебя обожаю!

— Я и сама, надо признаться, была несколько удивлена. Это, наверное, как-то связано с тем, что он оказался ирландцем. Или с тем, что моя перчатка упала в мусородробилку.

— Или с действием сливовицы!

— Да, как же, — сливовица! Мы прикончили всю бутылку. У меня голова просто раскалывается!

— По крайней мере, ты доказала, что он — гетеро-сексуалист.

— Это еще неизвестно. Может статься, работает в двух направлениях. Но — невозможно симпатичный, Октавиан, похож на какого-то сказочного зверя. И до того простодушный, прямехонько из деревенской глуши!

— Судя по его поведению — далеко не простодушный. В Лондоне полно мужчин, готовых хлопнуться в обморок от счастья, если б им за год знакомства удалось тебя разок поцеловать, а тут — за двадцать пять минут!

— Ох, Октавиан, эти божественные усы!

— М-да, в хорошеньком ты теперь переплете по отношению к Дьюкейну — его слуга угодил к тебе в кавалеры!

— Ты прав… Думаешь, я должна рассказать Дьюкейну? Кошмарная перспектива!

— Файви, во всяком случае, вряд ли станет ему рассказывать.

— Это — смотря в каких они отношениях. Может, в эту самую минуту точно так же обсуждают все это в постели и умирают со смеху!

— Оставь, ты сама в это не веришь.

— Да нет, конечно. Но вообще, это все такой стыд! Что подумали бы остальные, если б знали, чем я занимаюсь, пока они чинно ходят по магазинам!

— Вообрази себе сценки за обеденным столом! Взгляды, брошенные исподтишка! Соприкосновенья рук у тарелки с супом! Заранее предвкушаю это зрелище!

— Беда! Ты полагаешь, Джон будет задет?

— Полагаю, больно задет. И ни за что не поверит, что зачинщицей была ты. Он тебя не знает, как знаю я! Еще, чего доброго, выгонит Файви.

— Иначе говоря, он, по-твоему, не поймет?

— Да, не поймет.

— В таком случае мне нельзя ему рассказывать, правильно? Вот уж никак не хотела бы навлекать неприятности на бедного Файви.

— Ты оставила Дьюкейну записку?

— Нет. А бутылку и остаток каштанов унесла с собой!

— И не предупредила Файви, надо ли говорить, что ты заходила? Никудышная из тебя заговорщица! Завтра же с утра позвони ему!

— Не могу! Ой, Октавиан, какая же я противная! Нет, мне придется оставить все как есть, а если Джон заведет разговор о моем визите, придумаю что-нибудь уклончивое.

— Ну, меня ты определенно позабавила! С тобой никогда не соскучишься! Ты как, готова?

— Готова, милый мой. Ах, Октавиан, какое это удовольствие, быть за тобой замужем!

Глава восемнадцатая

Пирс, дядя Тео и Минго сошлись на берегу. Дядя Тео сидел, позволив Минго положить голову и передние лапы ему на колени. Пирс, наплававшись, растянулся ничком, забросив руки за голову. Тео уже некоторое время занят был созерцанием поджарого тела, распластанного рядом с ним, сперва — мокрого, теперь — сухого, смуглого от легкого, ровного загара. Поскольку никого из местных в пределах видимости не наблюдалось, Пирс купался нагишом. Дядя Тео тяжело вздохнул, погасив вздох на излете, чтобы он остался неслышен.

Правой рукой дядя Тео машинально ворошил и поглаживал мохнатую шерсть Минго. Минго, по общему мнению, напоминал скорее овцу, чем собаку; близнецы, те вообще были уверены, что к нему в родословную точно затесалась овца. Глаза у Минго были закрыты, но слабое подрагивание его жаркого тела — как бы внутреннее виляние хвостом, если можно так выразиться, — говорило о том, что он не спит. Сумрачный взгляд дяди Тео скользил по бессильно поникшим плечам, по

торчащим лопаткам, бокам, сходящимся к узкой талии, по тонким, но твердым бедрам и длинным прямым ногам того, кого Вилли Кост назвал «некий kouros». Ступни у Пирсовых ног — их дяде Тео становилось видно, если чуть податься вперед, — были по-детски сморщены и припорошены песком. Приятно было бы и любопытно их потрогать. Огрубелая и все-таки нежная кожа, соленая от морской воды.

Левой рукой дядя Тео перебирал розовато-лиловую и белую гальку, заполняющую малое пространство между ним и Пирсом. Эти камушки, доставляющие столько радости близнецам, были для Тео кошмаром. Их многочисленность и хаотичность вызывали у него содрогание. Промысл Божий лишь с трудом прослеживался сквозь непрозрачность вещества, и там, куда он не пробивался, оставались только сумятица и мерзость запустения. Так, во всяком случае, представлялось Тео, и то, что служило двойняшкам россыпями чарующе неповторимых сокровищ (они печалились, что нельзя одарить *каждый* камушек особым вниманием и унести с собою в дом), было для Тео поганым пространством, куда Дух даже и не заглядывал. Изнемогает ли здесь в предсмертных муках природа, размышлял

Тео, или кругом все мертво? Сумбур и мерзость запустения… Но разве не все на свете — сумбур и мерзость запустения, и разве сам он — не такая же бессмыслица, как эти камни, раз Бога на самом-то деле нет?

Общее впечатление было, что галька — розовато-лиловая или белая, но, если присмотреться внимательнее, в ней обнаруживались почти все промежуточные оттенки цвета, а также большое разнообразие размеров и форм. Все камни были округлые, при этом одни — плоской формы, другие — продолговатые, третьи — шаровидны; иные — полупрозрачные, иные — усеяны крапинками, были плотнозернистые, почти черные, попадались буровато-красные или светло-серые, изредка — фиолетовые с синим отливом. Тео, копаясь в камнях, вырыл ямку, и под тусклой, прожаренной на солнце поверхностью обнажились слои влажной блестящей гальки. Он поднял один камень и поднес к глазам. Камень был сплющенный, серый, со слабым веерообразным отпечатком какой-то окаменелости. Не стоило сохранять его для двойняшек, в чьей богатой коллекции таких насчитывалось предостаточно. Тео потер влажный камень о брюки. Потом бережно, с величайшей осторожностью положил его на

спинной хребет Пирса, ближе к талии, примостив на один из позвонков, образующих грациозно изогнутую линию, столько раз обласканную его взглядом. Пирс отозвался глухим стоном. Тео взял еще один камень и положил Пирсу на правое плечо, потом другой, для симметрии, — на левое. Увлеченный этим занятием, он слегка отодвинул Минго и принялся выкладывать у Пирса на спине симметричный узор из плоской гальки. Кладя осторожно каждый камушек, вытирая его перед тем и слегка согревая в ладонях (камни с поверхности, чересчур горячие, не годились), он прикасался кончиками пальцев к теплому телу, чуть шершавому от песка. Кульминацией этих действий, которую с жадностью предвкушал дядя Тео, которую нарочно оттягивал для вящего наслаждения, была та минута, когда он тихонечко, медлительно возложит по камушку на самое выпуклое место Пирсовых ягодиц.

Неожиданно послышался хруст, и на них упади две тени. Пирс перевернулся, осыпая градом камни, и сел. *Проклятье,* пронеслось в голове у Тео, *вот проклятье!*

— Можно, мы заберем у вас Минго? — спросил Эдвард. — Он нам нужен для игры в перышки.

— Он не пойдет, — сказал Пирс. — У них с дядей

Тео — любовь.

Пирс не потрудился прикрыть свою наготу в присутствии Генриетты, привыкшей наблюдать мужчин раздетыми.

— Если как следует попросить — пойдет, — сказала Генриетта. — Не откажет из вежливости.

— Давай, Минго, хватит прохлаждаться, — сказал дядя Тео, сгоняя пса со своих колен.

— Летающих тарелок не видели в последнее время? — спросил Пирс.

— Вчера видели одну. Мы думаем, это та же самая.

— Как интересно, — сказал Пирс, — никто этих тарелок не видит, только вы одни!

На тему летающих тарелок близнецы шутить отказывались.

Эдвард, не оставляя попыток привести в стоячее положение вяло упирающегося Минго, сказал:

— Ой, хоть бы дождь пошел поскорее!

Генриетта, поманив брата кивком в сторонку, стала нашептывать ему что-то. Эдвард выпустил Минго, и тот незамедлительно повалился снова наземь. После продолжительного шушуканья и возни Эдвард, прочистив горло, обратился к Пирсу официальным голосом, как это называлось на языке близнецов:

— Пирс! У нас тут есть одна вещь, и мы хотим ее тебе подарить.

— Что это? — процедил Пирс равнодушно.

Он опять улегся на гальку, только на этот раз лицом вверх.

Двойняшки подошли ближе, и Пирс нехотя приподнялся на локте.

— Вот, — сказал Эдвард. — Мы хотим отдать ее тебе, насовсем.

— С наилучшими пожеланиями, — сказала Генриетта.

Эдвард протянул что-то Пирсу, и тот принял подарок в шершавую от песка смуглую горсть. Тео, приглядевшись, увидел, что это окаменелость, причем замечательная: почти что безупречной сохранности аммонит. Изящная точеная спираль четко обозначалась на обеих сторонах камня, который вертел в руке Пирс; море сгладило острые края и затушевало рисунок как раз в меру, чтобы создать прекрасное творение. Тео знал, что такой подарок должен стоить немалой жертвы двойняшкам, которые ценили камни, исходя не только из научных, но и из эстетических соображений.

— Спасибо, — сказал Пирс, довольно неловко держа камень.

Эдвард попятился назад, точно собираясь отвесить поклон, и сразу вновь переключил свое внимание на задачу вернуть к жизни Минго. Пирс лениво встал. Близнецы, с бессчетными «Ну, пошли!» и «Хороший песик!», уломали собаку последовать за ними и уже двинулись было прочь по розовато-меловому и белому сверкающему простору, когда Пирс дернулся вдруг и выпрямился, будто его ударило током. Свернув пружиной свое нагое тело, он отвел руку назад, развернулся на пятках и мощным вращательным броском зашвырнул аммонит далеко в море.

Эдвард и Генриетта, на глазах у которых это произошло, остановились как вкопанные. Тео вскочил на ноги. Пирс отвернулся, став спиной к морю. Близнецы, держась очень прямо, продолжили свой путь в сопровождении Минго.

— Какая же ты свинья! — сказал Пирсу Тео. — Лучшего ничего не мог придумать?

Пирс оглянулся на него через плечо, с лицом, перекошенным до неузнаваемости наподобие японской маски. Да он вне себя от ярости, подумал Тео, хотя нет — он готов вот-вот разрыдаться.

— Ну-ну, спокойно, Пирс.

— Мне плохо до смерти, места себе не нахожу!

— Понятно. Только нельзя вымещать это на

близнецах.

— Может быть… А, да какая разница. Я всех ненавижу. Все черно вокруг.

Живо рисуя себе, как он заключил бы kouros в свои объятья, Тео вновь расположился на камнях, решительно подсунув под себя ладони. Пирс стоял между ним и морем, на светозарно-синем фоне воды и неба, выгибаясь всем своим смуглым телом, напрягая мускулы, словно узник, закованный в цепи.

— Тогда держи этот мрак в себе, — сказал Тео. — Не перекладывай на других.

— Если держать в себе, я просто умру. Вы когда-нибудь были безнадежно влюблены, дядя Тео?

— Был.

«Безнадежно» — это в самую точку, думал Тео, крепче упираясь ладонями в гальку.

Пирс, поникнув, с кривой усмешкой подобрал свои вещи и медленно зашагал по берегу в противоположном от близнецов направлении.

Тео хотел позвать его назад, но передумал. Ладно, пускай уходит, от безответной любви нет лекарства, ее нужно терпеть, и баста. Я же терплю, — пусть и он тоже терпит.

Тео поднялся, но не пошел вслед за Пирсом. Он побрел туда, где на отдалении виднелись близне-

цы, которые, отойдя немного, сели, усадив рядом Минго. Никакой игры в перышки они, судя по всему, не затевали. Подойдя ближе, Тео увидел, что Генриетта плачет.

Минго приветствовал Тео так, будто они год не виделись. Тео сел возле Генриетты.

— Перестань, моя пташечка, не огорчайся. Пирс очень несчастлив, ты это знаешь. А когда люди несчастны, они подчас ненароком причиняют страдания другим.

— Да, а чего он? — возмущенно вскричал Эдвард. — Если ему не нужно, мог бы отдать назад! Такой был чудесный камень!

— Самый красивый из всех! — причитала Генриетта. — Эдвард не хотел отдавать, я его уговорила, чтобы порадовать немножко Пирса. И зачем только уговаривала!

— Никогда не жалей, что сделала доброе дело, — сказал Тео. — Ты даже не знаешь, какая в нем кроется сила! Пирс обязательно придет к тебе извиняться, а ты обещай, что простишь его.

После недолгих препирательств двойняшки согласились даровать Пирсу прощенье. Генриетта еще некоторое время оплакивала горькую участь, уготованную аммониту в глубинах моря, покуда Тео и Эдвард совместными усилиями не

сумели утешить ее, расписывая, как хорошо будет аммониту болтать с крабами и рыбами — уж точно лучше, чем пылиться в Пирсовой спальне!

Кой черт меня дернул это сделать, спрашивал себя Пирс, натягивая штаны. Попрошу у них прощенья, хотя этим не поправишь дела. Ладно, плевать, мне все опостылели. Видно, Барбара правду говорит, что я испортился. Прекрасно, испортился, — значит, таким и останусь.

Барбара в настоящее время отсутствовала, гостя в городе у школьной подруги. Пирс надеялся, что с ее отъездом ему станет полегче — хотя бы притупится боль, но не учел, каким мучительным окажется сам факт, что ее нет. Мрачное настроение, которое под непредсказуемой пыткой ее присутствия отличалось резкими перепадами, теперь оформилось, отвердело, как будто он собирался с силами, готовясь выкинуть напоследок нечто отчаянное и непоправимое. Физическое желание обладать воображаемой Барбарой дразнило и растравляло его даже сильнее, чем то, которое он испытывал, глядя на нее живую и настоящую.

Он был не в силах удержаться и не ходить за ней по пятам, чем только раздражал ее, покуда она не объявила напрямик, что едет в город, что-

бы отдохнуть от него. Между ними разразилась бурная ссора, и, возвратясь потом к себе в комнату, Пирс обнаружил у себя на кровати все, что он в разное время дарил Барбаре. В отместку он сгреб и отнес к ней в комнату, кое-что сломав по дороге, все то, что когда-либо получал в подарок от нее, включая отличный универсального назначения ножик, привезенный ею из Швейцарии, которым он особенно дорожил.

Уже совсем одетый, только босой, Пирс стоял у кромки глянцевого моря, глядя на покато уходящие вниз подводные камни, проступающие на солнце сквозь зеленую толщу, неподвижную, но пузырчатую, словно бракованное стекло. Я придумаю ей наказание, думал он, так надо. А после заплыву в Ганнерову пещеру, останусь там — и утону.

Глава девятнадцатая

Мэри перелезла через невысокую кладбищенскую ограду. Синее в белый цветочек платье зацепилось за сверкающий край нагретого солнцем камня, насыпав в одну из ее босоножек струйку пересохшей земли.

Вилли, опередив ее немного, медленно пробирался по пружинистому настилу плюща. Податливая упругость под ногами сообщалась его телу, и он двигался ритмической поступью танцора, скрадывающей хромоту.

Мэри прислонилась спиной к ограде. Она не спешила догнать его. Жаркий день разомлел в густой, напоенной ароматами тишине, и Мэри вдыхала ее с наслаждением. Издалека, словно бы удостоверяя собой тишину наподобие подписи или печати, доносился голос кукушки. Мне лень шелохнуться, думала Мэри, я никуда не тороплюсь. Сегодня он у меня на поводу. Она усмехнулась при этой мысли.

С этой части кладбища не было видно ничего, кроме блекло-серых надгробий, которые, сужаясь кверху, сходили на нет, растворяясь

в избытке света, да шестигранной часовенки, стены которой, отметила Мэри, начинал уже оплетать мелколистный плющ. Пройдет время, и, подобно тому, как это случилось со столькими надгробиями, часовенка, вероятно, станет всего лишь возвышением под покровом плюща. За мерцающими очертаниями могил зияло пустотой послеполуденное небо, выцветший добела лучезарный провал.

Мэри тронулась с места и пошла — не следом за Вилли, а держась в стороне от него. Ее обутые в босоножки ноги ступали по тугому переплетению плюща, которое подавалось под ними, но, чувствовалось, не достигая при этом земли. Как будто по воде идешь, подумала Мэри, вода ощущалась бы под ногами таким же податливым плотным слоем, упруго подпирающим твои ступни. Она остановилась у одного из обелисков потрогать его чугунную ограду; на ладони остался ржавый след. Все время в ее сознании присутствовал Вилли, идущий неподалеку. Субстанция, из которой соткан был этот летний день, связывала их тела воедино, так что малейшее движение Вилли отзывалось в Мэри ощущением, будто ее несильно потянули за веревочку. Мы нынче похожи на сиамских близнецов, думала

она, только соединенных неким тягучим, восхитительно теплым излучением.

Вилли меж тем бросился на плющ, — с ходу, навзничь, как делают дети. Мэри подошла и, увидев, что он лежит с закрытыми глазами, неслышно села рядом, прислонясь к одному из надгробных камней — тому самому, с которого Пирс с таким усердием сдирал плети плюща, обнажая искусно вырезанное изображение парусника.

Вилли, почуяв по сотрясению настила приближение Мэри, нарушил тишину:

— О-хо-хо.

— Действительно!..

Мэри притихла, глядя, как светлым веером легли поверх плюща волосы Вилли. Какое маленькое и смуглое лицо, как тонок нос, как изящны худые руки… У Мэри нежно екнуло сердце, словно вдруг птичка села ей на палец, ухватясь за него коготками.

— О чем вы думаете, Мэри?

— Да так, о кладбище.

Ведь не станешь ему рассказывать про птичку!

— И что же?

— Сама не знаю. Мне кажется, эти люди, должно быть, прожили мирную, счастливую жизнь.

— Такое ни о каком людском сообществе сказать нельзя.

— Я чувствую их присутствие — в нем нет ни вражды, ни тревоги.

— Да, я тоже чувствую их присутствие. Однако земная оболочка у мертвецов претерпевает преображенье.

Мэри промолчала. Она не чувствовала в них ни вражды, ни тревоги, и все же кладбище наводило на нее страх, пусть по-своему не лишенный приятности, — особенно вот в такое послеполуденное время, схожее по насыщенности атмосферы с полуночью. Так какое же преображенье претерпевают усопшие? Ни черепов, ни гниющих костей воображение ей не рисовало. Мертвецы представлялись ей спящими, спеленутыми в белое, с темными пустыми глазами, — люди, уснувшие с открытыми глазами.

— Вы что-то дрожите, Мэри.

— Нет, все в порядке. Просто, наверное, слегка перегрелась на солнце.

— А давайте я вас полечу при помощи волшебного камня. Ну-ка, ловите!

Мэри успела поймать на лету зеленый предмет. На миг ей показалось, что он провалится в темные недра ползучего покрова, но нет — ее

рука ловко препроводила предмет к ней на колени. Оказалось, что это полупрозрачный кусок зеленого стекла, обработанный морем до почти идеально сферической формы.

— Ах, какая красота! — Мэри приложила его ко лбу. — И какой прохладный!

— И вы так мило залучили его к себе в подол! Знаете эту историю, как принцесса распознала принца, который прятался среди ее придворных дам? Кинула каждой из фрейлин мяч. Все женщины раздвигали колени, чтобы поймать мячик в свой подол, а принц, наоборот, сдвинул ноги вместе.

Мэри рассмеялась. Связь, объединяющая их тела, ощущалась ею как крутое завихрение пластичного, почти что различимого глазом вещества. Вилли, переменив положение, полулежал теперь, опираясь на могильный камень, — нет чтобы подвинуться и положить голову к ней на колени…

— Вы только не показывайте эту стекляшку близнецам, — сказала она. — Им так захочется получить ее, что вы не устоите.

— Но она уже подарена вам.

— Вот спасибо! — Она закрыла глаза, перекатывая прохладный шарик по лбу, по крылу носа, по

щеке. — Ах, Вилли, Вилли, Вилли!

— Што с фами?

— Ничего. Такое странное чувство… Поговорите со мной! Рассказали бы о себе — хоть что-нибудь, любую малость, в какие игрушки играли в детстве, с кем дружили, чем вам запомнился первый день в школе — что угодно!

— Ну хорошо, расскажу… Я расскажу вам о самом страшном из всего, что со мной случилось в жизни.

— Да?

Вот оно, думала она, сейчас все выйдет наружу, все как есть, — о Господи, только бы хватило сил это выдержать…

— Мне было тогда шесть лет.

— А-а.

— Мы поехали летом отдыхать, — продолжал Вилли, — на Черное море. Каждое утро мы с моей няней ходили в городской сад — она сидела вязала, а я делал вид, что играю. Но только делал вид, на самом деле я не умел играть вот так, на виду у всех, и потом — боялся других ребят. Я знал, что мне полагается бегать, и бегал, притворяясь, что изображаю лошадку. А сам все время тревожился, как бы кто-нибудь, увидев меня, не разгадал, что все это — одно притворство и я

— вовсе не беззаботное дитя, увлеченное игрой, а маленькое испуганное создание, которое тупо мечется туда-сюда. Я с удовольствием просто посидел бы спокойно рядом с няней, но она этого не позволяла, отсылая меня побегать, порезвиться. Были в саду и другие дети, но большей частью старше меня, — они гуляли своей компанией. И вот однажды в городской сад пришла белокурая девочка с черно-белой собачкой. Няня этой девочки села рядом с моей нянькой, и я затеял игру с их собачкой. Заговорить с девочкой или хотя бы рассмотреть ее как следует я стеснялся. На ней было синее бархатное пальтишко и синие башмачки. Вижу эти синие башмачки как сейчас. Они, пожалуй, — единственное, на что у меня в первые дни еще хватало духу скосить глаза. Девочка же оставалась чем-то расплывчатым, что виднелось недалеко от того места, где мы играли с собачкой. Играть с собачкой мне нравилось, с ней я играл взаправду, хотя гораздо больше мне хотелось поиграть с самой девочкой, но девочка каждый раз уходила и садилась возле своей няни, сколько та ей ни говорила, чтобы шла поиграть со мной, если хочет.

Мало-помалу она все-таки стала подходить, когда я гладил ее песика, а раз, когда я сидел на

траве, а песик валялся рядом, подошла и тоже подсела к нам, и я спросил у нее, как зовут собачку. До сих пор чувствую под рукой теплую, гладкую шерсть на спине собаки и вижу, как рядом девочкина рука треплет ей уши. Я и теперь вижу ее лицо, таким, как наконец-то разглядел его впервые, — круглое розовое личико с довольно блестящей кожей и нежным румянцем. У нее были короткие, очень светлые волосы и смешной сердитый ротик — я был сражен наповал! Мы поболтали немножко, и она предложила мне поиграть с ней. Я был единственным ребенком в семье и не умел играть с другими детьми. Знал лишь те игры, в которые можно играть в одиночку. И хоть я ответил ей согласием, но что при этом нужно делать — не знал. Она пыталась научить меня одной игре, но я слишком туго соображал, а тут еще и любовь мешала — да и вообще для этой игры требовалось, по-моему, большее число участников. Кончилось тем, что мы просто поиграли с песиком: носились взапуски с ним, дразнили его, старались обучить разным трюкам. Теперь я каждый день рвался идти в городской сад на встречу с девочкой и не помнил себя от счастья. Никогда в жизни, пожалуй, не был я так счастлив, как в те дни. И вот однажды

мне пришло в голову, что хорошо бы принести что-нибудь в подарок и девочке, и собачке, и я упросил родителей купить маленький прыгучий мячик желтого цвета, — и песику будет игрушка, и нам: будем забрасывать его подальше, а пес — приносить назад. Насилу дождался я завтрашнего утра, до того мне не терпелось показать желтый мяч своей подружке и научить собачку бегать за ним. Наутро я пришел в сад; девочка, в своем синем пальтишке и синих башмачках, была уже там, черно-белый песик вертелся у ее ног. Я показал ей желтый мяч, бросил его, песик погнался следом, схватил — мячик застрял у него в глотке, пес подавился и сдох.

— Боже мой!

Мэри привстала на колени. Развязка наступила так неожиданно, что она не нашлась что сказать.

— Какой ужас… Господи, Вилли… Что же дальше?

— Я не видел всего, меня увела няня. Целый день я бился в истерике и назавтра у меня начался жар. А потом нам пора было уезжать. Девочку я больше не встречал.

— Ох, Вилли… Какая жалость, мне так жаль!

Она умолкла. Далекий зов кукушки все долбил

и долбил стоячий воздух. В сознании Мэри, застилая собою кладбище, маячила картинка, похожая на побурелую от времени фотографию. Правильные дорожки городского сада, няньки, судачащие на лавочках, чинные, затейливо разодетые дети, вертлявый песик. Лихорадочно ища нужных слов, она хотела спросить, как звали девочку, но вслух выговорилось:

— А как звали собачку?

Ответом ей было молчание. Не может вспомнить, подумала Мэри. Она подняла глаза.

Вилли сидел неподвижно, обхватив руками колени; по лицу его текли слезы. Скривив губы, он приоткрыл рот, закрыл опять, — и со второй попытки выдавил:

— Ровер. Это был английский терьер, а им в те дни модно было давать английские клички.

— Милый мой…

Мэри неловко подалась вперед, стараясь найти точку опоры на пружинистом плюще. Припав к Вилли, обняла его сзади одной рукой и склонила голову ему на плечо. Вилли прикладывал к лицу чистый, сложенный вчетверо носовой платок. Мэри обняла его другой рукой и крепко прижала к себе, упираясь щекой в плечо его пиджака. Это его не утешает, с отчаянием думала она, по-

чувствовав, как напряжено его тело в плену ее рук, — нисколько не утешает. Она прижала его к себе еще крепче — и, отпустив, отодвинулась. Потоки яркого света поразили ее, как будто она только что выбралась наружу из темноты.

— Послушайте, Вилли, — сказала она, — слушайте и не подумайте, что я сошла с ума. Вы не женитесь на мне?

— Что?

— Я говорю, вы не хотите на мне жениться?

Она сейчас стояла на коленях напротив него. Вилли продолжал вытирать лицо платком. Поерзав, поджал под себя ногу. Медленно обвел кладбище взглядом, и, когда остановил его на Мэри, лицо его выглядело совершенно иначе, разгладилось, осветилось дурашливым и задорным выражением — таким она наблюдала его однажды, когда он под музыку Моцарта пустился в пляс по своей комнате.

— Какая прелесть! — проговорил он. — Мне еще ни разу никто не делал предложения! — И, когда Мэри попыталась было что-то сказать, прибавил тихо, почти шепотом: — Я, знаете, импотент…

— Вилли, Вилли! — разлетался по кладбищу пронзительный зов.

Они оглянулись: через ограду торопливо

перелезала Барбара. Едва касаясь голубыми босоножками темнозеленого ковра, девочка подлетела к ним:

— Ой, Вилли, Мэри, вы не видели Монтроза?

Оба сказали, что не видели.

— Его нет, где я только ни искала — нигде нет! Давно уже, он никогда не пропадал так надолго — пить молоко, и то не явился! Пирс говорит, значит, наверное, утонул…

— Чепуха, — сказала Мэри. — Кошки не тонут, они слишком сообразительны. Найдется, никуда не денется.

— Но где же он, — он не такой, как другие коты, у него нет привычки слоняться…

— Вот что, — сказал Вилли, не без труда вставая со своего плетеного сиденья. — Мы сейчас с тобой вернемся назад и поищем вместе. Не удивлюсь, если окажется, что он неподалеку — лежит себе и спит где-нибудь под кустом. Я помогу тебе его найти.

— Да я уже везде искала, он ведь всегда приходит к чаю, все сроки давно прошли…

Негромко приговаривая нараспев какие-то утешительные слова, Вилли повел ее к дому.

Мэри осталась сидеть на месте. Спустя немного стала медленно подниматься на ноги — и спо-

хватилась, вспомнив про кусок зеленого стекла, который подарил ей Вилли, бросил к ней в подол, как тот принц, что хотел найти принцессу, — а впрочем, конечно, в той истории все было наоборот. Должно быть, стеклянный шарик закатился куда-нибудь, когда она кинулась обнимать Вилли. Мэри принялась искать, по локоть засовывая руки в непролазное, темное, заплетенное сухими прутьями нутро плюща, но, сколько ни шарила там, зеленая стекляшка так и не нашлась.

Глава двадцатая

Громада литературы по римскому праву основана на толковании сравнительно немногочисленных свидетельств, существенная часть которых, к тому же, не внушает большого доверия, ввиду обилия в них чужеродных вкраплений. Дьюкейн не раз спрашивал себя, не есть ли его страсть к упомянутому предмету своего рода извращение. Существуют в гуманитарной науке области, — как, скажем, история Древней Греции или то же римское право, — в которых скудость фактического материала являет собой особый вызов для методичного ума. Это игра с крайне малым количеством фишек, когда искусство игрока состоит в умении усложнять правила игры. Отдельно взятый, голый факт надлежит представить органически включенным в ткань гипотезы, столь убедительной, чтобы он заговорил, — процесс плетения этой ткани и был тем, что увлекало Дьюкейна. Барахтаться в море фактического материала, каким располагает исследователь менее отдаленных эпох, было бы ему неинтересно. Присутствовал в этом его предпо-

чтении элемент эстетства, созвучного, вероятно, его пуританской натуре, склонности к тому, что свободно от шелухи, имеет четкие границы; что доказуемо и завершено. Все основанное на чистом опыте представлялось Дьюкейну слишком беспорядочным. И лишь одно в занятиях избранным им сухим и строгим предметом служило ему постоянным источником недовольства: чаще всего оказывалось, что самые интересные темы успел за несколько лет до него досконально исследовать какой-нибудь немец.

Сейчас Дьюкейн, который только что возвратился после вечера, проведенного с Октавианом, — и проведенного, вопреки их первоначальным планам, в разговорах о делах, — сидел у себя на кровати, листая написанную еще в Колледже всех душ работу о проблеме «буквального договора», и размышлял, стоит ли включить ее в сборник эссе, озаглавленный «Противоречие и парадокс в римском праве», который он собирался вскоре опубликовать. Сидел, прекрасно зная, что ему следует заниматься совсем не тем. Следовало написать письмо Джессике и оговорить время их встречи. Следовало набросать черновик очередного отчета о том, как продвигается расследование по делу Радичи. С первым он медлил

потому, что в письме невозможно было обойтись без вранья. Со вторым — потому что не решил еще, как ему быть с Ричардом Биранном.

Попытки Дьюкейновых доброхотов, таких, как Джордж Дройзен и прочие, выйти на след «Елены Прекрасной» пока что оканчивались неудачей. Не выявило ничего стоящего и состоявшееся негласно знакомство с домом Радичи и его банковским счетом, на которое лично Дьюкейну наконец-то даны были полномочия. То есть по крайней мере одна странность все-таки обнаружилась, и притом — негативного свойства. Выяснилось, что в библиотеке Радичи есть масса книг по магии, но нет никаких следов тех «занятий», о которых рассказывал Макрейт. Дьюкейн, хоть и несколько пристыженно, заранее с любопытством предвкушал, как будет осматривать специфические орудия труда, которыми пользовался Радичи, однако смотреть оказалось не на что. Из чего Дьюкейн заключил, что, должно быть, перед тем как покончить с собой, Радичи их уничтожил, а это, в свою очередь, указывало на то, что самоубийство совершилось обдуманно, а не внезапно, по наитию. Пользы, впрочем, от этого логического вывода было очень мало.

Дьюкейн покамест отложил — и склонен был

откладывать дальше — минуту, когда напрямую потребует объяснения от Бирранна, поскольку начинал понимать, что это — его последний козырь. Сведения о Бирранне, полученные от спецслужб, ничего достойного внимания, как он и предполагал, не содержали; осторожные расспросы и попытки анализа, предпринятые им самим, не принесли ни малейших плодов. Никакой «ниточки», которая вела бы к уяснению непостижимой связи Бирранна с Радичи, добыть не удалось, а встречаться с Бирранном, не разузнав гораздо больше, он не хотел. Бирранн был очень умен, такого не возьмешь нахрапом, объявив ему, что «все раскрыто». Все было далеко не раскрыто, и, разумеется, Бирранн не преминул бы это понять. Дьюкейн в глубине души не сомневался, что в отношениях этих двух людей так или иначе кроется ключ к разгадке самоубийства, однако данные, подтверждающие это, были, если вдуматься, не столько неопровержимого, сколько предположительного свойства. Ну да, Бирранн солгал, говоря, что почти не знаком с Радичи и — да, когда Радичи застрелился, это моментально обнаружил не кто иной, как Бирранн; мало того, он передвигал тело Радичи или, во всяком случае, производил с ним некие манипуляции. Но

если, при всем том, Бираннy заблагорассудится утверждать, что неправду он брякнул на нервной почве, а тело покойного трогал из безотчетного любопытства, — что тут возразишь? А то, что он так быстро подоспел к месту происшествия по чистой случайности, вполне могло оказаться правдой.

Дьюкейн повторно рассмотрел предположение, что Радичи действительно убил Бираннa, и неувязка с отпечатками пальцев левой и правой руки — либо оплошность, либо хитрый умысел. Но это не помогло рассеять его сомнения: оплошность представлялась чересчур маловероятной, цель умысла — слишком запутанной и неясной. Если Бираннa наблюдал, как Радичи совершает свои магические обряды, разве он мог не знать, что Радичи — левша? Вообще говоря, Дьюкейну было по собственному опыту известно, что леворукость часто остается незамеченной, да и потом, вовсе не сказано, что посещения Бираннoм дома Радичи были каким-то образом связаны с магией. В целом версия об убийстве не убеждала Дьюкейна. Он был достаточно твердо уверен, что Радичи сам воспользовался револьвером, а Бираннa, занимаясь то ли поисками, то ли еще неизвестно чем, не подумав, отодвинул оружие

и, возвращая его на прежнее место, машинально положил возле правой руки. В конце концов, — и, вероятно, очень скоро, — ему придется призвать Бирранна к ответу. Разговор, о котором он думал без всякого удовольствия, предстоял решающий, и наделать в нем ошибок было бы недопустимо. Он хотел не только застигнуть Бирранна врасплох, но и располагать достаточной информацией, чтобы подготовить ему ловушку. В данный момент, однако, удрученно подытожил Дьюкейн, доискаться чего-либо еще попросту не представлялось возможным — ну разве что, вздернув Питера Макрейта на дыбу.

— Там, сэр, какой-то господин вас спрашивает внизу. Назвался Макрейтом.

Дьюкейн вздрогнул от неожиданности. Файви, который предпочитал не входить в комнату, если мог ограничиться тем, чтобы просунуть в дверь голову, стоял в наклонном положении, навалясь под углом в сорок пять градусов на дверную ручку. Даже усы его свидетельствовали о силе земного притяжения.

— Где он? Я сейчас спущусь.

— Он в холле, сэр.

Файви посторонился, пропуская хозяина, и обдал его едкой, кисло-сладкой волной непри-

вычного запаха. Дьюкейн, спасаясь, поспешил пройти мимо. Файви, гудя себе под нос: «Красавец Чарли далеко-далеко»[32], потопал вниз по узкой лестнице следом за ним.

На миг перед Дьюкейном мелькнули огненная копна Макрейтовых волос, молочно-голубые глаза. После чего их заслонила крупная фигура Файви, который, обойдя Дьюкейна неверной танцующей походкой, торжественно распахнул перед ним двери маленькой гостиной и включил свет. Макрейт, отведя взгляд от Дьюкейна, вытаращился на Файви, который прислонился к притолоке с видом скорее стороннего наблюдателя, чем слуги, чья обязанность — провести людей в комнату.

— Входите, пожалуйста, — сказал Дьюкейн.

Макрейт прошел в гостиную, не отрывая глаз от Файви, а войдя, еще и оглянулся на него. Файви отвечал ему немигающим взглядом. Дьюкейн вошел вслед за Макрейтом, вдохнув опять тот же въедливый, чуть маслянистый аромат. Файви не столько отступил, сколько отвалился от порога и, бубня: «Когда ж вернешься ты назад?», удалился в направлении кухни.

---

[32] Примечания: 32

Принц Карл Стюарт (1720–1788) по прозвищу «Красавец принц Чарли», сын короля Якова I; возглавил восстание якобитов в 1715–46 гг.

Дьюкейн в сердцах хлопнул дверью.

— Поздновато являетесь в гости, Макрейт.

— Он кто? — сказал Макрейт.

— Мой слуга.

— М-м. Класс! Только чудной какой-то. Не хворый, часом?

— Нет. А что?

— Вся рожа в пятнах.

— Это веснушки.

— И вроде хлебнул лишнего. Малость под мухой.

— Садитесь, Макрейт. Рассказывайте, с чем пришли. Надеюсь, вам есть что еще мне сообщить.

Дьюкейн задернул шторы. Он опустился на банкетку у камина и указал Макрейту на обитое ситцем кресло. Макрейт тоже сел.

— Итак, давайте, — сказал Дьюкейн. — Выкладывайте. Поверьте, вы не пожалеете, что сказали мне правду.

Макрейт подался вперед, внимательно вглядываясь в лицо Дьюкейна.

— То есть, я так понимаю, сэр, что могу ожидать с вашей стороны… ну, это… вознаграждение?

Ах вот оно что, подумал Дьюкейн.

— Если вы спрашиваете, заплачу ли я вам за дополнительные сведения, боюсь, ответ будет

— нет. Я имею в виду другое — если впоследствии обнаружится, что вы скрыли нечто существенное, вам могут грозить серьезные неприятности.

Дьюкейну и самому, конечно, приходило в голову, что под влиянием такого стимула, как деньги, у Макрейта легче развязался бы язык, но он отверг эту мысль. На сдержанность подобного субъекта полагаться не приходилось, и к тому же такого, похоже, скорее заставишь разговориться угрозами, а не добром. Дьюкейн меньше всего желал бы вступать с этим типом в доверительные или мнимо-сердечные отношения, да и потом, был убежден, что все равно не приобрел бы за свои деньги ничего, кроме лжи.

— Ошибочка, сэр, — сказал Макрейт. — Я вам про мистера Радичи все, что знал, уже высказал. Я не насчет него к вам пришел.

— Тогда как понимать слова о вознаграждении, если вам нечего прибавить к сказанному ранее? Предупреждаю вас, Макрейт, вы играете в опасные игры! Будь вы сейчас откровенны со мной, я мог бы в будущем оказать вам содействие. В противном случае…

— Вы понимаете, сэр, тут совсем другое. У меня, честно говоря, зародился один планчик, и я подумал, может, вам будет интересно…

— Сомневаюсь, Макрейт, чтобы для меня мог представлять интерес какой бы то ни было план, связанный с вами, — кроме того, который я вам изложил.

— Но он связан с вами, сэр, этот планчик, и вам, думается, будет все же интересно…

— Вы о чем?

— Как бы это получше объяснить… Короче, сэр, я подумал, не сочли бы вы, например, возможным выплачивать мне на постоянной основе то скромное пособие, какое я получал за свои, проще сказать, услуги от мистера Радичи?..

Дьюкейн посмотрел на него. Бело-розовая физиономия Макрейта хранила младенчески невинное выражение, круглые белесо-голубые глаза лучились доброжелательностью, карамельно-пунцовые губы растянулись в заискивающей улыбке. Вид его вызвал у Дьюкейна прилив гадливости. Он сказал:

— Боюсь, я не нуждаюсь в услугах.

— Я, в общем-то, сэр, и не предлагаю ничего такого, хотя, понятное дело, в любое время рад был бы услужить. Но вы то поймите, сэр, что я до крайности нуждаюсь в средствах и полагаю, мне сколько-нибудь да причитается, раз я лишился работы. Работы, сэр, и плюс к тому пенсии.

— Я, безусловно, не намерен давать вам деньги, — сказал Дьюкейн, — и удивляюсь, что вы об этом просите. Найдите себе другую работу. Боюсь, что ваше материальное положение — не моя забота. А вот о мистере Радичи, Макрейт, уверен, у вас еще осталось что сообщить. Скажем, когда вы бывали у него…

— Нет-нет, сэр, речь не о том. Про мистера Радичи я все, что мог, уже рассказал. Мне нужно от вас вспомоществование, сэр, небольшая сумма денег, фунта два в неделю, только-то…

— Попусту теряете время, Макрейт, — сказал Дьюкейн, вставая. — Итак, если вам…

— Пожалуй, что лучше будет не ходить вокруг да около, — сказал Макрейт, — а уж как не хотелось бы доставлять огорчения такому приятному, обходительному господину! Может, взглянете на вот это?

Макрейт держал два больших листа глянцевой бумаги, похожих на фотографии. Дьюкейн машинально протянул руку и взял их. Это действительно оказались фотографии. И в тот же миг, похолодев от внезапности и тревоги, он увидел, что это фотоснимки писем, написанных знакомым почерком.

— Какого дья…

— Я, видите ли, сэр, позволил себе позаимствовать эти два письма со стола в вашем служебном кабинете.

Дьюкейн пробежал глазами письма, и краска ярости и стыда залила его лицо. Он сделал глубокий вдох и сказал, стараясь звучать как можно более невозмутимо:

— На этот раз, Макрейт, вы явно зашли слишком далеко. Теперь вами займется полиция. Что вы рассчитывали делать с этими письмами?

Макрейт тоже встал. Его пунцовые губы подрагивали, выдавая легкое волнение, но смотрел он дерзко и прямо.

— А ничего, сэр, не рассчитывал. Если, то есть, вы сочли бы возможным взять на себя то скромное пособие, что мне выплачивал мистер Радичи. У нас по данному вопросу было с мистером Радичи полное дружеское согласие, ни обид, ни трений. И что значат два-три фунта в неделю для богатого господина вроде вас?

— Понятно, — сказал Дьюкейн. — А если я пошлю вас с вашим скромным пособием к чертям собачьим?

— Ну, в таком разе, сэр, я буду вынужден отослать эти письма молодым дамам. В смысле, каждой из молодых дам — письмо от другой.

Письма были от Кейт и от Джессики.

— Ведь что удобно, сэр, — обе дамы, обратите внимание, пишут от руки, — почерк у них, осмелюсь заметить, загляденье! — и обе проставляют дату, указывая также и год! Притом у меня, само собой, имеются конверты, честь-честью, с марками, а на конвертах стоит ваше имя.

Письма, надо сказать, были написаны через день одно от другого.

Дьюкейн торопливо соображал. О том, чтобы поддаться этому наглецу, естественно, не могло быть и речи. В то же время допустить, чтобы Кейт и Джессика… Такое было просто выше сил!

Он сказал:

— Боюсь, вы просчитались, Макрейт. Каждая из этих молодых дам, как вы изволите их называть, прекрасно осведомлена о моем расположении к другой. Вам нечем пригрозить мне, поскольку то, что вы затеваете, меня ничуть не трогает.

— Я, сэр, конечно, извиняюсь, — сказал Макрейт, — упаси меня Боже ловить вас на неправде, но разве стал бы я приходить к вам по такому делу без всякой подготовки? Я позаботился сперва провести небольшое расследование. Хотите знать какое? Видите, обе дамы пишут на шикарной бумаге, где обозначен их адрес и телефон. Подпи-

сываются, дай им Бог здоровья, своим именем, четко и разборчиво, так что узнать их фамилии не составило большого труда. А после я звоню им обеим и каждую прошу позвать другую, и мне в ответ удивляются и говорят, что никакой такой не знают.

— Изобретательно, Макрейт, в этом вам не откажешь, — сказал Дьюкейн.

Он стал читать письма.

Кейт писала:

> «Джон, светик мой, я так соскучилась, — кажется, целый век осталось ждать до нашей чудесной *встречи в конце недели!* Ужасно думать, как Вы там один-одинешенек в Лондоне, — но ничего, еще немного, и мы опять будем вместе! Не забывайте, что Вы принадлежите мне, а я — страшная собственница! И своих прав не уступлю! Не оставляйте же меня надолго, милый мой, старайтесь приблизить день и час свидания. Какое блаженство, Джон, говорить Вам о любви и знать, что мы чувствуем одно и то же!
>
> Люблю, люблю!
>
> Ваша Кейт.

P.S. Вилли Кост шлет Вам привет и тоже надеется на скорую встречу».

Джессика писала:

«Мой ненаглядный, мой бесценный Джон, это — всего лишь очередное из моих ежедневных посланий, в которых я пишу о том, что тебе и без того известно: что безумно люблю тебя. Ты был так невероятно добр ко мне вчера после моей безобразной сцены — знай же, как я невыразимо благодарна, что ты остался! Целый час потом лежала на кровати и плакала благодарными слезами. Видишь, любовь в конечном счете всегда заставит нас уступить! И потому я дня не пропущу, чтоб не послать тебе подтверждение своей любви! Я верю, что у нас с тобой есть общее будущее! Тысячу раз твоя

Джессика».

Проклятье, выругался про себя Дьюкейн. До чего же ему не хотелось, чтобы эти две женщины увидели письма друг друга! Бесполезно было бы объяснять Джессике, что у Кейт просто восторженный склад натуры, или объяснять Кейт, что

Джессика обитает в придуманном ею мире. Письмецо Кейт выглядело в точности как записка от любовницы. Джессика будет уверена, что он ей лгал, и мысль об этом была нестерпима! Разлуку с Джессикой он мог пережить спокойно, но чтобы она так дурно думала о нем — не мог… С письмом от Джессики обстояло еще хуже. Пожалуй, можно было бы попробовать признаться Кейт во всем начистоту, но нежное романтическое очарование их отношений будет утрачено безвозвратно, и Кейт, вполне справедливо, будет чувствовать себя обманутой. Да и поверит ли она ему до конца? Во всяком случае, прежнего между ними уже не будет никогда. И в то же время Дьюкейн с пугающей ясностью сознавал, что выхода нет. Пойти на сделку с Макрейтом было нельзя, положение создалось бы невозможное, не говоря уже о предосудительности такого шага. Оставалась одна надежда: припугнуть негодяя.

— Усвойте себе твердо, Макрейт, — сказал Дьюкейн, — я не соглашусь на ваше гнусное предложение. Вы не получите от меня ни гроша. А если вздумаете отослать эти письма упомянутым двум дамам, я немедленно отправляюсь в полицию и предъявляю вам обвинение в шантаже. Не убежден, что длительное пребывание в тюрьме

придется вам по вкусу.

— Зачем же так-то, сэр, — не стоит, — сказал Макрейт, всколыхнув ухмылкой припухлости своего лица. — Вы это, думается, не серьезно. Потому что при таком раскладе, сэр, мне просто останется рассказать эту историю ребятам из газет. Вы представляете, как расстроятся обе молодые дамы!

— Ах ты, подлец! — вырвалось у Дьюкейна.

— Зря вы так горячитесь. В конце концов, сэр, мы с вами сейчас на равных, у вас есть свой интерес, у меня — свой. И почему ваш должен перевесить?

Главное сейчас — выиграть время, думал Дьюкейн. Пока он верит, что я могу раскошелиться, он писем отсылать не станет. Придется объяснить все это Кейт и Джесс, подготовить их, делать нечего. Вот только — как?.. Вслух он сказал:

— Что ж, у вас сильная позиция, Макрейт, не стану отрицать. Голова у вас работает, поздравляю. Я обдумаю ваш план. Допускаю, что мы, возможно, и договоримся, при том условии, что ваши запросы будут действительно очень скромны. Если же ваши аппетиты возрастут, предупреждаю — я непременно обращусь в полицию. Я подумаю — только на это мне нужно

время. Заходите денька, так, через три.

— Спасибо, сэр, большое спасибо! Я знал, что вы отнесетесь, как бы сказать, спокойно и рассудительно. Не мог бы я, сэр, по такому случаю понадеяться на небольшую наличность, без никаких для вас обязательств, всего лишь в знак дружеского расположения?

— Относительно нашей дружбы у меня есть сомнения, — сказал Дьюкейн. — Но впрочем, вот вам два фунта.

— Ох, спасибочки, сэр! И еще, — я извиняюсь за такое нахальство, но помните, сэр, что в любой момент имеется Джуди, моя, значит, супруга, и что мы — Джуди, стало быть, и я — всегда друг друга поймем, она у меня сговорчивая по природе, философски смотрит на вещи, если можно так выразиться, а вы ей, сэр, как раз очень приглянулись, так что если вам когда придет охота…

— Да как вы смеете так говорить со мной о своей жене! — вскричал Дьюкейн. — Убирайтесь! Вон отсюда!

Он метнулся к двери и распахнул ее.

От двери торопливо отскочил Файви и сделал вид, что наводит порядок на столе, стоящем в холле.

— Подслушивали, да? — рявкнул на него Дью-

кейн. — А ну, Макрейт, пошел вон!

— Ладно, сэр, хорошо, но я еще зайду, как мы условились, — бормотал Макрейт, прошмыгивая в холл.

Поравнявшись с Файви, он задержался на мгновенье, и оба, точно два пса, застыли, воззрясь друг на друга. Затем Макрейт выскочил в парадную дверь.

Дьюкейн напустился на Файви.

— Вы пьяны! — крикнул он. — Я это понял уже по вашему дыханию! Подите проспитесь! И если я когда-нибудь еще поймаю вас на том, что вы подслушиваете, — рассчитаю на месте!

Файви качнулся, обласкал Дьюкейна недоуменным и укоризненным взглядом ясных карих глаз, совершил оборот кругом и с большой осторожностью начал подниматься по лестнице. Дьюкейн вернулся в гостиную и захлопнул дверь.

Он разорвал фотографии на мелкие кусочки. Потом сел и обхватил голову руками. Честно говоря, он без зазрения совести обманывал Кейт и Джесс. Никаких «объяснений» для подобного поведения не существовало. Оно все равно будет выглядеть гадко, в точности таким, какое и есть. Он получит то, что заслужил. И в довершение всего, этот сукин сын имел наглость предложить ему

свою жену! Невероятно, чтобы Джуди Макрейт... В эту минуту Дьюкейну внезапно открылось нечто такое, о чем следовало бы догадаться давным-давно.

Глава двадцать первая

— Што с фами, Пола?

— Венера, Купидон, Прихоть и Время.

— Что-что?

— Нет, ничего.

— Когда же мы приступим к чтению «Энеиды»?

— Потом. После… Словом, потом.

— После чего?

— Просто — потом.

— Да что с вами, дружок?

— Ничего, Вилли. Вон Барбара к вам идет. Мне пора. Благодарю за урок.

Неустанно движется на север по Индийскому океану корабль Эрика; Эрик стоит на носу, он — ростр этого корабля; большое лицо его отполировано ветром, литая грива золотистых волос откинута назад. Он подался всем телом вперед, поверх сверкающего моря, устремляя на север, навстречу роковому свиданью, обжигающий узкий луч своей воли. Неутоленную ярость несет он в себе на предстоящую им встречу. Что можно противопоставить ей? Достанет ли все еще любви

для исцеления или уже потребно только мужество перед напором силы? Что пользы теперь даже спасаться бегством, если тебя непременно найдут, и твое бегство сведется к боязливому ожиданию, где-нибудь в чужой комнате, того, что с лестницы послышатся неотвратимые шаги? Нет, нужно ждать его здесь, ждать без единого слова, плотно сжав губы, никому не делая признаний, ни к кому не взывая о помощи. Слишком поздно; теперь уже и гордость не позволит. Такое пиршество ума, утонченности, высоколобой учености — и после этого приходит то, что ты должна принимать тупо и молча. Эрика больше не обуздать и не укротить — его придется, к чему бы это ни привело, безропотно терпеть. Вот для чего и потребуется мужество — для этого безоглядного долготерпения, когда тебя, втайне от всех, будут разнимать на части; для готовности отдать, в какой бы странной форме об этом ни попросили, око за око и зуб за зуб. Так будет, — и причиной тому не только неуклонное приближение корабля, но и отринутое без искупления прошлое, заживо погребенное в своем сатанинском безмолвии. Пусть же теперь ей хватит сатанинского мужества достойно встретить эту воскресшую кровоточащую тень. Но ах, как слаб человек, как

жадно он ищет опоры, как жалобно причитает душа — хоть бы всего этого никогда не было, хоть бы опять все стало, как прежде! Как горько вспоминать о свежевыкрашенной двери и о красивой женщине, входящей в эту дверь! Какая горечь оттого, что вспоминать об этом горько! Ах, Ричард, Ричард, Ричард!..

— Ты почему здесь одна, Генриетта? А где Эдвард?

— Пошел искать Монтроза.

— Да ты плачешь, деточка? Что случилось, моя киска? Ну-ка сядь, расскажи мне.

— Все плохо.

— Так. Что плохо? Расскажи, давай разберемся.

— Монтроза не найти нигде.

— Монтроз нагуляется и придет. Кошки всегда так делают. Можешь не беспокоиться о нем.

— А в нашем заповедном пруду мы нашли мертвую рыбку.

— Когда-то и рыбам, Генриетта, приходится умирать, как и людям.

— А сорока, бессовестная, утащила бедного лягушонка, мы сами видели.

— Ну надо же сороке чем-то питаться! А лягушонок, наверное, даже не сознавал, что происходит.

— И зачем только животные мучают друг друга!

— Ведь и мы, люди, тоже мучаем друг друга!

— И потом, мы подобрали чайку со сломанным крылом, а дядя Тео утопил ее.

— Правильно сделал, Генриетта, ничего другого не оставалось.

— А сегодня ночью мне приснилось, что мы опять живем с папой и снова все хорошо, и так жалко было просыпаться… Ты что, мамочка? Ну вот, мама, теперь ты тоже плачешь…

— А я разучила ре-бемольный квартет для флейты!

— Я знаю.

— Зачем вы подслушивали? Я готовила вам сюрприз!

— Я слышал, как ты играла на днях, когда проходил недалеко от дома.

— Можно, я приду и сыграю его для вас?

— Нет, нельзя.

— Но почему? Вы ведь раньше пускали меня к себе поиграть!

— Раньше — да, теперь — нет.

— Но почему же, Вилли?

— Мне слишком мучительно слушать музыку, дорогая моя Барбара.

— Думаете, я плохо сыграю? Я сделала большие успехи!

— Нет-нет, я слышал, ты играешь прекрасно.

— Вилли, а почему вы не научите меня немецкому языку? Как Пирсу преподавать латынь — так пожалуйста, а как мне немецкий — так нет!

— Нет, потому что нет.

— Не пойму я вас. По-моему, вы стали какой-то противный. Все ведут себя противно. А уж Пирс — тем более.

— Пирс влюблен.

— Подумаешь! А как это, Вилли, когда человек влюблен?

— Я уже забыл.

— Да, — вы, пожалуй, староваты для этого. Но если я влюблюсь в кого-нибудь, то не стану вести себя с ним противно.

— Отличное правило, Барбара. Не забудь его, когда подоспеет время.

— А помните, вы любили повторять, что я — Титания, а вы — осел?[33]

— Правда? Что ж, я — по-прежнему осел. Я завтра еду в Лондон, Барби.

— Да, знаю. Вы остановитесь на два дня у Джо-

---

[33] Примечания: 33
Персонажи пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь».

на. Джон говорил мне.

— Еду поработать в библиотеках.

— Я к вам приду, как только вы вернетесь. А то, когда папы с мамой нет, мне одиноко.

— Я буду занят работой. Приходи в конце недели.

— Но почему не сразу по вашем приезде?

— «Nam excludit sors mea “saepe veni”»[34].

— Вы все время говорите по латыни — вы же знаете, что я не понимаю! Может быть, поняла бы, если б это было написано. Я ведь не говорю по-латыни, а вы еще и произносите так непонятно…

— Ладно, не бери в голову.

— Ну что вы такой противный, Вилли, когда мне и без этого несладко из-за Монтроза!

— Из-за Монтроза волноваться нечего, Барби, — объявится. Может коту прийти охота пошататься по окрестностям?

— Но такого до сих пор не бывало! Он — не то, что другие коты. Его и не потянет шататься.

— Никуда он не денется, голубка, я уверен. Ну будет, будет, не плачь! Я ужасно расстраиваюсь, когда ты плачешь…

— Я думаю, вас это совсем не трогает! Вас ничем

---

[34] Примечания: 34

«Раз, по веленью судьбы, смолкло: “Почаще ходи!”». Проперций, «Элегии». Кн. II, эл. 25 стих II пер. Льва Остроумова.

не пронять!

Барбара, сидящая на полу возле кресла Вилли, обвила руками его колени. Вилли резким движением встал, шагнул из кольца ее рук и подошел к окну.

— Я сказал, хватит плакать, Барбара!

От удивления у Барбары иссякли слезы; она осталась сидеть, всхлипывая и вытирая глаза, выставив из-под белого в зеленую крапинку платья плотно сдвинутые голые коленки, похожие на двух светло-бурых птенцов в гнезде.

Вилли, вцепившись одной рукой в подоконник, сдвинул в сторону камушки — последнее подношение близнецов, отодвинул стакан с поникшей, окончательно увядшей крапивой и уставился сквозь швейцарский бинокль в пустое пространство. Надо уезжать отсюда, думал Вилли. С каждым разом невозможность схватить Барбару в объятья доставляла ему все больше страдания.

— На что вы смотрите, Вилли?

— Ни на что, девочка.

— Нельзя смотреть ни на что! С вами сегодня совсем неинтересно. Я уж лучше пойду.

— Не уходи, Барби! А впрочем, и правда иди, пожалуй. Мне нужно работать.

— Хорошо, пойду покатаюсь на пони. И не до-

ждетесь, чтобы я сыграла вам Моцарта!

— У меня к тебе одна просьба — исполнишь, Барб?

— Посмотрим. Какая просьба?

— Ступай разыщи Пирса, и будь с ним поласковей.

— Все может быть. Зависит от настроения. Счастливо вам съездить в Лондон!

Когда она ушла, Вилли Кост запер дверь, пошел в спальню и лег ничком на кровать. Физическое напряжение, испытанное за последние полчаса, отняло у него все силы; его трясло. Непонятно было, что хуже — когда она прикасается к нему или держится на расстоянии. Влечение, острое до боли, чуть-чуть стихало под ее прикосновением. Но сдерживаться в такие минуты, когда каждый нерв и мускул в его теле рвались к ней, стоило нечеловеческих усилий. Сидеть сиднем, когда она ерошит ему волосы или гладит его по колену, требовало такого расхода физических сил, что у него потом ломило все тело. Воображение, живо рисующее ему, как он ее обнимает, страстно целует, сажает к себе на колени, обволакивало облаком сладостной муки.

Я думал, может быть, станет полегче, говорил сам с собой Вилли, но стало, кажется, только

хуже. Нужно что-то предпринять. Мне придется уехать, — если так будет продолжаться, я с ума сойду. Он велел себе думать о Мэри, и мало-помалу к нему, подобно легкой дымке, стала подкрадываться блаженная целительная расслабленность. Он не был влюблен в Мэри, но искренне любил ее, и был гораздо больше растроган и пленен ее предложением, чем сумел это выразить во время двух теплых, неловких, косноязычных встреч, которые состоялись между ними после сцены на кладбище. Возможно, он и в самом деле женится на Мэри и не откладывая увезет ее отсюда. Возможно, в этом — решение всех проблем. Почему бы ему, даже сейчас, не попытать счастья? Или уже слишком поздно? Или прошлое действительно сломило его?

Так лежал он без движения ничком на постели, а солнце меж тем клонилось к морю, и вечер сперва заставил краски на берегу полыхать огнем, а после накрыл их прозрачной летней синей темнотой. Вилли лежал с открытыми глазами и молча слушал, как в дверь стучится Тео, — стучится долго, а потом медленно уходит прочь.

Глава двадцать вторая

«Вы, горы, вы, долины,
Где были вы, когда
Убили графа Мари,
Убили без стыда»[35].

— Да сколько можно, Файви, наконец! — крикнул Дьюкейн в открытую дверь гостиной.

В ответ хлопнула дверь на кухню. Вслед за тем хлопнула дверь в гостиную.

— Простите, Вилли, — сказал Дьюкейн. — Нервы шалят.

— Што с фами?

— А, ничего. Гнетет эта солнечная погода изо дня в день. Это противоестественно.

— Любопытно, зимой эти занятные пятна пропадают?

— Вы о чем толкуете, Вилли?

— Ну, веснушки на вашем дворецком или кто он там у вас?

— Господи! Я даже не задумывался на эту тему. Надеюсь, не пропадают. Они мне, в принципе,

---

[35] Примечания: 35
Оксфордская книга баллад, «Пригожий граф Мари».

нравятся! — Дьюкейн рассмеялся. — Вы подняли мне настроение, Вилли. Не выпьете чего-нибудь?

— Глоточек виски, пожалуй, на сон грядущий. Спасибо.

— Вы здорово загорели. Нежитесь на солнышке?

— Просто лень одолела.

— И заметно повеселели.

— Просто дурь нашла.

— Октавиан и Кейт благополучно отбыли?

— Да, под обычный гам и тарарам.

— Надеюсь, им понравится в Танжере. Мне лично он больше всего напомнил Тоттнем-Корт-Роуд[36].

— Таким, как они, понравится везде!

— Это верно. Счастливого склада люди.

Вилли и Дьюкейн, не сговариваясь, вздохнули.

— Счастье, — заметил Вилли, — это когда твое сознание самым будничным и естественным образом работает, живет полной жизнью и совершенно не занято собой. Ну, а проклятье — когда таким же будничным и естественным образом сознание непрестанно и мучительно поглощено

---

[36] Примечания: 36

Улица в Лондоне, известная своими магазинами радио-, теле- и прочей аппаратуры.

как раз собою.

— Готов согласиться. Кейт с Октавианом — гедонисты, но они не сосредоточены только на себе, и оттого другим рядом с ними хорошо.

Вот та минута, думал Дьюкейн, когда я мог бы, если б очень постарался, заставить Вилли рассказать о себе. Ему, похоже, самому хочется излить душу. Но я не могу, меня слишком гнетут собственные невзгоды.

— Как там вообще, — прибавил он, — все нормально?

— И да, и нет. Я с ними не очень-то и вижусь. Пола чем-то озабочена, что-то гложет ее изнутри.

В этом она не одинока, мрачно подумал Дьюкейн.

— Жаль это слышать, — сказал он. — Надо бы мне уделять Поле больше внимания.

С ходу, не рассуждая, решаю, что для каждого самое необходимое — моя помощь, сокрушенно подумал Дьюкейн.

— Правильная мысль, Джон. А Барбара, бедняжечка, все горюет из-за кота.

— Что, кот так и не нашелся?

— Да нет.

— Придет, будем надеяться. Барби — очень славная девочка, но, конечно, избалована донельзя.

— М-мм.

Дьюкейна не покидало ощущение, что пошатнулись его нравственные устои; ощущение было крайне непривычным и, соответственно, вселяло тревогу. Он относился к числу людей, которым необходимо быть о себе хорошего мнения. В значительной степени жизненную энергию в нем питали чистая совесть и активный, осознанный альтруизм. Дьюкейн, как он сам только что мысленно отметил, привык видеть себя самостоятельным, сильным, порядочным человеком довольно строгих правил, для которого естественным видом деятельности была помощь другим. Если Пола попала в беду, значит, само собой, главное, что нужно Поле, — это поддержка, советы и сочувствие Джона Дьюкейна. Подобный ход мыслей возникал автоматически. В теории Дьюкейн знал, что собственный идеальный портрет бывает часто обманчив, однако в его случае развенчание упомянутого портрета завершилось не ясной картиной неприглядной правды, а только кашей в голове и чувством немощи. Не в состоянии я никому помочь, думал он, и не потому лишь, что недостоин этим заниматься, а потому, что больше не в силах — не в силах протянуть сейчас руку Вилли, деморализован

всей этой путаницей, сознанием своей вины…

Накануне он провел часть вечера у Джессики и тупо согласился продолжать с ней встречаться. Они с ожесточением и злобой спорили, как часто Дьюкейну приходить к ней. Он настаивал на том, чтобы лишь раз в две недели. Джессика не срывалась на вопли, не лила слез. Она расчетливо и холодно гнула свою линию. Устроила Дьюкейну допрос, вновь допытываясь, есть ли у него любовница, что он, как и прежде, отрицал. Они обменялись враждебными, недоверчивыми взглядами и сухо простились. Дьюкейн ушел с уверенностью, на сей раз из осторожности не высказанной вслух, что, когда два человека настроены по отношению друг к другу так неприязненно и непримиримо, им должно хватить ума и воли расстаться. Потом, однако, мысленно восстанавливая для себя этот вечер, он так устыдился своего бездушного поведения, что уступил опять чувству неопределенности и бессилия.

Виделся он снова и с Макрейтом; дал ему денег. Пожалел, что так рассвирепел на него в прошлый раз: все-таки и та встреча не прошла даром, выяснилось хотя бы, готов ли Макрейт продать какие-либо дополнительные сведения о Радичи. С горькой иронией Дьюкейн отметил,

как развеялись в прах его былые высокие соображения, что подкупать Макрейта безнравственно, что это значит ронять себя — поскольку теперь, во всяком случае, он состоял в коммерческих отношениях с этим субъектом. Макрейт со своей стороны, так и не зная наверняка — чего как раз и добивался Дьюкейн, — намерен ли Дьюкейн в самом деле регулярно платить ему мзду за согласие не посылать писем двум «молодым дамам», юлил, намекал, что мог бы за соответствующее вознаграждение поведать кое-что еще, и назначил новую встречу. Дьюкейн, правду сказать, сомневался, что Макрейту есть что поведать. Насчет писем он говорил себе, что старается просто выиграть время — ничего другого, собственно, ему и не оставалось. Нужно было выбрать подходящий момент, открыть Кейт и Джессике правду о существовании той и другой и подготовить их к предстоящей неприятности. Они — разумные женщины, так что, пожалуй, все сойдет благополучно. Единственное, что понесет серьезный урон, — это его собственное достоинство, и, может статься, этот урон пойдет ему на пользу.

Так, по крайней мере, большей частью рассуждал сам с собою Дьюкейн. Но бывали минуты, когда вся эта история представлялась ему кош-

маром. Он содрогался при мысли, что в нем будут видеть лжеца и предателя. Его поведение с Джессикой, и без того уже достаточно непоследовательное и жестокое, выставит его, когда все откроется, дешевым проходимцем. Джессика, несомненно, уверует в то, что Кейт была его любовницей. С тем, что его сочтут скотиной, Дьюкейн еще мог бы примириться, — лишь бы не хладнокровным обманщиком! Но в сущности, размышлял он, я и есть хладнокровный обманщик. Значит, быть я могу, а вот казаться — нет! Что касается Кейт, он понятия не имел, как она это примет, и, случалось, рисовал себе с ужасом, как его навсегда изгоняют из Трескоума. В эти мгновения у него мелькала мысль, что, может быть, лучше, в конце концов, просто-напросто продолжать платить Макрейту. Только он знал, что это — дорога в ад, и тот факт, что он хотя бы допускал подобную возможность, свидетельствовал, что его устои и в самом деле пошатнулись.

Еще он размышлял о Биранне. Упорно думал о Биранне, не достигая никакой ясности, а лишь все более погружаясь во мрак. Особенности отношений Дьюкейна с религией, полагающих условием каждодневной жизни энергию добродетели, определяли его восприятие добра как единой

далекой точки света. Подобным же образом, хотя, пожалуй, и не столь четко, воспринимал он зло в своей жизни тоже как некое единство, как непрерывное системное объединение взаимосвязанных частей в некую матрицу, словно бы по преступному сговору. Возможно, это был пережиток истовой и буквальной веры в дьявола, которую исповедовали его предки. Так, сейчас у него было ощущение, что и неразбериха с двумя женщинами, и шантаж со стороны Макрейта, и смерть Радичи, за которую он почему-то начинал чувствовать себя ответственным, а также загадочные и явно предосудительные действия Биранна — все это взаимосвязано самым тесным образом. И более того, ключевая фигура здесь — Биранн.

Биранн начал сниться Дьюкейну по ночам, и сны эти были странные. Дьюкейн выступал в них неизменно в роли преследователя. Объятый тревогой и тоской, он рыскал в поисках Биранна по огромным безлюдным садам, по лондонским улицам, изуродованным бомбежкой. Знакомые места чудовищно преображались из-за надобности в ком-то, из-за отсутствия кого-то — надобности в Биранне, отсутствия Биранна. Дьюкейн, не привыкший принимать сны всерьез,

не пытался найти им толкование. Хватит того, что он и бодрствуя был одержим мыслями об этом человеке, замечая, что под влиянием этой одержимости перешагнул через прежние обиды и вспышки раздражения. Расследование было важным делом, а терпеть неудачи Дьюкейн очень не любил. Но сейчас проникновение Бирана в его личную жизнь представлялось Дьюкейну еще важнее. Есть же такое понятие, как любовь охотника к своей добыче! Вопрос лишь в том, был ли Бирани только добычей. Не был ли он и средоточием силы — нечистой силы?..

Подобные причудливые идеи бередили встревоженное сознание Дьюкейна не как оформленные мысли, а скорее как элементы давления, частицы общей атмосферы. Открытие, что Бирани солгал относительно Радичи, положило начало процессу, который стал развиваться далее, подчиняясь уже собственным внутренним законам. Покуда Бирани был просто знакомым, который много лет назад позволил себе отпустить в адрес Дьюкейна насмешливую грубость, Дьюкейн ощущал по отношению к ниму лишь брезгливое нерасположение, которое сам порицал в себе, но был не в силах превозмочь. Когда же оказалось, что он обладает фактами, компрометирующими Биран-

на, а стало быть, возможно, и властью над ним, интерес к нему Дьюкейна не только возрос, но и окрасился некоторой теплотой. Памятный язвительный смешок утратил способность задевать за живое. Биранн, повинный в прегрешении, Биранн в западне уже не воспринимался как угроза, и Дьюкейн не ставил себе в заслугу интерес, продиктованный не столько состраданием, сколько ощущением своей власти. При всем том факт оставался фактом — его все больше занимал и волновал Биранн. Действительно ли он убил Радичи? Такая возможность по-прежнему существовала, и, возвращаясь к ней, Дьюкейн испытывал нарастающее беспокойство. До сих пор он все откладывал личную встречу с Биранном в надежде добыть побольше информации — теперь, однако, источники информации, судя по всему, иссякли. Дьюкейн отнюдь не собирался действовать второпях, уступая нажиму собственной психики. Просто, тщательно все взвесив, он наконец пришел к выводу, что пора для встречи настала. Придется блефовать, думал он, а это риск, — и все-таки встреча необходима. Тревога, вызванная этим решением, смешивалась с каким-то злорадным удовольствием. Завтра же с ним увижусь, думал Дьюкейн, слушая вполуха,

как Вилли продолжает рассказывать об обитателях Трескума.

— Что, Тео больше не дуется, Вилли?

— Да нет. Стал снова навещать меня.

— Любопытно, что все же приключилось с Тео в Индии? Оставляет простор воображению…

— Не знаю. Я думал, может быть, вы знаете, Джон. Вы ведь для каждого из нас вроде как отец-исповедник…

— Не надо, Вилли.

— Наша ходячая справедливость…

— Ну правильно, издевайтесь!

— Я серьезно.

— Бросьте, Вилли! А как поживают двойняшки?

— Herrlich[37]. У них большая душа, у этих малявок. И бессчетные летающие тарелки удостаивают их своим посещением. Они — единственные, кто не затронут сумятицей.

— А что, все остальные — затронуты? Вы, например, охвачены сумятицей? И Мэри, я уверен, не охвачена. С ней вообще такого не бывает.

Вилли замялся, притянул к себе обеими руками вытянутую хромую ногу, сел прямо и, наклонясь

---

[37] Примечания: 37
Восхитительно *(нем.)*.

вперед, стал рассматривать ковер.

— Вы говорили, что я повеселел, — сказал он. — Так вот, на то есть причины. Мне сделали предложение.

— Вот это да! И кто же?

— Мэри.

У Дьюкейна чуть было не вырвалось: «Замечательно, это я ей подсказал!», но он вовремя прикусил язык. Если хватает наглости брать на себя роль Господа Бога, должно хватить ума помалкивать об этом. Ишь, обрадовался, подумал он.

— Как чудесно!

— Вы не одобряете…

— Наоборот! Так вы ответили согласием?

— То есть она, по-вашему, напрасно сделала такую глупость, что захотела выйти за меня?

— Конечно нет, Вилли. Напротив, я… Но вы ответили «да», вас можно поздравить?

— Я не сказал ни «да», ни «нет». Я онемел от благодарности. И нем по сю пору.

— Вилли… Сделайте же рывок за счастьем! Идет?

— Хм, счастье. Не убежден, что оно может служить мне целью.

— Тогда просто поверьте в него! Ведь Мэри,

это… Словом, Мэри — золото высшей пробы, вы сами знаете. И к тому же вы ей нужны.

— Мэри — золото высшей пробы, лучше не скажешь. Сам знаю. И я, по-видимому, люблю ее. Но у меня душа — как старый, треснутый ночной горшок. Женщине от меня будет мало радости.

— Вздор! Путь она вас переделает. Наберитесь смирения и разрешите ей это.

— Пожалуй. Буду об этом молиться. Боги обещали, что не оставят мою мольбу без ответа.

— Ах, Вилли, везет же дурачкам!..

Я завидую ему, думал Дьюкейн. Он любит невинно и невинно любим. Для него это просто, — для него и его богов. Меж тем как я застрял в тенетах двуличия и обмана. Но как я рад, что подал Мэри эту идею, уверен, что она не решилась бы заговорить, не подтолкни я ее. Помог двум хорошим людям найти свое счастье — дай-то Бог!.. И все же на душе у Дьюкейна было муторно. Завтра, завтра, мысленно твердил он, как бы отрезая себе все пути к отступлению, завтра я встречаюсь с Биранном…

Глава двадцать третья

Джессика Берд остановилась возле дома, в котором жил Джон Дьюкейн, и позвонила. Дверь открыл невысокого роста мужчина с тонкими чертами загорелого лица и копной седых волос. Джессика, зная, что Дьюкейн в это время на работе, приняла его за слугу.

Деловым твердым тоном она сказала:

— Я к вам от фирмы «Пейн и Стивенс», я — художник по интерьерам. Должна произвести обмеры для занавесей в спальне мистера Дьюкейна.

Субтильный мужчина, пробормотав что-то невнятное, открыл дверь шире. Джессика вошла. Она решила, что невозможно жить дальше в подобной неопределенности, не зная точно, завел себе Дьюкейн новую любовницу или нет. Вернее, неопределенности не было — она не сомневалась, что другая женщина существует. Но ей хотелось, в довершение всех своих мук, получить стопроцентное доказательство этого.

— Вы проведете меня в спальню? Пожалуйста, — я не знакома с расположением комнат

в доме.

Она достала из кармана и предъявила ему стальную рулетку.

— Да, разумеется, сейчас…

Мужчина повел ее вверх по лестнице в комнату, расположенную над гостиной, в передней части дома. Джессика, которая в прежние дни ни разу не заглядывала в спальню своего возлюбленного, тем не менее вбила себе в голову, что здесь-то оно все и происходит, но на всякий случай хотела в этом убедиться.

— Вам понадобится что-нибудь, — стремянка, там, я не знаю?

— Нет-нет, все нормально, теперь я справлюсь сама, спасибо. Займет что-нибудь минут десять. Мне еще надо обмерить и в ванной кое-что. Не буду больше вас задерживать.

Мужчина снова издал какие-то невнятные звуки и ушел, закрыв за собой дверь спальни.

У Джессики, которая заранее тщательно и в деталях продумала план своих действий, от наплыва чувств так закружилась голова, что она вынуждена была сесть на первый попавшийся стул. Она не ждала, что на нее так сильно подействует ее присутствие в спальне Дьюкейна. Эта тишина, эти брюки, аккуратно сложенные на кро-

вати, его щетки и запонки на туалетном столике, простота и строгость холостяцкой обстановки, горькое и сладостное чувство узнавания и потери захлестнули ее внезапно приливом тоски по нему. Эта спальня, в отличие от гостиной внизу, могла быть комнатой любого одинокого мужчины, и вместе с тем в ней обитал дух Дьюкейна, мужская субстанция в столь чистом виде, с какой близкой к обмороку Джессике сталкиваться еще не приводилось.

Ее блуждающий взгляд упал на кровать, и приступ ревности, как хороший глоток коньяка, привел ее в себя. Кровать была не узкая. Не двуспальная в полном смысле слова, но из тех довольно широких односпальных, где места с лихвой хватает на двоих. Джессика вскочила на ноги и приступила к поискам.

Она считала, что женщине практически невозможно находиться в комнате, пусть даже короткое время, и не оставить по себе следов. Если в постели у Дьюкейна побывала женщина, после нее наверняка остался какой-то знак, памятная примета недосягаемо прекрасной области, в которой протекает любовная жизнь Дьюкейна, сверкающая частица запретного для Джессики сверхмира, без устали создаваемого ее воображе-

нием. Что она будет делать с этим талисманом — истязать ли себя, истязать его, — она пока не придумала. Главное было заполучить вожделенный предмет.

Джессика осторожно отвернула покрывало на кровати, откинула простыни. Приблизила лицо к подушке и принюхалась. Она позаботилась не пользоваться в тот день духами. Светлые с темными прядями волосы ее легли на подушку. Как некстати была сегодня эта сенная лихорадка! Джессика втянула носом воздух, проверяя свое чувство обоняния. Уловила слабый косметический душок, — впрочем, это вполне мог быть крем для бритья или даже дезинфецирующая жидкость. Неубедительно.

От кровати Джессика перешла к мусорной корзинке. В ней обнаружились: обертка от косметических салфеток, картонный футлярчик от тюбика зубной пасты, пустая пачка из-под сигарет, обломок расчески и довольно много волос. Джессика вытащила клубок волос и принялась выпрямлять их и обнюхивать. Все волоски были темно-каштановые и, похоже, принадлежали Дьюкейну. Помедлив минутку, Джессика сунула клубок волос к себе в карман. Потом открыла платяной шкаф. Чинная вереница строгих

Дьюкейновых костюмов предстала перед ней, подобно собранию выпотрошенных мужских оболочек. Пахло в шкафу деревом и мужчиной. Шкаф походил то ли на волшебный домик, то ли на раку с мощами неведомых святых. Секунду Джессика уважительно постояла перед ним, затем набралась храбрости и, решительно сдвинув брови, принялась проворно обследовать карманы костюмов. Карманы у Дьюкейна были набиты всякой всячиной: разнообразные бумажки, извещения о штрафе за неправильную парковку, номерки из гардероба, опять-таки волосы, мелочь, несколько расчесок и — в изобилии — обкатанные морем камушки. Были и два письма, но одно — от телефонной компании, а другое — от водопроводчика.

Джессика оставила в покое шкаф и переключила свое внимание на комод. Здесь, при том что было и от чего перехватить дыхание, и над чем вздохнуть — галстуки, свидетели более счастливых дней, запонки, подаренные ею самой, — не нашлось абсолютно ничего, что могло бы послужить уликой. Ни противозачаточных средств. Ни принадлежностей женского туалета. Джессика, уже в смятении оттого, что время на исходе, скользнула в ванную. Тут слегка попахивало

экстрактом для ванны. В карманах черного с красными звездочками шелкового халата, висящего на двери, были мужские носовые платки, и пахло от халата табаком. В мусорной корзинке лежал детективный роман.

Джессика кинулась обратно в спальню. Что-нибудь да обязательно должно быть, думала она, и я обязательно должна это что-нибудь найти. Определенность в тысячу раз лучше, чем сомнение; определенность вооружает тебя властью, возможностью ранить и ошеломлять, возможностью воссоздать, пусть даже с извращенным содержанием, узы живого чувства. Джессика начала заглядывать в углы, осматривать паркет. Не затаился ли какой-нибудь крошечный предмет — бусинка, пуговица, шпилька для волос — в ворсинках ковра? Она приподняла оборку покрывала и забралась под кровать. Вытянулась там во весь рост, лихорадочно шаря по ковру, и в какой-то момент заметила, что в комнате стало темно. Совсем близко обозначилась пара мужских ботинок и отвороты брюк. Джессика вылезла из-под кровати.

— Вы знаете, в том, что вы сейчас мне говорили, не все сходится.

Оказалось, что эти слова сказаны, несколько

виновато, тем маленьким седым мужчиной, который впустил ее в дом.

От облегчения, что это не Дьюкейн, Джессика невольно опустилась на кровать и несколько мгновений могла лишь молча хлопать глазами. Затем все-таки выговорила:

— Я только проверяла электровводы.

— Во-первых, — продолжал мужчина, — я посмотрел по телефонной книге, и выяснилось, что такой фирмы как «Пейн и Стивенс» не существует, а во-вторых, мистер Дьюкейн как раз недавно сменил в этой комнате занавески. И в третьих — для чего вам понадобилось учинять такой разгром на кровати? Пожалуй, хватит вопросов для начала.

Мужчина взял стул, поставил его перед закрытой дверью и с выжидательным видом уселся на него. Джессика оглянулась на постель с откинутыми простынями и сдвинутыми с места подушками. Перевела взгляд на комод с выдвинутыми ящиками, из которых в беспорядке свешивались галстуки и рубашки. Что ей было сказать? Она не боялась, что ее могут отправить в тюрьму, — боялась, как бы ее не застиг здесь Дьюкейн, как бы ее не вздумали удерживать здесь силой до его прихода. Вот-вот расплачусь,

мелькнуло у нее в голове.

— Судите сами, — прибавил мужчина мягким голосом с легким иностранным акцентом, — не могу же я оставить это просто так, верно? А вдруг вы пришли сюда грабить? И потом, должен я, как друг, оберегать чужое имущество, с которым вы, прямо скажем, обращаетесь несколько вольно?

К Джессике вернулся дар речи.

— Так вы не слуга, то есть не шофер?

— Нет. Слуга, он же шофер, сегодня выходной. Я здесь по другой причине. Но это неважно. Я до сих пор не услышал от вас объяснения, голубушка.

— Я пришла не грабить, — сказала Джессика слабым голосом.

— Да, верю, — я, откровенно говоря, всерьез так и не думал. Немного поразмыслил о вас там, внизу, когда проверил, существует ли «Пейн и Стивенс», и сказал себе: нет, эта молодая особа не похожа на воровку. Однако кем-то вы все же быть должны, и я по-прежнему жду, что вы скажете на это…

Джессика сидела на кровати ссутулясь, испуганная, виноватая, несчастная. Что, если этот человек и вправду решит держать ее здесь, пока не вернется Дьюкейн, — еще и запрет, чего доброго? Почему такая огромная любовь не принесла

ей ничего, кроме страданий и страха? На глаза Джессики навернулись слезы. Она сунула руку в карман и вынула ее вместе с клубком Дьюкейновых волос, который покатился на пол.

— Ну, будет, будет. — Мужчина подошел к кровати, сел рядом с Джессикой и протянул ей большой чистый носовой платок, в который она зарылась лицом. — Я же не чудовище какое-то. Я не хочу вас пугать. И не сделаю вам ничего плохого. Но поставьте себя на мое место! Я обязан задать вам кой-какие вопросы! Ну и, естественно, мне к тому же любопытно. Хоть убейте, не представляю себе, как объяснить ваше поведение. Все это выглядит по меньшей мере необычно, вы не находите? Ну тихо, не надо плакать! Лучше поговорите со мной немножко, хорошо?

Джессика перестала плакать и вытерла свое мокрое лицо. Посмотрела в мужское темное нутро платяного шкафа. Ожесточение и горе переполняли ее. Неожиданное — это уже кое-что. Значит, надо действовать очертя голову. Она сказала жестко:

— Вы спрашиваете, кто я такая. Я — женщина, одержимая ревностью.

Мужчина присвистнул, протяжно и мелодично.

— Ого!

— Мы с мистером Дьюкейном были вместе, — продолжала Джессика, — а потом он меня бросил. При этом он говорит, будто у него никого нет, а я уверена, что это неправда. Я сама видела, как к нему в дом однажды приходила женщина. Мне было просто необходимо убедиться. И вот, как вы могли наблюдать, я проникла сюда и стала искать, нет ли свидетельств того, что в его комнате бывает женщина.

— Нашли что-нибудь? — заинтересованно спросил мужчина.

— Нет. Но я все равно уверена…

— Не думаю, что Джон стал бы лгать, даже по такому поводу.

Джессика повернулась к своему загорелому маленькому собеседнику и встретилась с его лукавым, веселым взглядом.

— Прошу вас, скажите, — есть у него любовница, вы не знаете? Хотя с какой стати вы мне будете говорить? Все это полная фантасмагория…

— Но я как раз обожаю фантасмагории! Нет, я убежден, что у него нет любовницы. Вам этого довольно? Уйдете домой счастливая?

— Нет, ничего мне не довольно. Ни-че-го!

— Бес ревности! Да, узнаю его. Скажите, как вас

зовут, дитя мое, — назовите ваше имя. Мы, если разобраться, почти что познакомились.

— Джессика.

— Отлично. А меня зовут Вилли. Теперь послушайте, Джессика, — ничего, если я спрошу вас еще кой о чем, вы готовы мне честно ответить?

— Да.

— Долго вы были любовницей Джона?

— Примерно год.

— А сколько времени прошло с тех пор, как он вас бросил?

— Года два.

— И часто вы с ним виделись за эти два года?

— Да. Мы, так сказать, поддерживаем дружеские отношения.

— Но вы по-прежнему любите, а он — уже нет?

— Да. И в последнее время стал говорить, что мы больше не должны встречаться. Так как он хочет, чтобы я была свободна. Но мне такая свобода не нужна!

— Это понятно. Но ревность, Джессика, — страшная штука. Наиболее нам свойственная из всех пагубных страстей — засядет, как заноза, и отравляет нам душу. Ей следует противиться самыми хитроумными способами, гнать от себя одолевающие вас дурные мысли и созна-

тельно призывать на их место благородные, какими бы пустыми и выхолощенными они вам ни казались. Найдите в себе нужные для того достоинства — назовем их великодушием, милосердием, широтой натуры. Вы молоды, Джессика, смотреть на вас — одно удовольствие… можно, я возьму вас за руку, вот так?.. И ничто еще в мире не испорчено для вас. Невелика заслуга хранить верность, когда она — яд для вас и путы для него. У вас нет шанса выиграть что-либо в данной ситуации, кроме как потеряв. Вы хотите осуществить свою любовь сполна, вновь наполнить ее содержанием, но вам осталось одно лишь подлинное деяние любви, и это — отпустить его на все четыре стороны, отпустить по-хорошему, без горечи и злости. Направьте на это всю вашу энергию, и духовный мир вознаградит вас благодатью, какая вам и не снилась! Ибо такая вещь, как благодать, Джессика, есть на самом деле, — есть силы и предпочтения, есть неведомое добро, и его, словно магнитом, притягивает к себе то добро, о котором мы знаем. Ну допустим, девочка, вы нашли бы то, что искали! Не привело бы это вас от ревности, через обман, к жестокости? Людские слабости, Джессика, образуют систему, неверный шаг, сделанный в прошлом, порождает нескончаемое

переплетение последствий. Мы, люди, — далеко не безгрешны, нас с вами, Джессика, будет постоянно затягивать в эту нескончаемую паутину. Единственное, что нам остается, — это все время быть начеку, не прозевать, когда нас занесет на кривую дорожку, опомниться, дать задний ход, приструнить свои слабости и укрепить свою силу, вспомнить, как называются добродетели, которые и знакомы-то нам, пожалуй, только по названию. Мы, люди, не праведники, и лучшее, на что мы можем надеяться, — это быть добрее, мягче, прощать друг друга и уметь прощаться с прошлым, ждать, что и нам простится, смиренно принимать это прощение и обращаться вновь к прекрасной и непредсказуемой странности этого мира. Не так ли, Джессика, дитя мое?

После долгого молчания Джессика проговорила:

— Да кто же вы?

— Милая, — отозвался он вполголоса. — Вы схватываете на лету. Простите.

— Господи Боже мой, — сказала Джессика.

Потому что Вилли поцеловал ее. Они сидели вполоборота друг к другу, сплетясь коленями. Одной рукой Вилли крепко держал ее за талию, другая опустилась к ней на шею и перебирала

ее волосы. Джессика ухватилась за лацканы его пиджака. Они смотрели друг на друга, не мигая.

— Вы очень красивы, Джессика, и напоминаете… напомнили мне то, о чем я мечтал, что обнимал в своих мечтах. Но ведь желание дотронуться до кого-то, почувствовать, что держишь кого-то в руках, — это так важно, правда? Разве для нас, созданий из бренной плоти, это не способ общения, — глядеть вот так, вот так касаться друг друга? Их должно быть мало, тех, к кому ты прикасаешься, — и самых дорогих.

— Пожалуйста, скажите же, кто вы? Вы такой особенный… Как ваша фамилия?

— Нет-нет. Останемся просто Вилли и Джессикой. Мы с вами больше не встретимся.

— Как можно такое говорить, когда вы меня только что поцеловали? Так не делают — поцеловать и исчезнуть! Тогда я спрошу у Джона…

— Если вы спросите про меня у Джона, я расскажу, как вы обыскивали его спальню.

— Ах так? А сами говорили, что мы должны быть добрее, мягче!

— Я и стараюсь быть мягче, дитя мое. Я — это тихое слово, птичка на дереве, голос вашей совести, может статься. Ну и в придачу к этому, если угодно, — лишь безымянный чертенок или, до-

пустим, чертенок по имени Вилли, фигура чисто преходящая, лицо, мелькнувшее в толпе. Если я вас задену мимоходом, просто тряхните головой и возвращайтесь опять в прекрасный, удивительный, огромный и полный неожиданностей мир.

— Но я должна увидеться с вами снова — вы должны мне помочь — вы можете!

— Вам может помочь всякий, Джессика, было бы на то ваше желание. Мы с вами сейчас на острове, лишь вы да я, на призрачном острове непредвиденного, — одни эмоции, атмосфера, и никаких подробностей. Ох, но до чего же вы красивы! Можно, я вас еще раз поцелую?

Джессика с силой обвила его руками и закрыла глаза. Какой-то стук вернул ее к действительности: это Вилли скинул с ног ботинки. Джессика тоже сбросила туфли. Не разнимая губ, они медленно опрокинулись на расстеленную кровать.

Спустя немного, когда они лежали, сплетенные в тесном объятии, Джессика тихонько спросила — без тревоги, но с любопытством:

— Что мы делаем, Вилли, — что это происходит?

— Кощунство, моя Джессика. Очень важный вид человеческой деятельности.

Глава двадцать четвертая

Как истый обитатель Эрлз-Корта, Дьюкейн презирал Челси[38]. Ясно, где же ему и жить, поганцу, как не здесь, съязвил он мысленно, свернув на Смит-стрит и проходя вдоль ряда щегольски окрашенных парадных дверей.

Дьюкейном, впрочем, владело далеко не радужное расположение духа. Биранн рисовался ему давеча человеком в западне. Только удастся ли захлопнуть эту западню? Биранн — сильная личность и не дурак. Такой, как ни пытайся Дьюкейн использовать момент внезапности или даже пустить в ход блеф, вряд ли сломается и сделает признание или выдаст себя ненароком. В сведениях, которыми располагал Дьюкейн, не было ничего, чему нельзя было бы состряпать вполне невинное объяснение. И если Биранн решит прибегнуть на голубом глазу к подобным объяснениям и стоять на своем, что останется Дьюкейну, как не извиниться и откланяться? И в этом случае — что потом? Когда Дьюкейн оценил, как мало, в сущности, ему известно, его порази-

[38] Примечания: 38
Фешенебельный район в западной части Лондона.

ло, отчего это он так твердо верит, что Биранн хоть в чем-то да виновен. А вдруг это чистое заблуждение? Сегодняшний поступок — авантюра, говорил он себе. Но может быть, пора пуститься на авантюру, поскольку более разумные методы не дали пока что ничего, кроме интуитивных догадок, начиная от подозрения в убийстве и кончая предположением о полной невиновности!

Время близилось к девяти вечера, и тяжелый пыльный воздух, густой от жары, нависал над Лондоном, подобно наполовину спущенному воздушному шару, стоячий и спертый. Усталое солнце истекало желтыми лучами, и тень не давала отдохновения. Лишь на дальнем конце улицы неясным пятном темнела зелень деревьев, намекая на близость реки. Дьюкейн, не в силах от возбуждения усидеть дома, прошел весь путь от Эрлз-Корта пешком, разделив ранний ужин с Вилли, пребывающим в непривычно приподнятом настроении. После ужина Вилли включил радио, и Дьюкейн оставил его танцующим по всей гостиной под звуки Моцартовского до-минорного концерта для фортепьяно. Рассчитывая захватить Биранна врасплох, Дьюкейн позвонил ему перед уходом и, едва заслышав в трубке знакомый высокий голос, молча дал отбой.

Он подходил к дому, почти что задыхаясь от волнения и сомнений — несколько раз вынужден был постоять, хватая ртом вязкий лишенный, казалось, последних остатков кислорода воздух. В нескольких шагах от цели стал, встряхнулся — а скорее, пожалуй, поежился — и, приосанясь, решительно направился к двери. Дверь оказалась открытой.

Дьюкейн застыл на ступеньке, с рукой, поднесенной к звонку. Опустил руку. Для его взвинченных нервов любое проявление чего-то необычного, пусть даже самое пустяковое, приобретало недобрый смысл. Может быть, его прихода все-таки ждали? Может, Бираннн разгадал значение телефонного звонка? Или увидел, кто идет по улице? Дьюкейн постоял в раздумье и решил, что открытая дверь — случайность. И что звонить он не будет. Просто войдет.

При всем том, осторожно шагая по толстому желтому ковру в холле, он ощущал себя не столько охотником, сколько добычей. Огляделся, торопливо, виновато, хотел было уже ретироваться, но задержался, прислушиваясь. Тишина незнакомого дома угрожающе сомкнулась вокруг него. Из глубины ее возникло тиканье часов, потом — стук его собственного сердца. Он

стоял неподвижно, лишь поводя глазами, различая в вечерней золотистой полумгле то стол с инкрустацией, то овальное зеркало, строй полированных латунных прутьев, уходящий вверх по лестничному ковру. Поодаль, напротив него, сквозь открытый дверной проем виднелась комната, освещенная ярче, — похоже, бильярдная. Стараясь ровно дышать и не ступать на цыпочках, Дьюкейн открыл дверь справа. Комната окнами на улицу; столовая, судя по всему. В ней — никого. На шератоновском серванте — частокол бутылок. Задержав дыхание, Дьюкейн попятился назад и шагнул к соседней двери. Толкнул ее. Эту комнату затеняли жалюзи, в их узкие щели слепящими волосками пробивались косые солнечные лучи. Дьюкейн, сощурясь, вгляделся в полумрак. Разглядел фигуру, стоящую на противоположном конце комнаты. Поразительную фигуру — фигуру Джуди Макрейт.

— Привет, мистер Сладкин. Ну что, я же говорила, что мы еще встретимся!

На сей раз поразительным в Джуди Макрейт было то, что на ней отсутствовала одежда.

Дьюкейн медленно вошел в комнату, закрыл за собой дверь. Сосредоточился и внимательно осмотрелся по сторонам. В комнате никого боль-

ше не было.

— Добрый вечер, миссис Макрейт.

— Прошу прощения за свое дезабилье. Жарища сегодня — сил нет!

— Небывалая жара и духота… — Дьюкейн сел в кресло, поднял глаза на Джуди и негромко прибавил: — Елена Прекрасная.

— Я знала, что вы меня вычислите, мистер Сладкин, вы такой умный! Сигаретку не желаете? Или сигару позаимствовать у Ричарда?

— Нет, спасибо.

Вот миг за гранью моей обыденной жизни, пронеслось в мозгу у Дьюкейна, миг, ниспосланный неким божеством — не из великих, вероятно, и не из числа благих, но то, что божеством, — несомненно. Никогда еще не доводилось Дьюкейну созерцать подобным образом нагую женщину.

В Джуди, стоящей перед ним, угадывалась некоторая неловкость. Человеческому телу, даже если это тело красивой женщины, не очень свойственно выставлять себя напоказ легко и непринужденно. Джуди стояла перед ним не прямо, а чуть боком, согнув одно колено и приподняв плечо, выставив вперед подбородок, словно глядела на него поверх какого-то препятствия. Могущество ее красоты отступило, сменясь чувством легкого

стыда, стыда за то, что обыкновенно скрывают под одеждой и обнажают не без некоторого смущения. Как ни привыкла в душе миссис Макрейт раздеваться, тело ее еще не окончательно простилось с застенчивостью. Дьюкейн, почти машинально, отметил это про себя и был тронут. Солнце, расчерчивая жалюзи раскаленными полосками, растекалось по комнате мутным полусветом; в теплом золотисто-буром воздухе тело Джуди Макрейт возвышалось медовой подвижной колонной, выделяясь неуловимым лимонным свечением. Теплый свет выхватывал ее из сумрака, обнимал ее, смешивался с нею. Черные с каштановым отливом волосы казались медной, с прозеленью, каской; в ложбинке большой, округлой, чуть вислой от собственной тяжести груди сгустились красновато-смуглые тени. Тяжелый взгляд прятался в щелках полузакрытых глаз. Тело Джуди слегка покачивалось, выявляя изгиб ягодицы, обрисованный неясной, тонкой, светящейся дугой.

Дьюкейн сделал глубокий вдох и глотнул, не дав ему вырваться наружу вздохом.

— Я пришел повидаться с мистером Биранном, — сказал он, — но вы вполне можете заменить его.

— Если я могу быть вам полезной, мистер Сладкин, я к вашим услугам.

— Почему Радичи покончил с собой?

— Я не знаю. Мистер Радичи был странный человек со странными привычками, и в голову к нему приходили странные мысли.

— А мысль шантажировать его принадлежала вам или вашему мужу?

— Понятия не имею, мистер Сладкин. Я — женщина. Взгляните!

Дьюкейн глядел, но в голове его теперь царила холодная ясность. Он отметил, что вид больших коричневых кругов у нее на груди напоминает ему о Файви.

— Расскажите мне о Радичи.

— Я могла бы полюбить вас, мистер Сладкин. Вы могли бы любить меня.

— Сомневаюсь, Джуди. Так расскажите мне о Радичи.

— В смысле, чем мы занимались по ночам в подвале?

— *Подвале?* — насторожился Дьюкейн.

— В подвале министерства.

— Ах, ну да, — раздельно сказал Дьюкейн, лихорадочно соображая. — Разумеется. Вы с Радичи спускались в подвалы под служебными помеще-

ниями, в прежние бомбоубежища.

— Правильно, мистер Сладкин. Я полагала, вы знаете. Думала, что вам все известно.

— Практически все. Я лишь хочу услышать от вас недостающее. Для чего вы спускались в подвалы?

— У него на дому становилось не совсем удобно, — и супруга под боком, и соседи… Шуму от нас хватало.

— Хм-м. А миссис Радичи, что, — знала про это?

— А как же, все делалось очень честно.

— Она была не против?

— Не знаю, — сказала Джуди. Тело ее раскачивалось круговыми движениями, довольно большие ступни, служа ему точкой опоры, по-птичьи вцепились длинными пальцами в ковер. — Виду не показывала. Но на самом деле, думаю, была против.

— Радичи не тревожился, что огорчает свою жену?

— Когда он бывал со мной, мистер Сладкин, он ни о чем не тревожился. Нет такого, что могло бы тревожить мужчину, когда он со мной.

— Чего Радичи хотел от вас? — спросил Дьюкейн. — То есть помимо штук очевидного сорта?

— Ни к чему очевидному, мистер Сладкин, штуки, свойственные мистеру Радичи, не имели никакого отношения.

— Ну, спать-то он с вами, очевидно, спал?

— Нет, что вы, ничего подобного! Все происходило на чисто духовном уровне, как говорится. К тому же большей частью — в присутствии миссис Макрейт.

— Вот как. Вы принимали участие в обрядах, ворожбе?

— Я в этом, по-настоящему, совсем не разбиралась, просто делала, что он мне скажет, а что там совершается, в основном не видела. Некоторые господа чего только не напридумывают! Он не первый такой.

— Говоря «на духовном уровне», вы что имели в виду?

— Все строилось на идеях, на том, что варилось у него в голове. Бывают такие люди. Он меня и не тронул ни разу — руками, я хочу сказать.

Последняя часть этой фразы произвела на Дьюкейна действие, в котором он не сразу распознал крайнее физическое возбуждение. Резким движением он отодвинул кресло и встал. В тот же миг Джуди Макрейт дернулась, как от удара током, и приняла другое положение, закинув голову назад

и сделав шаг по направлению к нему. Одновременно с этим она взяла что-то со стола. Теперь опущенный взгляд Дьюкейна отыскал то, чего старательно избегал до сих пор, — то место, где более всего сгустились тени.

— Не уходите, — вкрадчиво сказала она. — Или возьмите меня с собой. А как насчет ваших штук, мистер Сладость? Какие бы они ни были, я могу их исполнить. Да еще и научить вас кой-чему.

Что-то мелькнуло в мутном свете, разделяющем их, порхнуло к нему на запястье, легко прошлось по волоскам вдоль предплечья. То был тонкий, как острие карандаша, кончик хлыста для верховой езды, другой конец которого держала Джуди.

Дьюкейн отдернул руку и быстро вышел из комнаты. Полуощупью прошел по холлу, распахнул парадную дверь и зажмурился от неожиданно яркого света на улице. Он торопливо зашагал по тротуару — и едва не столкнулся с Бираннном, который нес в руках бутылку. Оба в смятении обменялись взглядами, и Дьюкейн поспешил дальше, успев заметить, что лицо Бирана исказилось от страха.

Глава двадцать пятая

— А почему звери не сморкаются? — спросил Эдвард.

Ответа как будто никто не знал, не нашлось и охотников начать обсуждение этой темы. Мэри варила блюдо из ревеня. Пола, водя глазами по странице «Энеиды», погрузилась в думы о собственной тайной напасти. Дьюкейн был занят составлением и оценкой сугубо тайных картинок с Джуди Макрейт.

— Дядя Тео требует к себе Минго, если можно, — сказала, появляясь на кухне, Генриетта. — А вам пришла открытка, Джон.

Близнецы извлекли из Монтрозовой корзины уютно прикорнувшего в ней Минго и, таща его в четыре руки, удалились.

На открытке Дьюкейн увидел фигуры женщин, носящих чадру. На другой стороне Кейт писала: *«Мой милый, женщины под чадрой — волнующее зрелище, хотя не мне бы говорить, поскольку ни за что не согласилась бы оказаться на их месте. Здесь дивно! Сегодня утром наблюдала, как собачки выделывают нечто неописуемое. Уточнять*

на открытке не решаюсь. Не знала, что у собак бывают пороки! С любовью».

Дьюкейн опять перевернул открытку и хмуро оглядел женские фигуры. Он вспомнил, что его в Танжере тоже волновал вид женщин в чадре, и это воспоминание как-то противно примешивалось к мощным флюидам Джуди, все еще окутывающим его. Как удивительно, что столкновение с ничем не прикрытой Джуди привело ему на память скрытых от посторонних взоров африканок. Видимо, некое устройство, заключенное в нем, автоматически отзывалось одинаково на два этих образа. Я отключаюсь от действительности, думал он, я становлюсь таким же, как Радичи, все воспринимается непрямо, все происходит у меня в мозгу. И кстати, в чем же состоят мои штуки?.. Вопрос был не лишен интереса.

Он снова перевернул открытку, стараясь сосредоточиться на мыслях о Кейт, чудесной Кейт, с ее нимбом курчавых золотистых волос и ласковым, теплым нравом. Но Кейт ускользала от его внимания, и то центральное место, которое ей полагалось бы занимать, либо пустовало, либо скрывалось от глаз. Стойко держалось все то же ощущение автоматизма. Мне нужно ее присутствие, думал он. Я плохо приспособлен к

отсутствию, во всяком случае — к ее отсутствию.

Душевное равновесие Дьюкейна было нарушено не только самою Джуди, но и тем, что она ему сказала. На первый взгляд открытие, что «операции», которые производил Радичи, совершались в заброшенных бомбоубежищах на подвальном этаже министерства, как будто подтверждали, что подозрения тех, кто опасался за интересы спецслужб, не лишены оснований. Занятия магией могли быть просто ширмой, прикрытием для ночных деяний совсем иного рода. Однако по некотором размышлении Дьюкейн решил, что это маловероятно. Радичи, при желании, и так ничего не мешало оставаться в здании министерства хоть на всю ночь, а придумывать на свою голову разные сложности с участием девиц, когда у тебя совершенно другие цели, значило бы идти на бессмысленный риск. Нет, заключил Дьюкейн, вновь получается, что эту историю следует принимать за чистую монету. Вот только какова она, эта чистая монета? В который раз на него накатило постылое чувство автоматизма. Может быть, и нет в этой тайне никакой сердцевины, — ничего, кроме унылых сексуальных исканий неуравновешенного мужчины?

Следующим шагом, наметил себе Дьюкейн,

будет встретиться снова с Макрейтом, чтобы тот показал ему то место в подвале, где Радичи совершал свои неведомые обряды. Желания вновь созерцать миссис Макрейт Дьюкейн не испытывал и предпочел письменно известить мистера Макрейта, что тому надлежит явиться в понедельник к нему в министерство. После чего, повинуясь едва ли не паническому побуждению сбежать, велел Файви везти его в Дорсет. Совокупность последних событий взбаламутила его, и он горько пожалел, что Кейт и Октавиан в такое время, как на грех, в отъезде. Из аппарата премьер-министра пришло сообщение, что история с Радичи, как о том еще давно говорил Октавиан, выплеснулась-таки наружу и от него требуется представить доклад о ходе расследования, хотя бы и самый предварительный. Получив это сообщение, Дьюкейн понял, как далек сегодня от чисто официального его интерес к этому расследованию, как глубоко он в нем увяз и как важно ему, ради себя же самого, докопаться до сути. При этом его не покидало ощущение, будто его влечет вперед, никогда полностью не прерываясь, некая нить. Стоило следу завести его в тупик, как неизменно случалось что-нибудь непредвиденное, указывая ему дальнейший отрезок пути. То, что

Елена Прекрасная — это Джуди Макрейт и что Макрейт, вероятно, не впервые использует жену как приманку для жертвы шантажа, Дьюкейну и раньше приходило в голову. Того, что существует связь между Джуди и Биранном, он не предполагал, когда же эта связь столь поразительным образом обнаружилась, она вписалась в головоломку так естественно, что стала выглядеть очевидной. Дьюкейн сначала огорчился, что теперь, когда Биранн столь недвусмысленно предупрежден, о возможном эффекте неожиданности говорить больше не приходится, — а впрочем, Биранн по милости Джуди и ее благоверного и без того, вероятно, был информирован о том, как продвигается расследование. Вполне возможно также, что Макрейт самым любезным манером еще и шантажировал Биранна. Во всяком случае, Биранн определенно узнал, что находится под подозрением, и Дьюкейн, поразмыслив еще немного, решил, что это не так уж худо. Выражение ужаса, исказившее лицо Биранна, когда они столкнулись на Смит-стрит, произвело на Дьюкейна большое впечатление. *Биранн еще придет ко мне,* подумал Дьюкейн. Подумал не без приятности.

— Где Барбара? — спросил он у Мэри. — Поехала

кататься верхом?

— Нет, пони растянул сухожилие на ноге. Она, по-моему, у себя.

— Все еще горюет по Монтрозу?

— Да, отчаянно! Вчера опять плакала. Ума не приложу, что могло приключиться со злосчастным созданием. Кошки не исчезают и не гибнут просто так.

— Я слышал, как Пирс говорил ей, будто Монтроз утонул, — сказал Дьюкейн. — Он не должен говорить Барбаре такие вещи!

— Знаю, что не должен, — коротко отозвалась Мэри, помешивая ревень.

— Ну что ж, схожу, пожалуй, проведаю ее. Негоже ей в такой день сидеть и хандрить у себя в комнате. Может быть, прогуляемся с ней до Вилли. Не хотите, Пола, составить нам компанию?

— Нет, спасибо.

Пола бросила на него тревожный, озабоченный взгляд. Лицо ее казалось замкнутым, серым, — лицо фехтовальщика, глядящее сквозь густую сетку маски. Нужно с ней встретиться по-человечески, с привычным уколом совести подумал Дьюкейн, разговорить Полу, узнать у нее, в чем дело. Кого же мне повидать сейчас, торопливо спросил он себя, — Барбару или Полу? Но уже, вызванный

тем же уколом совести, замаячил перед ним осуждающий образ Джессики. Вот с кем необходимо повидаться в самом скором времени, подавленно и смятенно подумал Дьюкейн, и мысль об этом тотчас умерила порыв его сочувствия Поле. Верх одержало предпочтение. Барбара сможет его утешить. Стало быть, он пойдет к Барбаре. Дьюкейн поднялся с места.

— Постарайтесь привести Вилли к чаю, Джон, — сказала Мэри.

— Постараюсь, но успеха не жду.

Дьюкейн вышел из кухни. В стеклянные филенки парадной двери било солнце, высвечивая отполированные розоватые вмятины на стертых плитах мощенного камнем холла. Дьюкейн поднял с пола Эдвардову «Естественную историю Селборна»[39] и аккуратно положил на стол. Видно было, как на лужайке перед домом Кейси с двойняшками, сидя на клетчатом красном пледе, лущат горох. Не отнимая руку от столешницы, Дьюкейн задержался в залитой солнцем знакомой прихожей, с щемящим, но уже новым чувством, трогательным, сладостным и острым, — восприятием невинного мира,

---

[39] Примечания: 39
Городской район в графстве Йоркшир.

мира, который он любил, в котором нуждался и который, конечно же, никоим образом не мог утратить безвозвратно! Невинность много значит, думал он. Она не кончается, когда ее теряешь. Она так или иначе присутствует в твоей жизни, теплая, свежая, совершенно недоступная автоматизму, унылому однообразию. *Бедный Биранн,* подумал он. И — вновь мелькнула та же волнующая мысль: *Биранн еще придет ко мне...* Дьюкейн стал подниматься вверх по лестнице.

Дойдя до площадки, Дьюкейн увидел в дальнем конце коридора Пирса, который только что поднялся по черной лестнице, ведущей из судомойни. Пирс, который его не заметил, шел, осторожно ступая, и нес в руке белую плошку. Стараясь не расплескать ее содержимое, открыл дверь своей комнаты и вошел туда. Дьюкейн полумашинально запечатлел в сознании увиденное, полумашинально сосредоточился. И вдруг, с мгновенным озарением, возвращающим его к действительности, разгадал, что оно значит. Помедлил, собираясь с мыслями, быстро прошел мимо комнаты Барбары, остановился возле Пирсовой двери и распахнул ее. На кровати у Пирса, свернувшись клубком, сидел Монтроз.

— Ну и стервец ты, Пирс! — сказал Дьюкейн.

Пирс, который как раз в эту минуту поставил на пол плошку с молоком, медленно выпрямился, снял очки и, оттопырив пухлую нижнюю губу, не спеша провел рукой по своему прямому лбу, по длинному носу, словно желая закрепить на лице его теперешнее выражение. Он ждал.

Дьюкейн подхватил на руки Монтроза и, широко шагая, вышел из комнаты. Постучался в дверь к Барбаре и, не дожидаясь ответа, вошел. В комнате никого не было. Пирс, который шел по пятам за Дьюкейном, вошел за ним следом. Они взглянули друг другу в лицо.

— Это черт знает что такое!

Дьюкейн почувствовал вдруг, что его трясет от гнева. Все его неурядицы, треволнения и сознание своей вины сошлись, казалось, в этом простом чувстве злобы.

— Я Монтрозу не сделал ничего плохого, — тщательно подбирая слова, проговорил Пирс.

— Монтрозу — нет, а Барбаре — сделал! Как ты додумался сотворить такую гнусность?

Дьюкейн опустил Монтроза на стол. Сажая кота, он заметил у себя под рукой маленький, с серебряным кнутовищем, хлыст Барбары для верховой езды. Образ хлыста, обособленный, отстоящий от всего прочего, взятый в рамку, возник

перед ним — и пропал.

— Понимаете, — тем же медлительным, поясняющим тоном сказал Пирс, — ей стоило только прийти, заглянуть ко мне в комнату, как когда-то, не обращаться со мной, как с прокаженным, — и она бы узнала, где находится Монтроз. Это было ей вроде испытания.

Опершись одной рукой на стол, Пирс подался всем корпусом вперед для большей убедительности.

— Ты умышленно причинил ей боль и горе, да еще и продолжал в том же духе, — сказал Дьюкейн. — Я считаю…

Ладонь его сомкнулась на кнутовище, и быстрым, но вполне обдуманным движением он занес хлыст и с силой хлестнул им Пирса по тыльной стороне руки. Подросток сморщился от боли, но не отвел от Дьюкейна глаза и не отдернул руку.

— Это что здесь происходит? — спросила, появляясь в дверях, Мэри Клоудир.

Пирс медленно повернулся и, не глядя на мать, прошел мимо нее в коридор и оттуда — к себе в спальню.

Мэри, еще секунду помешкав на пороге, зашла в комнату Барбары. Она поняла, что ей непросто будет справиться с потрясением от зрелища того,

как Дьюкейн бьет ее сына. Не в силах разобраться в хаосе охвативших ее чувств, она не знала, что сказать.

— Простите, — тоже в явном замешательстве проговорил Дьюкейн. — Я виноват.

— Как, я вижу, здесь Монтроз…

— Закройте дверь, Мэри.

— Да что случилось?

— Дело в том… Закройте же дверь… Дело вот в чем — все то время, пока мы думали, что Монтроз потерялся, Пирс держал его взаперти у себя.

— Боже, какая гадость… Я…

— Да, гадость. И я, к сожалению, вспылил. А не должен был.

— Вас нельзя винить. Он поступил возмутительно. Я пойду найду Барбару.

— Погодите минутку, Мэри. Только отпустите Монтроза, ладно? Вот так. И сядьте. Не сердитесь. Всего лишь задержитесь на минуту!

Мэри села на кровать, глядя во все глаза на Дьюкейна, который стоял, нахмурясь, у окна, все еще сжимая в руке хлыст. Внезапно, пожав плечами, он швырнул хлыст на стол и скрестил на лбу ладони, прикрыв ими глаза.

— Вы огорчились, — сказала Мэри. — Не печальтесь, не надо! Вы что, боитесь, что я на вас

рассержусь?

— Нет-нет. Я действительно кое-чем расстроен, — не уверен даже, что точно знаю чем. Пирс меня теперь, наверное, возненавидит.

— С таким же успехом может теперь и полюбить. У молодежи странная психология.

— У всех людей она странная, — сказал Дьюкейн.

Он сел за стол и устремил взгляд на Мэри. Совиные круглые глаза его, резко выделяясь своей голубизной на загорелом худом лице, глядели на нее озадаченно, рука привычным быстрым движением то и дело отводила назад слипшиеся пряди темно-каштановых волос. Мэри смущало выражение его лица. Что-то с ним было неладно.

— Простите, — помолчав, сказал Дьюкейн. — У меня сейчас недовольство собой достигло критической точки, и я нуждаюсь в сочувствии. Мы всегда ищем сочувствия, когда меньше всего его заслуживаем.

По Кейт скучает, подумала Мэри. Она сказала:

— У вас-то, Джон, я уверена, нет особых причин для недовольства собой. Но что касается сочувствия, я готова! Рассказывайте, в чем дело.

Голубые глаза Дьюкейна округлились еще заметнее — похоже, от тревоги. Он хотел было

заговорить, осекся, потом спросил:

— А Пирсу сколько лет?

— Пятнадцать.

— Не грех бы мне было узнать его поближе.

— Еще узнаете, надеюсь. Не можете же вы брать на себя заботу о каждом, Джон!

— Так я, по вашим представлениям, постоянно занят тем, что проявляю о ком-то заботу?

— Ну, в общем, да…

— Кошмар!

— Простите, я не это хотела…

— Ничего. Он очень замкнутый мальчик.

— Слишком долго живет без отца. Который год — лишь со мною одной.

— Сколько ему было, когда он лишился отца?

— Два года.

— Тогда он его почти не помнит!

— Почти.

— Как звали вашего мужа, Мэри?

Нет уж, пронеслось в голове у Мэри, не могу я говорить с ним об Алистере. Она узнала эту свойственную Дьюкейну улещающе-настоятельную интонацию, эту его манеру расспрашивать человека с пожирающим вниманием, чтобы тот выложил ему про себя все без остатка, — что человек обыкновенно и делал, с большой

готовностью. Не раз она наблюдала, как он проделывает это с другими, даже за праздничным столом. К ней он никогда не применял этот прием. Ничего ему не стану рассказывать, думала она, я ни с кем не говорила на эту тему и с ним не буду. И сказала:

— Алистер.

Имя, вырванное с мясом, ворвалось в комнату, взмыло ввысь и опустилось снова, зависнув чуть выше уровня ее глаз.

— Чем он занимался? Я, кажется, никогда не слышал, кто он по профессии.

— Он работал аудитором.

— Пирс похож на него?

— Внешне — да, только Алистер был выше ростом. По характеру — нет.

— А что он был за человек?

Нет сил это продолжать, думала Мэри. Ну как скажешь, что он был веселый человек, постоянно острил. Балагур. И пел замечательно. И был во всем артистичен. И был неудачник. Она сказала:

— Он написал роман.

— Его издали?

— Нет. Он никуда не годился.

Накануне Мэри часть дня провела за чтением Алистерова романа. Достала увесистую, отпе-

чатанную на машинке рукопись с намерением ее уничтожить — и обнаружила, что не может. Роман был до того никудышный, незрелый, — такой типичный для Алистера.

— Он умер молодым, — мягко сказал Дьюкейн. — Он еще мог добиться большего, гораздо большего.

Да, вероятно. И все же Мэри осталась с прежним убеждением. Наверное, несправедливо было заносить его в разряд неудачников. Но приговор был вынесен раз и навсегда.

— Отчего он умер? — спросил Дьюкейн тем же вкрадчивым, мягким голосом.

Мэри отвечала не сразу. Перед ней выросла черная стена. Она подходила все ближе к этой стене, вглядываясь в черноту. Заглянула — и погрузилась в нее. Сказала, словно во сне:

— Однажды вечером его переехала машина, прямо возле нашего дома. У меня на глазах.

— Ох, извините… И что, сразу насмерть?

— Не сразу.

Ей вспомнились его вопли, долгое ожидание кареты скорой помощи, толпа вокруг, долгое ожидание в больнице.

— Простите, Мэри, — сказал Дьюкейн. — Напрасно я…

— Главное — чистая случайность, — продолжала Мэри. — Я иногда готова была сойти с ума от этой мысли. Что все получилось так случайно. Если б я только произнесла еще одну фразу до того, как он вышел из комнаты, если б он только остановился завязать шнурок на ботинке — что угодно, и притом, Боже ты мой, мы как раз тогда поссорились, и я дала ему уйти, не сказав ни единого слова, — мне бы только окликнуть его, а так он вышел из дома расстроенный — и прямо под колеса. Пусть бы он умер от болезни или даже пал на войне, где-нибудь вдалеке от меня, на чужбине, — я приняла бы это как неизбежность, но смириться с тем, что у тебя на глазах его убивают случайно — это было выше моих сил. Я никогда никому не рассказывала, как он погиб. Поле и Кейт сказала, что умер от воспаления легких и то же самое сказала Пирсу. Пирс все это проспал в детской, наверху. Я любила мужа, — конечно же, любила, но мало любила и неправильно, и не могу с тех пор думать о нем как надо из-за этого страшного случая, с которым все разом оборвалось и вся наша с ним совместная жизнь лишилась смысла, — я и воспринимать Алистера стала по-другому, словно это не он, а какой-то ужасный призрак, которого я не приемлю. Пом-

ню жуткое чувство, когда я после разбирала его вещи — как будто он наблюдает за мной с такой безысходной печалью, обобранный, обездоленный, и на меня с тех пор, особенно по вечерам, находит что-то ни с того ни с сего — что, будто бы, он по-прежнему хочет моей любви, а я не в состоянии отвечать ему тем же. Мне видны теперь его недостатки и слабости, а то, за что я его полюбила, стерлось напрочь, изгладилось. Ужасно, что нельзя любить вечно. Я должна была бы продолжать его любить, это единственное, что я могла бы еще сделать для него, но любить в пустоте невозможно, невозможно любить какое-то ничто, для которого ничего уже больше не сделаешь и от которого ничего уже не осталось, только этот роман, да и тот до того бездарный — и в то же время в нем весь он… Если б только все это не произошло вот так, неожиданно и по чистой случайности — вышел человек, и прямо под колеса! Вы поймите, по нашей улице редко когда проезжала машина…

— Не надо так плакать, Мэри, — сказал Дьюкейн. Он сел рядом с ней на кровать и обнял ее за плечи. — Случайность вынести труднее, чем смерть, но все на свете, милая, — дело случая, даже то, что представляется нам совершенно

неизбежным. С чем, хоть это нелегко, мы должны мириться, как миримся с нашими утратами и с нашим прошлым. Не пытайтесь увидеть его. Просто любите. Может быть, вы так и не знали его до конца. Теперь вы непричастны к его тайне. Уважайте ее и не пробуйте разглядеть еще что-то. Любить — не всегда значит действовать. Иногда достаточно лишь смотреть в темноту. Глядите же — и не бойтесь. Она не таит в себе демонов.

— Слова, Джон! — сказала Мэри. — Слова, слова, слова…

И все же она нашла в них утешение и почувствовала, что теперь слезы, которые она проливает, — в самом деле плач по Алистеру.

Глава двадцать шестая

— Осторожнее, сэр, — ступеньки. В этом месте склизко под ногами. Вы лучше держитесь за меня.

Подвижный кружок света от карманного фонаря выхватил из темноты короткий марш ступенек, подернутых заплесневелым налетом волглой пыли. Посередине отпечатались следы подошв, сбоку торчали беспорядочные переплетения черного кабеля. Внизу, теряясь во мгле, тянулся бетонный пандус.

Дьюкейн, сохраняя равновесие, предпочел упереться костяшками пальцев в холодную кирпичную стену. Все лучше, чем прикоснуться к идущему впереди Макрейту. Они медленно сошли вниз и ступили на бетон.

— Так вы говорите, Радичи велел вам перерезать электрический кабель в начале туннеля, где мы выходили из бомбоубежища?

— Точно, сэр. Мистер Радичи любил, чтобы все было при свечах. И еще, по-моему, он считал, что так будет безопасней, на случай, если сунется кто чужой.

— А дверь, в которую мы сейчас прошли, была обычно заперта?

— Да, сэр. У мистера Эр был ключ, и мне он тоже дал ключ.

— Вы без него когда-нибудь приходили сюда?

— А я сэр, с ним, можно сказать, и вовсе не приходил. Оставлю ему здесь наготове все причиндалы — и ходу. Он не хотел, чтобы я ошивался рядом, когда он занят этими делами.

— Вы двигайтесь, любезный, не стойте, загораживая дорогу!

— Вы сами-то как, сэр, в порядке?

— Ну разумеется, в порядке. Давайте, двигайтесь!

Неверный свет фонарика качнулся вперед, открывая взгляду длинную узкую прямоугольную выемку в красном кирпиче, покато тянущуюся в темноту. Туда же, в темноту, вели черные трубы, собранные пучком в верхнем углу выемки и густо оплетенные паутиной. Больше всего все это напоминало вход в древнюю гробницу — не верилось, что всего в нескольких минутах ходьбы находятся коридоры министерства.

— Вы ту дверь заперли за нами?

Дьюкейн поймал себя на том, что невольно понизил голос. Бетонный пандус был тоже по-

дернут чем-то липким, и каждый шаг по нему сопровождался слабым чавкающим звуком. От черных труб, казалось, исходил очень тихий, почти неслышный гул.

— Запер, сэр. А что, разве неправильно? Я полагал, нам посторонние здесь не нужнее, чем мистеру Эр!

— Ладно, только ключ не потеряйте.

— Да уж, тогда нам, сэр, не позавидуешь! К этой двери и близко-то никто не подходит! Застряли бы тут на веки вечные, и никому бы о том было невдомек.

— Да шевелитесь же! Далеко нам еще?

— Почти дошли. Не туда, сэр! Нам прямо.

С правой стороны в туннеле высветился узкий дверной проем.

— Он куда ведет?

— Не представляю, сэр, ей-богу! Я не обследовал здешние помещения. Местечко-то не из приятных, особенно когда ты тут один. Шел прямиком куда надо — и скорее назад. Вам, сэр, например, здесь не боязно?

— Нет, конечно. Не нужно так размахивать фонарем, светите вниз.

Форма туннеля, его крутой уклон напомнили Дьюкейну о монарших погребениях, которые

он посещал в Греции и Египте. Следовало захватить и свой фонарик, подумал он. И сказать кому-нибудь, что собираюсь сюда спуститься. Нет никакой необходимости держать это в тайне. Я не предполагал, как будет выглядеть этот поход. А вдруг мы действительно потеряем ключ от двери? Вдруг разойдемся в разные стороны, заблудимся? Такой туннель не может вести в еще одно бомбоубежище, бомбоубежища остались позади, мы сейчас спустились слишком низко. На этом уровне будет скорее участок подземки, которым больше не пользуются, или что-нибудь относящееся к системе канализации.

— Здесь, сэр, снова спуск, опять ступеньки, глядите под ноги! Нет, теперь уже не прямо, а вот сюда, ступайте за мной. Вон в тот проход слева. Не отставайте!

— Крысы вам тут не попадались?

Дьюкейн панически боялся крыс. Сейчас он шел за Макрейтом, едва не наступая ему на пятки, но так, чтобы все же не касаться его.

— Один раз видел, сэр, да какую здоровенную! И мистер Эр много раз их видел. Просил достать жестяных коробок из-под печенья для своих причиндалов. Опасался, как бы крысы их не сожрали, ага. Здесь, сэр, опять налево.

— Вы уверены, что знаете дорогу?

— Очень даже уверен, сэр! Жутковато тут, правда? Просто-таки, думается, катакомбы! Вы не подержите пока фонарик, — я должен взять второй ключ!

Они подошли к закрытой двери. Дьюкейн крепко сжал в руке фонарь. Почудилось ему, что батарея заметно сдает? Он навел фонарик на массивную черную, добротно покрашенную дверь, осветив склоненную к замочной скважине золотисто-рыжую голову Макрейта. Вблизи, на свету, волоски на этой голове блестели, словно жарко начищенная медная проволока. Дверь бесшумно отворилась.

— Порядок! Давайте фонарик, сэр.

— Ничего, я подержу фонарь.

Макрейт вошел в дверь; Дьюкейн, осторожно ступая, последовал за ним. Внутри застоялся тошнотворный запах.

— Ну вот и прибыли, сэр, — что называется, в святая святых!

Дьюкейн повел фонариком, освещая помещение, но первое, что он увидел, был Макрейт. И заново поразился яркости этой рыжей шевелюры. Водянисто-голубые глаза ответили ему немигающим взглядом. На секунду воцарилось

молчание. Затем Дьюкейн двинулся осматривать комнату. Откуда-то возникла несуразная мысль — этот субъект может убить меня здесь, и никто никогда не узнает. Он старался не поворачиваться к Макрейту спиной.

Комната представляла собой простой пятнадцатифутовый куб с бетонным полом. Одна стена казалась оклеенной беловатой бумагой, остальные стены и потолок были из красного кирпича. Тройка черных труб огибала угол потолка и исчезала в стене. Смутно виднелись столы на козлах и табуретки, напомнив Дьюкейну обстановку далекого военного времени — в каких-то блиндажах, в караульных… Он с первой минуты не сомневался, что это странное помещение неким образом связано с войной, с чем-то секретным, негласным, ушедшим в небытие.

— Зажечь свечки, сэр? Вам будет при них виднее. Да и фонарик побережем. А то он, похоже, скоро сядет.

Макрейт сунулся в угол комнаты и с лязгом открыл металлический ларец. Чиркнула спичка. Пламя свечи осветило Макрейтову шевелюру, меловую белизну его щеки и — богато изукрашенный серебряный подсвечник, держащий свечу. У Дьюкейна невольно вырвалось восклицание.

— Красивый, — правда, сэр? У мистера Радичи здесь было много добра, я вам покажу. Можно уже погасить фонарик, сэр.

На грубо сколоченном столе в углу теперь горели четыре свечи в одинаковых серебряных держателях. Дьюкейн подошел рассмотреть подсвечники. Каждый стоял на четырех серебряных шарах, вложенных в драконьи лапы, по всему толстому стволу извивались выгравированные драконы.

— Здорово, да? — сказал Макрейт. — Мистер Радичи говорил, китайские. А вы еще вот на что взгляните!

Он вынул и держал в поднятых руках серебряный позолоченный потир, усыпанный крупными — и, по всей видимости, драгоценными — камнями. Дьюкейн взял у него чашу и осмотрел ее. При тусклом освещении и его слабой осведомленности по части драгоценных камней трудно было с уверенностью сказать, настоящие ли они. Но выглядел потир богато, хотя и несколько аляповато.

— Не грех нам, сэр, и горло промочить!

Макрейт неожиданно плеснул в чашу вина из извлеченной им откуда-то бутылки. Дьюкейн поспешно поставил чашу на стол.

— Да вы не сомневайтесь, сэр! Оно не прокисло! Вполне можем устроить здесь себе пирушку. Не помирать же с голоду! Глядите, и хлеб этот чудной имеется, и орехи, — мистер Эр страсть как любил грецкие орехи…

Макрейт вынимал и раскладывал на столе содержимое жестяных коробок. Дьюкейн увидел отсырелые ломти черного хлеба и орехи, на жилистой скорлупе которых слегка зеленела плесень. Черный хлеб для черной мессы… Дьюкейну вспомнилось, что грецким орехам приписывают магические свойства, поскольку их двойная внутренность похожа на полушария человеческого мозга.

Макрейт колол орехи серебряными щипцами.

— Вот, сэр, держите половинку. Они внутри совсем хорошие.

Дьюкейн почувствовал, как ему суют в руку сухой, морщинистый комочек. Он отпрянул назад. Ни при каких обстоятельствах нельзя было разделить с Макрейтом грецкий орех. Это тоже несло в себе определенное значение, Дьюкейн только запамятовал какое.

— Вы покажите мне, что еще стоит посмотреть, — и мы идем назад.

— Особо-то и смотреть нечего, сэр, — сказал,

жуя орех, Макрейт. — Свечи шли вот сюда. Сейчас я разложу по местам остальное.

Он выстроил свечи в ряд вдоль задней стороны другого стола, стоящего у белой стены. На столе лежал узкий черный матрас.

— Это сюда, сэр, ложилась девица, — прибавил Макрейт, уважительно понизив голос.

Наведываясь к первому, неосвещенному столу, он стал раскладывать на матрасе различные предметы. Сначала — набор стеклянных, плотно закупоренных, снабженных четкими ярлыками банок, какие часто встретишь на кухне. Дьюкейн проглядел ярлыки: мак, иссоп, чемерица, конопля, подсолнечник, паслен, белена, белладонна. За ними легли черный хлеб и горка орехов. Потом — большой пакет столовой соли, колокольчик с серебряной золоченой ручкой, Библия, потрепанный католический молитвенник, палочки благовоний, продолговатый брусок серебра на подставке, с поперечиной ближе к его подножию, — и тонкий черный хлыст. Колокольчик слабо звякнул в белокожей, с рыжей опушкой руке Макрейта.

Продолговатый предмет из серебра Макрейт поместил в центр стола, за матрасом. Ну конечно, подумал Дьюкейн, — крест Св. Антония, перевер-

нутый крест…

— Это — для пяти наших чувств, мне так разъяснил мистер Радичи. Соль — для вкуса, огонь — для зрения, колокольчик — для слуха, благовония — для обоняния, а вот это — для осязания.

Макрейт положил хлыст перед крестом.

Дьюкейн невольно содрогнулся.

— А еще есть вон чего, — продолжал Макрейт.

Язычки пламени отвесили реверанс веянию воздуха, отвлекая внимание Дьюкейна от хлыста.

Макрейт, вдвое увеличась в размерах, то ли сражался с чем-то, то ли пустился в пляс, воздев руки над головой, — непомерная тень, отброшенная им, корячилась на кирпичной стене. Наконец, с тяжелым шлепком, одеяние улеглось должным образом, и Макрейт, скаля зубы, выставил его для обозрения. Он оказался облачен в просторную ризу желтого шелка, расшитую черными сосновыми шишками. Макрейт манерным движением повернулся на каблуках. Рукава и брюки темного его костюма, высовываясь из-под изысканной ризы, порождали ощущение непристойности. Одеяние приходилось ему не впору: Радичи был мужчина крупный.

— А это — последнее дополнение к наряду.

Макрейт держал в руках высокий, негнущийся, расшитый головной убор, похожий на митру, собираясь водрузить его себе на голову Дьюкейн проворно выхватил у него митру:

— Разоблачайтесь!

— Шикарная штука, правда?

— Снимайте ее!

Макрейт нехотя высвободился из ризы. Стаскивая ее через голову, спросил:

— Можно я кое-что, сэр, из этого возьму себе, как по-вашему?

— Что значит «возьму»?..

— На память, так сказать. Ту, например, как ее, — допустим, чашу? Как вы думаете?

— Конечно нет! — сказал Дьюкейн. — Эти вещи достанутся наследникам мистера Радичи. Полиция ими распорядится. Посторонитесь-ка, я хочу еще оглядеться. — Он взял одну из свечей. — Чем здесь так противно пахнет?

— Это птички, надо полагать.

— Птички?

— Ну да, — сказал Макрейт. — Голуби, бедолаги. Вот, гляньте!

Он указал в темноту под еще одним столом, на другой стороне комнаты.

Дьюкейн опустил свечу и увидел там что-то

похожее на большую клетку. Оказалось, что это и вправду клетка, грубо слаженная из паковочного ящика и нескольких прутьев проволоки. Внутри Дьюкейн, наклонясь, разглядел расправленное сизое крыло. Потом увидел в углу кучку гладких округлых серо-голубых тушек. Перья еще отливали глянцем.

— Теперь-то уж передохли, само собой, — заметил Макрейт не без удовлетворения. — Мистеру Радичи они требовались живые.

Рука его потянулась потрогать клетку, почти любовным движением. Запястье, оплетенное сетью золотистых волосков, вылезло далеко из пиджачного рукава.

— То есть вы хотите сказать…

— Он убивал их во время обряда, не знаю уж, как и почему. Кровищи оставлял — страшное дело! Уйму времени потом ухлопаешь, покамест уберешься. Он, знаете, строг был насчет чистоты.

— Где же вы доставали их?

— Ловил на Трафальгарской площади. Пара пустяков, если прийти спозаранку. Зимой, правда, труднее. Но при тумане одного или двух обычно все-таки поймаешь, засунешь под пальтишко — и ходу.

— И вы держали их здесь?

— Каких — здесь, каких — дома, покуда не понадобятся. Кормил их, понятно, только они по большей части спали. Видимо, не хватало света. Вот этих запустил сюда, когда оно все приключилось — с мистером Радичи, стало быть.

Дьюкейн отвернулся от вороха обмягших тушек.

— Вам не пришло в голову спуститься сюда и выпустить их?

На лице Макрейта отобразилось удивление.

— Еще чего! Такого и в мыслях не было. Кому охота ходить сюда лишний раз! Тут мистер Радичи помер, а я стану беспокоиться из-за каких-то голубей…

Дьюкейн встряхнулся. Руку ему все сильнее оттягивал книзу тяжелый подсвечник. Подсвечник качнулся вперед, закапав запястье и пиджачный рукав горячим свечным салом. К Дьюкейну вдруг подступила слабость; только сейчас до него дошло, что с той минуты, как он ступил в эту комнату, его все больше одолевали вялость и сонливость. Непреодолимо тянуло смахнуть с матраса разложенные на нем предметы и растянуться там самому. Первый раз подумалось о том, как проветривается это помещение. Все ощутимее становилось нечем дышать. Дьюкейн

сделал глубокий вдох и надрывно закашлялся от тошнотворного смрада.

— Вонища, да? — Макрейт, все еще стоя на одном колене перед клеткой, наблюдал за ним. — Но это, знаете, не только птички. Это *он.*

— Кто — он?

— Ну, мистер Эр. От него же ужас как воняло! Вы разве не замечали?

Дьюкейн и в самом деле замечал, что от Радичи неприятно пахнет. Один раз слышал, как на этот счет прохаживались служащие в министерстве.

— Так, — если мы покончили с осмотром, то, пожалуй, пора уходить.

Дьюкейн опять шагнул к алтарю. Золотистая риза с черными сосновыми шишками была брошена на конец матраса. Поднеся свечу ближе, Дьюкейн увидел, что облачение разорвано и запачкано; на краю одного крыла ризы темнело неправильной формы бурое пятно.

— Или еще осталось что-нибудь?

— Вы все видели, сэр. Глядите, здесь больше ничего нет. Кроме этих жестянок, но в них — только спички, да сигареты остались после мистера Эр, царствие ему небесное. И под столами ничего, одни лишь все те же голуби. Хотя, смотрите, сэр, смотрите сами.

Дьюкейн прошелся со свечой вдоль стен комнаты и остановился напротив Макрейта, стоящего теперь спиной к кресту Св. Антония, зорко следя за Дьюкейном. Дьюкейн заметил, что он взял хлыст и поигрывает им, теребя пальцем левой руки заостренный кончик рукоятки. В пустых глазах Макрейта не отражалось ничего, кроме сплошной водянистой голубизны.

Убожество всего этого — вот что поражает, думал Дьюкейн. Оно убого, это зло, потайное, невзрачное: пыльная паутина, пятно засохшей крови на одеянии, кучка дохлых птиц в паковочном ящике… То, чего столь усердно добивался Радичи, что он манил к себе, что овевало его своим дыханием, омывало его, этот дух разложения, распада — все оно было лишено великолепия и мощи. Хилые, второсортные силы, неряшливые и неприглядные… Но разве такое зло не способно погубить человека, разве не хватит этой тьмы на то, чтобы умертвить его душу? Оно во мне, думал Дьюкейн, глядя сквозь водянистые, пустые, навыкате глаза Макрейта. Зло — во мне. Есть демоны и злые силы вне нас. С ними затеял игры Радичи, но это — карликовая мелочь. Большое, истинное зло — внутри меня. Это я есмь Люцифер… С этой мыслью в нем поднялась и прилила к сердцу

мгла, как дуновение свежего воздуха. Не такой ли прилив черного блаженства испытывал Радичи, стоя пред перевернутым крестом и возложив потир на живот обнаженной девицы?

— Что с вами, сэр?

— Ничего, — сказал Дьюкейн. Он поставил подсвечник на ближайший стол. — Мне немного не по себе. Воздуху не хватает.

— Присядьте на минутку, сэр. Вот вам табурет.

— Нет-нет, не надо. Что это за странные знаки на стене у вас за спиной?

— Да так, сэр, обычные дела. Солдатики развлекались, надо думать.

Дьюкейн нагнулся поверх матраса, разглядывая белую стенку. Стена была из побеленного кирпича, а впечатление, что она оклеена бумагой, создавал густой слой граффити, покрывающий ее от пола до потолка. Обычным ремаркам и посланиям сопутствовали там и сям даты, все — военного времени. В разнообразном контексте присутствовали изображения мужского члена. Расписанная подобным образом стена позади креста являла собою задник, вносящий в обстановку неожиданно дружественную, человечную, почти что добрую нотку.

Затем внимание Дьюкейна привлекли надпи-

си, по-видимому более недавнего происхождения. Сделанные как будто синим фломастером, они шли поверх карандашных солдатских каракулей. Несколько тщательно начерченных пентаграмм[40] и гексаграмм[41]. Рядом каллиграфическим мелким почерком Радичи было выведено: *Асмодей, Астарта,* а ниже — *Да будут дело твое и воля твоя законом.* Сразу над крестом виднелся большой синий квадрат, который — как, поднеся свечу ближе, разглядел Дьюкейн — состоял из заглавных букв. Буквы гласили:

OYPATEA
HROTASR
COPERAD
ETENETO
EAREPOM
DSATORI
OARSUNA

— Что это значит?

— Ей-богу не представляю. Чудное что-то, не

---

[40] Примечания: 40

Правильный пятиугольник, внутри которого на его сторонах построены равнобедренные треугольники, считавшейся в Средние века магическим знаком.

[41] Примечания: 41

Фигура, образованная шестью пересекающимися линиями.

по-нашему. Это мистер Радичи написал как-то раз. Велел быть осторожнее, когда стираю пыль, чтобы не размазать ненароком.

Дьюкейн вынул свой блокнот-ежедневник и переписал буквенный квадрат на последнюю страницу.

— Идем отсюда, — сказал он Макрейту.

— Одну минуту, сэр.

Оба они стояли, опираясь на стол с крестом Св. Антония. Освещенный свечами сзади, перевернутый крест отбрасывал зыбкие и множественные тени на две руки — Макрейтову левую и Дьюкейнову правую, — сжимающие край столешницы. В правой руке Макрейт по-прежнему держал хлыст, опустив его теперь вдоль шва своей штанины. Наклонясь немного, Дьюкейн точным и четким движением выдернул хлыст из Макрейтовой руки, размахнулся и швырнул его на матрас. Соприкоснувшись с Макрейтом пальцами, он очень явственно, будто вписанными в овал света, увидел голову и плечи Макрейта, золотисто-рыжие волосы, узкое бледное лицо, незапятнанной голубизны глаза. Зрелище это несло с собою чувство чего-то нового. Я первый раз вижу, что он молод, думал Дьюкейн, — да нет, впервые вижу, что он красив. Рука его крепче впилась в столешницу,

царапая деревянную поверхность ногтями.

— Давайте, сэр, не будем ссориться, ладно?

— А я не знал, что мы с вами ссоримся, — не сразу отозвался Дьюкейн.

Он медленно отступил на шаг назад.

— Это я, понимаете, насчет того дельца. Вы, сэр, если помните, любезно выручили меня небольшой суммой денег. Я же, со своей стороны, смог пойти вам навстречу касательно писем от молодых дам. И был бы очень вам благодарен, сэр, если б мы сейчас решили с вами этот пустяковый вопрос на солидной деловой основе, а там бы можно и вообще позабыть о нем, верно? Вы мне нравитесь, сэр, не стану скрывать, — нравитесь, и желательно, чтобы мы были друзьями. Вот, скажем, с мистером Радичи мы, к примеру, были друзья, — то же и с вами хотелось бы, мистер Дьюкейн, самое это, по мне, милое дело. А уж я бы вам, сэр, нашел чем услужить, коли вздумаю, я, сэр, человек полезный, на все руки мастер, как говорится, и мистеру Радичи очень много чем пригождался. И вам, сэр, от души скажу, рад был бы служить. Только лучше бы, думаю, для нас обоих перво-наперво уладить то самое дельце. Фунта, допустим, четыре в неделю, сэр, для вас будет не в тягость — да я никогда бы лишнего с

вас и не запросил. Только-то, сэр, — на постоянной, типа, основе, — так что, если не возражаете, сэр, всего лишь заполните вот это платежное банковское поручение, чего проще…

— Платежное поручение? — повторил Дьюкейн, глядя, как помахивает перед ним листком бумаги призрачная фигура Макрейта. Он вдруг затрясся от безудержного смеха. Одна из свечей потухла. — Банковское платежное поручение? Да нет, Макрейт! Боюсь, вы неверно все поняли. Вы, конечно, выдающийся негодяй, но я пока что в здравом уме. Да, я заплатил вам кое-что, так как вы были нужны мне, чтобы провести это обследование. Теперь, когда я получил от вас все, что требуется, я вам не дам больше ни гроша.

— В таком разе, сэр, боюсь, я буду вынужден связаться с известными вам молодыми дамами. Вы об этом подумали?

— Относительно молодых дам — делайте, что хотите, — сказал Дьюкейн. — Я покончил с вами, Макрейт. Насчет того, как забрать вещи, которые здесь находятся, с вами свяжется полиция, и вам придется давать показания. Это уже не моя забота, слава Богу. Я вас больше ни видеть, ни слышать не желаю! А теперь — идем назад.

— Но, сэр, послушайте…

— Довольно, Макрейт. Давайте-ка мне сюда фонарь. Идите, показывайте дорогу. Живо!

Они задули оставшиеся свечи. Черная дверь отворилась, впустив из склепоподобного туннеля темное дуновение более свежего воздуха. Макрейт скрылся за порогом. Дьюкейн, светя фонариком ему на пятки, двинулся следом. Поднимаясь по пандусу, он ощутил странный вкус на языке и понял, что в какой-то момент — по рассеянности, должно быть, — сунул в рот половинку грецкого ореха и съел ее.

Глава двадцать седьмая

«Джон, родной мой, прости, что пишу тебе — я не могу не писать. Я должна делать что-нибудь, что связывает меня с тобой, реально, а не только мысленно — и это единственное, что мне остается. Спасибо тебе большое за твою милую открытку. Я так радуюсь при мысли, что увижу тебя через неделю! Но ждать предстоит еще так долго! Вот мне и пришло в голову — возможно, тебе приятно будет знать, что все это время я думаю о тебе. Или это нехорошо? Я так счастлива при мысли, что ты все же смирился со мною! Ведь правда смирился? То есть *позволяешь* мне любить тебя, да? А мне больше ничего и не надо! Вернее, надо, но это все, о чем я могу просить, и, поверь мне, Джон, этого *достаточно.* Думать о тебе, видеть тебя изредка, когда ты не слишком занят — уже счастье! Любовь — прекрасное занятие, Джон, и я начинаю думать, что овладела им в совершенстве! Будь же

здоров, мой родной, не работай слишком много, и если тебе принесет отдохновение уверенность, что каждую минуту твоя Джессика думает о тебе с любовью, то будь в этом уверен, ибо так оно и есть. Сто раз твоя,

Джессика.

P. S. Любопытно, поймешь ли ты меня, если я скажу, что меня *мучает совесть?* И что я с огромным облегчением получила твою открытку и поняла, что все хорошо? Ты умеешь прощать, и за это я обожаю тебя тоже. (Если все это звучит для тебя бессмыслицей — неважно! Когда-нибудь объясню!)»

«Джон, дорогой!

У меня скверно на душе, и я должна писать тебе, и пусть я знаю, что ты не хочешь слушать, как я люблю тебя, это тебя только бесит, — я все равно должна вновь говорить тебе об этом, потому что это правда, и с этой правдой я живу в адских муках. Я знаю, людям свойственно отворачиваться от неприятного, и ты, без сомнения, стараешься думать как

можно меньше о проблеме «Что делать с Джессикой?», однако проблема остается, и мне приходится время от времени обращать на нее твое внимание, так как *ты — единственный, кто может мне помочь.* Скажу больше: не только может, но и должен, ведь ты отчасти в ответе, что пробудил во мне столь непомерную, поистине чудовищной силы любовь. Мне, разумеется, никогда от нее не излечиться. *Но ты обязан чуточку больше помогать мне с нею жить.*

Если (что далеко не факт) я хоть отчасти занимаю твое воображение, ты, полагаю, знаешь, что с каждой почтой я жду от тебя письма. Глупость страшная, — но жду, ничего не могу с собой поделать, это просто сильнее меня. Едва лишь заслышу почтальона, как стрелой лечу вниз. И когда, по обыкновению, ничего мне не приходит, это похоже на своего рода ампутацию. Задумайся об этом, Джон, хотя бы на две секунды! Ты оставляешь меня в неведении почти на целую неделю. Потом шлешь *открытку* с предложением встретиться через десять дней. Так не

годится, милый мой! Неужели ты в самом деле так занят, что не можешь полчасика повидаться со мной на следующей неделе? Я, как тебе известно, теперь веду себя очень хорошо — приходится, ты вышколил меня! Так, может быть, ты все же выкроил бы как-нибудь вечером время встретиться и выпить рюмочку? Мне подошло бы, впрочем, любое время дня и любое место. Тебе достаточно позвонить по телефону. Я теперь почти все время дома.

Повидаться с тобой именно сейчас было бы для меня сугубым облегчением, потому что... Интересно, знаешь ли ты почему? Я все гадаю, не сердишься ли ты на меня — особенно после того, как получила твою открытку. Если ты считаешь, что я поступила дурно, ты должен простить меня. А иначе я умру. Прошу тебя, Джон, — давай увидимся на следующей неделе!

Джессика».

«Джон, как до тебя, быть может, уже дошло, я переспала на прошлой неделе

с одним человеком. Ты, надо полагать, все об этом знаешь и либо возмущен, либо глубоко презираешь меня. По твоей открытке этого не понять. Она звучит как-то странно. Что ты думаешь обо мне? Я не говорю: «прости меня», потому что не чувствую раскаяния. Ты слишком ясно дал мне понять, что я тебе не нужна — или, вернее, нужна лишь на твоих условиях. Мне полагается любить тебя, но не причинять при этом беспокойства. Да вот, оказывается, и от меня случается беспокойство! И со мной тоже кое-что происходит! Впрочем, по-видимому, мне следует быть благодарной, что ты, по крайней мере, всегда был предельно честен со мой — и я теперь предельно честна с тобою. И, к сожалению для нас обоих, истина состоит в том, что я люблю тебя, тебя одного, — люблю всем своим существом, неизменно, без памяти. Придется тебе мириться с этим. *Прошу тебя, сделай так, чтобы мы увиделись завтра.* Я позвоню тебе на работу.

Дж.»

Джессика Берд продолжала без устали мерить

шагами свою комнату. Три письма, на которые у нее ушла почти вся ночь, лежали на столе. Которое из них послать? В котором сказана правда? В каждом из трех она выразила свои чувства. Но которое окажется более действенным? В глубине души она знала, что ни одно из них действия не возымеет. Любое лишь вызовет у Джона раздражение и ожесточит его против нее. Не встретится он с нею завтра. Возможно, найдет для нее полчаса на следующей неделе, но тогда отложит ту встречу, о которой сказано в его открытке. Едва ли он сердится на нее — она ему просто надоела, и, что бы она ни сделала, чем бы ни попыталась привлечь к себе его внимание, все станет только причиной досады. Это, пожалуй, самое горестное, что дано испытать, когда любви приходит конец, — знать, что для того, кто любил тебя когда-то, ты ныне скучна, назойлива и ничего не значишь. Уж лучше бы, кажется, откровенно ненавидел… Она, конечно, очень несправедлива по отношению к Джону. Джон — совестливый человек, он, несомненно, печется о ее благополучии, и если он назвал такой далекий день для их встречи в *открытке,* то сделал это из принципа и из чувства долга. Пытался исцелить ее. Но только это так не делается. И исцеления для нее нет.

Изведав явную жгучую ревность, Джессика почувствовала своеобразное облегчение. Красивая женщина, входящая к Джону в парадную дверь, была неоспоримым объектом восприятия, чем-то новым, что послужило пищей совершенно новым мыслям и с новой силой разожгло любовь; и как даже среди мучительных любовных страданий живет известная радость, так этот период ревнивой любви принес с собою нечто бодрящее и даже обнадеживающее. Этот период, однако, хоть он и не совсем миновал, претерпел изменения. На Джессику среди всего прочего, что ее занимало, произвел впечатление тот непреложный факт, что ей не удалось обнаружить в спальне Джона ни одного красноречивого свидетельства: ни шпильки, ни следов косметики или духов, ни противозачаточных средств — ничего. Поскольку Джону едва ли могло прийти в голову, что ей достанет дерзости и изобретательности проникнуть к нему в дом, он вряд ли потрудился бы содержать свою комнату в столь безупречном виде, если бы в ней действительно что-то происходило. Джессику особенно поразило отсутствие малейшего намека на духи. Женщина, которая выглядит как та, которую она видела, непременно должна была душиться. Духами не пахло, и

это было замечательно. Но женщина, живая и реальная, — была, и Джессика продолжала бы проводить время, строя о ней догадки, когда бы не погрузилась в пучину ужасающих тревог и волнений из-за того, сколь невероятным образом завершился ее поход в дом к Дьюкейну.

Субтильный мужчина по имени Вилли говорил, что ничего не расскажет Джону, — но можно ли было ему верить? Свойственно ли мужчинам рассказывать о таком друг другу? Разумеется свойственно! Со стороны Вилли было бы лишь естественно сказать ей — притом вполне искренне, — что он будет молчать, а после — все-таки рассказать. Как отнессся бы к этому Джон или — как он к этому отнесся? Что означает его открытка? Как ей поступить? Признаться? Ну а если он не знает? Или не признаваться — но вдруг он знает? Вызовет ли это у него гнев, вызовет ли — о, сладостная мысль! — ревность, решит ли он начисто вычеркнуть ее из своей жизни? Возможно, ее прегрешение станет той последней каплей в чаше его неприязни, что подтолкнет его к решению окончательно с нею порвать. Таков ли смысл его открытки? Затаить в душе злобу, унизить ее отсрочкой свидания, а потом объявить ей, что оно — последнее? Или же он все знает и

ему просто безразлично? А может быть, не знает и мало-помалу проникается благодарностью к ней за любовь, готов принять ее и находит отраду в сознании, что она незыблемо присутствует в его жизни?

Джесика остановилась у окна, но не затем, чтобы выглянуть наружу. Для нее оконное стекло могло быть непрозрачным, лицо ее могла закрывать черная вуаль — столь невидимы оставались для нее машины и прохожие, собаки и кошки, снующие по улице. Видения и думы заполонили ей голову с такой силой, что практически заслонили собою реальный мир. Единственной отдушиной в бесконечной череде размышлений были фантазии, но предаваться им она позволяла себе очень скупо. Джон сам не умеет толком разобраться в собственных чувствах. Он — безнадежный пуританин, для которого любовная связь невозможна без сознания своей вины. Он положил конец их любовным отношениям, так как сознание вины мешало его счастью. Но он постепенно убеждается, что без Джессики жизнь его пуста. Он искренне пытался перевести их отношения в чисто дружеские, но не в силах не думать о ней постоянно. Настанет день, и он поймет, что не может разлюбить ее и придет к мысли,

что лучший способ избавиться от чувства вины, внушаемого тебе каким-то человеком, — жениться на этом человеке. Напишет ей длинное письмо в свойственном ему педантичном, официальном стиле, с подробным анализом своего душевного состояния, спрашивая, любит ли она его еще после всех страданий, которые он причинил ей, и согласна ли стать его женой.

Не однажды обращалась Джессика мыслями и к Вилли. Для того, кто несчастлив в любви, любое событие — подарок, а Вилли, бесспорно, был событием. Какое-то короткое время, покуда на нее не нагнали страху собственные раздумья вкупе со странной открыткой от Джона, воспоминания о Вилли приятно кружили ей голову. Сама неверность таила в себе известную долю кощунственного удовольствия. Кроме того, Вилли обратил на себя ее внимание и, неведомо для нее самой, простая надобность увидеть в мире что-то помимо Джона Дьюкейна пошла ей на пользу. Вилли пробудил в ней любопытство, затронул ее за живое, и, пока привычная тирания любви не вернула опять в заточение ее бедное, ко всему равнодушное сердце, она определенно ощущала желание увидеться с ним снова. Он так и не назвал ей свою фамилию, не сказал, кто он такой.

Теперь, впрочем, ее интерес к нему — слабый проблеск здорового начала, о чем она не догадывалась, — был полностью подавлен и вытеснен чувством вины и сомнениями, связанными с Джоном.

Джессика посмотрелась в длинное зеркало, висящее в углу комнаты. Она уже утратила способность судить, хороша ли она собой. Лицо ее теперь ничего не значило, если не видеть его глазами Джона, тело имело смысл, лишь когда к нему прикасался Джон. Вот только что же он видел, к чему прикасался? Мысль, что он может видеть ее так же ясно, как видела себя сейчас она, привела ее в ужас. Что, если он теперь смотрит на нее с тайным отвращением, замечая волоски у нее над верхней губой, широкие поры на крыльях носа? Она укоротила юбку, следуя новой моде, и ее длинные ноги в узорчатых кремовых чулках были видны теперь гораздо выше колен. Но нравятся ли ему до сих пор ее длинные ноги или его только раздражает, что она одевается в этом молодежном стиле — так, что поневоле заметишь то, чего раньше не замечал: как нескладно торчат у нее коленки? Джессика отвела рукой назад длинные пряди светлых волос и приблизила лицо к зеркалу. Сомнений не оставалось. Она

начинала стареть.

Она опять принялась ходить взад-вперед по комнате, поглядывая на три письма, лежащие на столе. Звуки ее шагов гулко отражались от пустых белых стен. Она уничтожила все свои объекты, а создавать новые не было охоты. Триместр в ее школе закончился, и у Джессики теперь была возможность день-деньской вышагивать по комнате, думая о Джоне Дьюкейне. Выходить из дому она не решалась из страха, что он может в это время позвонить.

Снизу донеслись негромкие звуки, и Джессика кинулась к двери. Почта! Перепрыгивая через две ступеньки, она слетела вниз и схватила конверты, лежащие на половичке. Она мечтала, что придет толстый конверт с письмом от Джона, но и боялась этого. Письмо могло содержать пространные и подробные объяснения, почему он решил не видеться с нею больше.

Письма от Джона не было. Знакомая боль — боль, которую она сравнивала с ампутацией, — пронзила ее тело. Нет, это походило не на ампутацию. Боль была резкой, словно тебя вздернули на дыбу. Словно у тебя разом сместились все суставы. Джессика бросила конверты на стол. Одно письмо для нее все-таки было, в коричне-

вом грубом конверте, надписанное незнакомым и довольно корявым почерком. Джессика тяжело поднялась по лестнице, и две слезы очень медленно, как бы устало и нехотя, сползли у нее по щекам. Хоть бы уж эту почту не доставляли три раза в день!

Она положила коричневый конверт на стол. Отослать ли ей Джону одно из написанных ею писем? Она во что бы то ни стало должна увидеться с ним, и скоро! Пытка не знать, известно ли ему все и что он об этом думает, становилась физически непереносимой. Что-нибудь просто лопнет у нее внутри, сердце ее разобьется в буквальном смысле слова, если они не встретятся очень скоро. Решиться позвонить ему на работу? Он просил никогда этого не делать. Но когда она последний раз звонила ему домой, его слуга сказал, что его нет, и немыслимо было снова подвергать себя мучению, воображая, как он велит слуге не звать его к телефону, если будет звонить известная молодая особа.

Джессика рассеяно взяла со стола коричневый конверт и надорвала его. Он оказался довольно плотно набит. Она вытащила листок линованной бумаги с короткими строчками какого-то послания, и вместе с ним выпал другой конверт

и лег лицевой стороной наружу поверх одного из ее писем. Джессика уставилась на него в недоумении и испуге, заранее предчувствуя недоброе. Конверт, надписанный совсем иным, непохожим почерком, был адресован Джону Дьюкейну, эсквайру. Почему его послали ей? Для передачи Джону? Но она увидела, что конверт уже вскрыт и на штемпеле — более раннее число того же месяца. Цепенея от ужаса, Джессика развернула сопроводительное послание. Оно было немногословным и гласило:

> «Сударыня!
> Учитывая Ваши неравнодушные чувства к мистеру Джону Дьюкейну, уверяю, что Вам будет интересно ознакомиться с прилагаемым к сему.
> Искренне Ваш,
> Доброжелатель».

Охваченная безудержной дрожью, Джессика непослушными пальцами вытянула из другого конверта письмо. Вот что оно гласило:

> «Трескоум-хаус,
> Трескоум,
> Дорсет.

«Джон, светик мой, я так соскучилась, — кажется, целый век осталось ждать до нашей чудесной *встречи в конце недели!* Ужасно думать, как Вы там один-одинешенек в Лондоне, — но ничего, еще немного, и мы опять будем вместе! Не забывайте, что Вы принадлежите мне, а я — страшная собственница! И своих прав не уступлю! Не оставляйте же меня надолго, милый мой, старайтесь приблизить день и час свидания. Какое блаженство, Джон, говорить Вам о любви и знать, что мы чувствуем одно и то же!

Люблю, люблю!

Ваша Кейт.

P. S. Вилли Кост шлет Вам привет и тоже надеется на скорую встречу».

Джессика села на пол и сосредоточила все свои силы на том, чтобы не умереть. Ее не подмывало зарыдать или разразиться воплями — ощущение было такое, словно плоть ее распадается на части. Потрясение затмило собою боль или, возможно, боль была столь неимоверной, что привела ее к грани бесчувствия. Минут пять Джессика сидела не двигаясь, с закрытыми глазами, судорожно напрягая каждый мускул в усилии сохранить себя в

целости. Потом открыла глаза, перечитала письмо еще раз и внимательно рассмотрела конверт.

Сомнений не оставалось, — разумеется, письмо к Джону было от любовницы. Помимо общей тональности, об этом явно свидетельствовали красноречиво выделенные слова о чудесной встрече в конце недели. Письмо говорило о безоблачных, более того — восторженных отношениях. Его писала женщина, которая не сомневается, что ее любят. Ко всему прочему, оно было написано менее трех недель назад. Число на конверте значилось отчетливо, да и само письмо помечено было числом, месяцем и годом. Так что совсем недавно роман уже длился какое-то время, был в полном разгаре. А это значит, что Джон ей лгал.

Джессика поднялась с пола. Подошла к ящику, в котором хранились все письма, написанные ей Джоном, и вынула лежащую сверху открытку.

> «Прости, что пишу второпях, безумно занят на работе разными обременительными делами. Сожалею, что не писал тебе. Могли бы мы встретиться в понедельник — но только не ближайший, а через неделю? Буду ждать. Если не услышу от тебя возражений, то буду у тебя в

семь.

С наилучшими пожеланиями.

Дж.»

Разными обременительными делами, думала Джессика. Буду у тебя. До чего же иначе звучат теперь эти слова! Ей, само собой, не дозволено приходить к нему, никогда и ни под каким видом. Поглощенный своим расчудесным романом, он холодно рассчитал, как отложить встречу с ней подальше, до какой крайности довести ее, не возбуждая подозрений. Понедельник — но только не ближайший, а через неделю. Так гладко изложено — чтобы жалкая подачка выглядела не столь убого. Честно посмотрит ей в глаза, как при последнем их свидании, и честным, серьезным голосом скажет, что у него нет любовницы.

Джессика стала снова расхаживать по комнате, но теперь — размеренными шагами. Не торопясь, обдумала побуждение немедленно снять трубку и позвонить Джону на работу. Обдумала его не торопясь, так как знала, что никакой срочности нет, поскольку она определенно не сделает этого, — а еще знала, что внутри у нее происходит нечто очень важное. Нужно только дать этому важному время созреть, утвердиться в своей власти над нею. Итак, Джон, совестливый пуританин Джон,

справедливый и добродетельный, богоподобный Джон преспокойно ей лгал. Она вовсе не была для него объектом участия и заботы, она была кем-то, кого обманывают, кому морочат голову и втирают очки. Она, пожалуй, — при этой мысли Джессика на минуту остановилась, прервав свою размеренную ходьбу по комнате, — являла собой положительную опасность для него, угрозу его только что обретенному счастью, постылый огрызок прошлого, фальшивую ноту. *Ужасно думать, как Вы там один-одинешенек в Лондоне…* Джон, разумеется, не говорил прелестной даме о своих обязательствах перед бедной Джессикой. Как можно — так недолго и все испортить! И, стало быть, прелестной даме Джон тоже лгал.

— С Джоном все кончено, — вслух сказала себе Джессика. — Это конец.

Она опять замолчала, прислушиваясь к себе. По-прежнему из груди ее не рвались наружу ни вопли, ни рыдания, отсутствовала и опасность упасть в обморок. Внутри у нее что-то отвердело, обозначился жесткий стержень, тонкий, как стальная проволока, но очень прочный. Она все-таки не умрет из-за Джона Дьюкейна. Превосходство теперь за нею. Она знает — а ему о том неизвестно. Джессика села на кровать. Она

страшно устала, как после долгой прогулки. День ото дня ходила она взад-вперед по комнате, думая о Джоне, в ожидании, что он напишет, позвонит по телефону. И все это время… Джессика пристроила у себя за спиной две подушки и села прямо и удобно. Она сидела совершенно недвижимо, словно преобразилась в истукана или сфинкса. Глаза ее почти не моргали, дыхание почти что замерло — жизнь, казалось, покинула ее, оставив на ее месте восковую фигуру. Прошел час.

Когда Джессика наконец шелохнулась, был вечер. Она подошла к окну и посмотрела наружу. По изгороди, мягко ступая, кралась сиамская кошка. Парнишка, выходец из Вест-Индии, разносил вечерние газеты. Два пса обнюхивали друг друга, приветственно махая хвостами. Джессика отвернулась от окна и подошла к зеркалу.

— Джессика, Джессика… — негромко повторила она несколько раз своему отражению.

Потом вернулась снова к столу и взяла письмо — но на этот раз лишь затем, чтобы перечитать постскриптум. *Вилли Кост.*

Глава двадцать восьмая

— Я все ждал, когда вы объявитесь, — вполголоса сказал Дьюкейн.

Ричард Биранн стоял в гостиной у Дьюкейна, не торопясь занять кресло, предложенное ему хозяином. Дьюкейн сидел у пустого камина. Горели лампы, задернутые шторы оттеснили наружу темно-синий вечер.

Биранн стоял, трогая пальцами каминную доску, беспокойно покачиваясь всем телом, подергивая плечами. Продолговатая голова его была откинута назад вполоборота, голубые узкие глаза, стрельнув в сторону Дьюкейна, обвели взглядом комнату и, с оттенком кокетства, стрельнули вновь. Лампа у него за спиной затеняла его лицо, освещая курчавую гривку белокурых волос. Он явился к Дьюкейну без предупреждения две минуты тому назад.

— Ну что? — сказал Дьюкейн, пряча за холодным, почти апатичным спокойствием огромное, пьянящее довольство приходом Биранна.

Предпринятое совместно с Макрейтом обследование «молельни» Радичи окончательно

убедило Дьюкейна, что к области, затрагивающей интересы спецслужб, Радичи непричастен. Что вся эта деятельность, связанная с черной магией, — определенно не прикрытие для отвода глаз. В убогих приспособлениях, которыми пользовался Радичи, ощущалась искренность, чистосердечная вера, — и потом, будь у Радичи на уме иное, он вряд ли пошел бы на риск привлечь к себе внимание ночными посещениями молельни, да еще с девицами. Самоубийство по-прежнему оставалось необъяснимым. Однако знакомство с обстановкой молельни давало основания полагать, что такому человеку вполне могли быть свойственны самоубийственные побуждения. В ходе той освещенной свечами вылазки Дьюкейну приоткрылась реальность, с которой имел дело Радичи. Конечно, ни в какое общение с потусторонним Дьюкейн не верил. Однако то, что совершалось в той комнате, на том алтаре, когда голубиная кровь орошала черный матрас, было совсем не ребяческим лицедейством. То было явное и действенное вторжение в сферу человеческого мозга. Дьюкейну никак не удавалось вытравить из ноздрей зловоние, вынесенное оттуда, и он знал, что Макрейт был прав, говоря, будто смрад исходит не только от

разлагающихся птиц. Радичи обнаружил и материализовал вокруг себя мрачный сгусток некоего зла — пусть невеликого зла, но все же успех в этом предприятии вполне мог толкнуть его на путь к самоубийству.

Все это выглядело логично и могло бы служить логически приемлемым толкованием, когда бы в этой истории не был замешан Бираннн. Бираннн проделывал что-то с телом Радичи, он утаил правду о том, что бывал у Радичи дома, он знал Джуди Макрейт. При всем том Дьюкейн был далеко не уверен, что Бираннн владеет разгадкой самоубийства Радичи или знает о нем нечто большее, чем те умозаключения, которые сумел уже сделать он сам. У Дьюкейна создалось вдруг впечатление, что расследование его закончено — во всяком случае, в той мере, в какой это практически возможно, — и ему можно с чистой совестью писать отчет, в котором Бираннн не будет упомянут вообще. Все, что связывало Бираннна с Радичи, каким бы странным и подозрительным оно ни казалось, могло иметь вполне невинное объяснение. Допустим, он прикасался к телу покойного из любопытства или заботы о внешних приличиях, а после счел за благо умолчать об этом; что до его отношений с Макрейтами, они могли завязаться

совершенно случайно; у Радичи же он, возможно, бывал с целью увидеть Джуди, и как раз потому скрыл это. Одним словом, упомянутые соображения скорее наводили на мысль, что ни в чем предосудительном Биранн не повинен.

Все это было логично и разумно, и Дьюкейну следовало бы ограничиться убеждением, что так оно и есть и, соответственно, дело, порученное ему, благополучно завершилось. Он же, однако, ограничиться этим не мог — отчасти из-за уверенности, возникшей на не слишком ясных основаниях, что есть в этом деле сторона, все еще остающаяся нераскрытой, и Биранн о ней знает, а отчасти из-за личного и глубоко неравнодушного отношения к Биранну. Он привык смотреть на Биранна, как охотник смотрит на дичь. Биранн вызывал у него острое любопытство — любопытство, граничащее с приязнью. Ему очень хотелось объясниться с Биранном начистоту, мысль об этом возбуждала его. Тем не менее за два дня, прошедшие со времени его с Макрейтом похода в подземелье, он так и не решился ничего предпринять. Увидев у себя на пороге Биранна, он был в восторге.

Биранна обуревали эмоции, характер которых было непросто распознать — но скрыть их он не

мог, да и не собирался. Он прошелся вперед-назад по комнате и встал, глядя на Дьюкейна.

— Да вы садитесь, — сказал Дьюкейн, указывая на кресло напротив себя, — выпейте виски.

Он уже поставил на низкий столик возле камина графин и два стакана.

— Нет, спасибо, я постою, — сказал Бираннн. — Не надо виски.

Дьюкейн, мысль которого не переставала работать с той минуты, как перед ним в синих сумерках дверного проема показалось замкнутое лицо Бирaнна, сказал тоном, в котором слышались и приглашение к разговору, и властность:

— Вы пришли сказать мне что-то. Что же?

— Боюсь, я вас не очень понимаю…

— Послушайте, — сказал Дьюкейн, — я буду говорить с вами прямо и хочу, чтобы вы отвечали мне тем же. Вы пришли рассказать мне что-то о Радичи. Мне уже многое известно о Радичи и многое известно о вас, но кой-какие частности до сих пор вызывают у меня вопросы. Они, может статься, совершенно безобидны, эти частности, и если вы способны дать им должное объяснение, я буду первым рад поставить на этом точку.

Бираннн, по-прежнему не сводя с него глаз, пригладил себе рукою волосы.

— Для человека, который собрался говорить прямо, вы потратили слишком много слов, не сказав ничего. Я желаю знать, зачем вы приходили ко мне.

— Хотел расспросить вас кой о чем.

— О чем это? — Высокий голос Бирана осип от нервного напряжения.

— Я хотел выяснить, почему вы в некоторых случаях говорили мне неправду, — раздельно сказал Дьюкейн.

Он заметил, что непроизвольно подался вперед, и заставил себя вновь сесть ровно.

— Какую неправду?

— Сделали вид, будто не знаете Радичи, когда на самом деле были с ним хорошо знакомы.

— Еще что?

— Для чего вам понадобилось проделывать что-то с телом Радичи? — сказал Дьюкейн.

— Ничего я с ним не проделывал, я до него не дотрагивался.

— Тогда каким образом к нему на воротник попали отпечатки ваших пальцев?

Бирани, продолжая глядеть на него в упор, прикусил зубами костяшки пальцев. Потом опять прошелся по комнате.

— Ничего, если я все-таки выпью виски? И сяду,

можно?

— Пожалуйста. Итак?

Биранн сел, не торопясь налил себе виски. Посмотрел в стакан, осторожно пригубил его.

— Наверное, с моей стороны было глупо вас обманывать, — сказал он, — но я просто не хотел оказаться замешанным в этой истории. Вы меня поймете. Может быть, мне следовало сообщить полиции, что я трогал тело покойного, да показалось, что это не так уж важно и к тому же достаточно нелепо. Безотчетный порыв, и только. Он сидел, навалясь на стол, и я подтянул его чуть выше — скорей всего, чтобы проверить, жив ли он, — и одновременно отодвинул в сторону револьвер. Потом вернул все на прежнее место. А вот что вас заставило искать у него на воротничке мои отпечатки?

— Вы не вернули все на прежнее место, — сказал Дьюкейн. — Очевидно, вы не знали, что Радичи левша. И положили револьвер не с той стороны.

Биранн слабо усмехнулся. Виски подействовало на него благотворно.

— Какой талант пропадает! В Скотленд-Ярде вам цены бы не было.

— И зачем вы заперли дверь?

— Вы хорошо осведомлены… Тоже безотчетный порыв. Хотел было в первые мгновения позвонить Октавиану и держать дверь запертой до его прихода. А затем передумал.

— Я через две минуты скажу, как отношусь к этим объяснениям, — сказал Дьюкейн. — Расскажите теперь, почему вы делали вид, будто не знаете Радичи.

— Из элементарной осмотрительности, — сказал Бираннн, подливая себе виски. — Каждый все-таки вправе оградить себя от беспардонного вмешательства посторонних в его жизнь. Я не знаю, почему этот человек покончил с собой. Это могло быть как-то связано с женщинами — да мало ли с чем могло быть связано! Я не хотел подвергаться допросу или выступать в роли свидетеля. Вы поступили бы так же на моем месте.

— Я — нет, и, кроме того, я никогда не оказался бы на вашем месте, — сказал Дьюкейн, в запальчивости подаваясь опять вперед.

Бираннн, ничего не говоря, отвечал ему пристальным, почти строгим взглядом, затем перевел его на стакан с виски, который круговым движением покачивал в руке.

Громкий хлопок входной двери и обрывок «Пригожего графа Мари» возвестили о возвра-

щении отпущенного на полдня Файви. Дьюкейн, нахмурясь, опять сел ровно и мысленно чертыхнулся: проклятье, а ведь отвертится…

— Что скажете о Елене Прекрасной? — спросил он.

Биранн хитро улыбнулся и доверительно поднял бровь.

— Младая Джуди, ну как же! *Ваши* с нею пути, сколько я понимаю, также не преминули пересечься! Похоже, она присутствует в жизни каждого из нас.

— В моей жизни она не присутствует! — сказал Дьюкейн.

Он чувствовал, что его разбирает злость. Разговор пошел в неверном направлении. Биранн был уже явно не так взбаламучен, а вот его самого, получалось, поддевают и вынуждают отбиваться. Он выпрямился и налил себе виски. Они обменялись взглядами.

— Ну же, Биранн, давайте. — Это прозвучало мягко, почти просительно.

— Что значит — «Ну же, давайте»? Я не отрицаю, что знаю Джуди Макрейт и что Радичи тоже знал ее. Она — дама многосторонняя, с широким кругом знакомства.

— Вы познакомились с ней через Радичи?

Видно было, что Биранн насторожился.

— Нет. Нас познакомил ее муж. Макрейт умеет распорядиться ходовым товаром. Радичи познакомился с ней таким же образом.

— Макрейт и вас тоже шантажирует?

— Почему «тоже»? Он что, шантажирует вас?

— Нет. Он шантажировал Радичи.

— Вот как? Ах да, припоминаю. Интересно. Возможно, это объясняет самоубийство.

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Не убежден, дорогой Дьюкейн, что я признаю за вами право устраивать мне допросы.

— Тогда почему же вы сегодня сюда явились?

— Допустим, потому что вы действовали мне на нервы. Впрочем, если хотите знать правду, я явился сам задать вам кой-какие вопросы.

— О чем?

— О том, насколько близко вы знакомы с Джуди Макрейт.

— Ну, знаете!

Дьюкейн поднялся, со стуком отодвинув кресло и едва не опрокинув лампу. Прошел быстрым шагом на другой конец комнаты, вернулся назад. Он глянул сверху вниз на Биранна и понял, что они поменялись местами. Биранн вольготно расположился в кресле, Дьюкейн — стоял перед

ним. В том, что Биранн умен, сомневаться не приходилось. Выкрутится, подумал Дьюкейн. Откуда взялась у него эта уверенность, что здесь есть из-за чего выкручиваться?

— Так как же? — сказал Биранн.

Он, кажется, совершенно расслабился; рука его поглаживала стакан, ноги протянулись вперед, продолговатая узкая голова лениво покоилась на спинке кресла.

Пришел сюда выяснить, много ли мне известно, думал Дьюкейн, а я фактически дал ему понять. Вот черт! С этой мыслью в нем окончательно утвердилась уверенность, что Биранн виновен — в чем-нибудь да виновен, и не исключено, что в чем-то серьезном. Не мешало бы припугнуть его, подумал он.

Лихорадочно собираясь с мыслями, Дьюкейн сказал:

— Вы отлично знаете, что я едва знаком с миссис Макрейт.

— Вы целовались с ней, — сказал Биранн. — Хотя, конечно, темные лошадки вроде вас частенько обгоняют всех прочих.

С коротким смешком Биранн плеснул себе в стакан еще виски.

— Это она меня поцеловала, — сказала Дью-

кейн. — Признаюсь, со своей профессиональной сноровкой она застигла меня врасплох. Вы прекрасно понимаете, что у меня отсутствует подобного рода интерес к миссис Макрейт.

— С какой стати я должен вам верить?

— Я не имею обыкновения говорить неправду.

— Серьезно? — сказал Бираннн. — Отчего в таком случае вы только что ее сказали?

— То есть?

— Сказали, будто Макрейт вас не шантажирует.

Дьюкейн бросил взгляд на красивое, дерзкое лицо Бирана. Отвернулся, смеясь, и стал расхаживать по комнате.

— Ну хорошо. Макрейт действительно попытался меня шантажировать, и я, по известным мне причинам, ему в том потворствовал. Как вы узнали?

— Он сам мне сказал. Этому типу свойственна подкупающая откровенность. Меня он тоже пытался шантажировать. Они с Джуди, как вы, вероятно, догадываетесь, работают на пару. Она обольщает людей с высоким положением и, скажем так, своеобразными вкусами, а по пятам за ней следует Макрейт со своей миниатюрной камерой. У него, надо признать, просто недюжин-

ные способности к фотографии.

— Понятно. И он испробовал их на вас. А вы не поддались, так?

— Я сказал, что, если он вздумает играть со мной в эти игры, я убью его, — и он мне поверил.

Дьюкейн оглянулся с другого конца комнаты на длинноногую фигуру, полулежащую в кресле. У этого на все и для всякого есть ответ, подумал он. Вот мне никогда не заставить бы человека поверить, что я убью его!

— У меня, — сказал он, — были, как я уже заметил, свои причины потворствовать Макрейту.

В голове у него зародилась мысль — мысль, поданная ему самим же Биранном.

— И очень веские причины, подчеркнем. Затрагивающие двух прелестных женщин. Да, вы и впрямь темная лошадка!

— Я вижу, подкупающая откровенность Макрейта не ведает границ, — сказал Дьюкейн.

Он знает обо мне больше, чем я о нем, думал он. А я еще смотрел на него, как на свою жертву, своего узника!

— Да, он мне говорил про два письма. Причем — с чувством гордости. На выдумки он горазд, нужно отдать ему справедливость.

— Вы с ним, я смотрю, совсем на дружеской

ноге, — сказал Дьюкейн. — Любопытно будет послушать, когда он расскажет нам все, что знает.

— Не дождетесь, — небрежно процедил Бираннн. — На Макрейта ни у кого ничего нет. И не будет.

— Кое-что на Макрейта имеется у меня, — сказал Дьюкейн.

Бираннн сел прямо.

— Что?

— Как раз тот самый шантаж, — сказал Дьюкейн. — А почему, вы полагаете, я ему потворствовал? Те два письма абсолютно безобидны. Две молодые женщины пишут мне в теплых выражениях, как делают многие молодые женщины, но ни та, ни другая не состоит со мной в связи, и нет ни малейших причин, чтобы они не знали о существовании друг друга. Более того, они уже знают, так как я им об этом сказал. Сразу же, как только Макрейт сделал первый шаг. У Макрейта нет надо мною власти, ему нечего разоблачать. Право, Бираннн, вы удивляете меня. Зная, что я за человек, как могли вы всерьез поверить, что я потерплю шантаж? У меня нет постыдных тайн, и я, бесспорно, не стану платить такому субъекту, как Макрейт, чтобы избавить себя и двух женщин от небольшой неловкости.

— Вы, иными словами…

— Да. У Макрейта надо мной нет власти. А у меня над ним — есть, и я намерен ее использовать. Естественно, у меня нет цели засудить Макрейта, моя цель — вынудить его заговорить, и он у меня заговорит.

— А есть у вас доказательства?

К Бираннy вернулась настороженность; обнажив зубы, он снова покусывал костяшки пальцев.

— Ему хватило глупости написать мне письмо. Кроме того, у меня имеется магнитофонная запись. Я тоже в данном случае обнаружил некоторую склонность к выдумкам.

Занятно для правдивого человека складывается у меня вечер, подумалось Дьюкейну. Он теперь подошел ближе к Бираннy и внимательно наблюдал за ним. Бираннy было определенно не по себе.

— Так вы намерены надавить на Макрейта?

— Да. Половину он мне уже рассказал. Другую половину я от него добуду на следующей неделе. Возможно, с помощью полиции — возможно, без. Предчувствую, что будет интересно. И что разговор затронет вас.

— Он ничего вам не скажет, — проговорил Би-

ранн, глядя на ковер у себя под ногами.

— Вы, стало быть, не отрицаете, что ему есть что сказать?

— Еще как есть! Но только не насчет Радичи. Можно, конечно, запугать беднягу Макрейта и приневолить его изобличать своих сообщников. Но вам это мало чем поможет. Он больше ничего не знает.

— Откуда у вас такая уверенность?

— Да потому, что иначе он, думаю, сказал бы мне или хотя бы намекнул. Эту историю с Радичи раздули сверх всякой меры. Не понимаю, отчего она вас всех так волнует? В ней нет подоплеки, все лежит на поверхности. Радичи был полоумный психопат со страстью к оккультизму и большими странностями в сексуальных предпочтениях. Такие как раз и кончают жизнь самоубийством. И что такого? Почему бы ему не покончить с собой тихо-мирно, без всей этой шумихи?

Дьюкейн сел. Отодвинул в сторону столик с графином виски и подвинулся вперед вместе со своим креслом.

— Вот что, Ричард, — начал он негромко, — я знаю, что вы мне лжете весь вечер, — знаю, что вы замешаны в этой истории больше, чем хотели бы показать, основательно замешаны, по самую

маковку. Вам известно, почему Радичи покончил с собой, и до того как уйти отсюда, вы мне об этом скажете. Вы взяли кое-что у бездыханного Радичи, и я знаю, что́ взяли. Я, может быть, не так уж много разузнал о вас, но все же вполне достаточно, чтобы при желании навлечь на вас неприятности.

Теперь Биранн сидел выпрямясь, сжимая ручки кресла руками, освещенными золотистым светом лампы, отвернув в сторону затененный цилиндр своей продолговатой головы.

— Сожалею, Дьюкейн, — сказал он, — мне больше нечего вам сказать, кроме как «доброй ночи». — И, однако, не двинулся с места.

Только сейчас Дьюкейн заметил, что назвал Биранна по имени. И в этот миг наконец-то ощутил, что все-таки загнал его в угол. Попался, подумал он. Подавшись всем телом вперед, он горячо заговорил:

— Слушайте, не валяйте дурака! Почему вы сказали, что я действую вам на нервы? Вы ведь не затем шли сюда, чтобы выведать, много ли я знаю, — вы пришли рассказать мне что-то. Не думайте, что я хочу взять вас на пушку, Биранн. Это чертово расследование близится к финалу, и вы — участник этого финала, хотите вы того или нет.

Предлагаю вам задуматься вот над чем. Пока что к этому делу непричастна полиция. Его держали в строжайшем секрете, и у меня есть полномочия продолжать в том же духе, не разглашать все то, что я сочту несущественным. Вы, впрочем, знаете, какие мне были даны инструкции. Так вот — если вы скажете сейчас всю правду, есть шанс, что мне удастся умолчать о ней, в той части, которая затрагивает вас. Обещать, понятно, не могу, но есть такая вероятность. Если же вы откажетесь говорить, я буду вынужден передать это дело целиком полиции, включая подозрения и все прочее. Возможно, вам больше нравится, чтобы вас допрашивали там — воля ваша. И я не стал бы рассчитывать, что такая личность как Макрейт будет стоять за вас насмерть.

Биранн сделал глубокий вдох. Голова его теперь склонилась вперед, и Дьюкейну виден был длинный разрез голубого глаза. Тугая гривка его волос золотилась в свете лампы.

— Сейчас, — сказал он почти неслышно, — дайте мне подумать.

Потом, не поднимая глаз, прибавил:

— Если то, что я вам скажу, не имеет прямого отношения к вопросу был ли Радичи шпионом, есть у вас полномочия сделать так, что это не

пойдет дальше вас?

— Да есть.

— Предположим, я назову вам истинную причину смерти Радичи — могли бы вы в вашем докладе обойтись общим сообщением о ней, не упоминая других имен?

— Не знаю. Вопрос поставлен слишком расплывчато. Я не могу гарантировать вам молчание. В том случае, например, если вы скажете, что убили Радичи.

— Я его не убивал. По крайней мере, в том смысле, чтобы сесть за это на скамью подсудимых. Минуточку, — погодите, ладно? Всего одну минуту…

Биранн встал. Повернулся спиной к Дьюкейну, глядя в дальний, неосвещенный угол комнаты. Дьюкейн провел ладонями по лбу снизу вверх и обнаружил, что волосы у него взмокли и слиплись от пота. Сосредоточив всю свою волю, он уперся взглядом в затылок Биранна, в то место, где тугие завитки волос сменялись светлой волнистой шерстью. Дьюкейн хранил молчание, заполняя его усилием воли. Он уже знал, что Биранн хочет и будет говорить. Возможно даже, имел такое намерение с самого начала и дожидался лишь того, чтобы сделать это, уступив нажиму.

Когда Биранн обернулся, он выглядел гораздо спокойнее. Тонкие губы его кривились в легкой сардонической усмешке, выражающей решимость.

— Хорошо, — сказал он. — Я вам доверюсь исходя из того, что вами сказано, — я отдаю себя в ваши руки. Вот документ, — когда вы его прочтете, я хотел бы сделать кой-какие замечания, — который расскажет вам все, что вы желаете знать.

Он протянул Дьюкейну сложенный листок бумаги и опять отвернулся.

Дьюкейн развернул бумагу. Он сразу увидел, что она исписана знакомым убористым почерком Радичи. Он прочел:

> «Настоящим пред лицом Господа Бога, буде он существует, довожу до сведения полиции и общества, что в сентябре месяце прошлого года я убил свою жену Клодию, вытолкнув ее из окна. Я действовал непреднамеренно, под влиянием порыва, движимый ревностью к Ричарду Биранну, с которым она состояла в любовной связи. Биранн был свидетелем моего поступка и после пытался шантажировать

меня. Я кончаю жизнь самоубийством. Бираннy на пороге смерти посылаю свое проклятье.

Джозеф Радичи.

Я любил свою жену».

Дьюкейн был так поражен и странным образом так тронут прочитанным, что, повинуясь первому побуждению, хотел бы просто прижать листок бумаги к лицу и закрыть глаза. Но тотчас спохватился, повинуясь врожденной осмотрительности, актерскому чутью, сохраненным еще с той поры, когда он заседал в суде. Чтобы успокоиться, он встал, подошел к письменному столу, достал из него лупу и внимательно рассмотрел письмо при свете лампы. Почерк был твердый, ровный и несомненно принадлежал Радичи.

Бираннд продолжал стоять все так же, спиной к нему. Дьюкейн сказал:

— Сядьте пожалуйста, Бираннд.

Оба сели. Бираннд, тяжело дыша, вытянулся в кресле так, словно обессилел от усталости.

— Вы не могли бы ответить мне на несколько вопросов? — сказал Дьюкейн.

— Задавайте, отвечу на любые.

— Я готов допустить, что это писал Радичи. Все то, о чем здесь говорится, — правда?

Биранн опять сел прямо.

— Правда — то, что он убил Клодию, — сказал он, — и что я видел, как это произошло. Правда также, что он ревновал Клодию ко мне. Неправда, что я пытался шантажировать его — во всяком случае, не совсем правда.

— Что значит «не совсем»?

— Боюсь, я в данном случае предстану не в лучшем свете.

— Неважно, в каком вы свете предстанете. Говорите правду.

— Видите ли, я хотел заполучить Джуди Макрейт.

— И поскольку у вас был такой козырь против Радичи?..

— Я не собирался пускать этот козырь в ход, ни разу даже не заикался об этом. Если Радичи заблагорассудилось так думать, я тут ни при чем. Мне нужно было увести от него Джуди, немедленно, — наверное, я дал это понять достаточно ясно, а он предпочел вообразить, будто ему угрожают.

— И вы не мешали полету его воображения.

— Пожалуй…

— Когда же это происходило?

— Мой перехват контрольного пакета? Месяца два назад, ну — три. Не сразу после…

— Понятно. А то, что здесь изложено, на ваш взгляд, полностью объясняет его самоубийство?

— Да. Хотя — что значит полностью? Других секретов, другого конкретного ключа не существует. Но человек он был со странностями, жил, постоянно терзаясь страхами, тревогой. По-моему, он отчасти верил, что общается с потусторонними силами, и страшился их.

— Любил он свою жену?

— Думаю, да. Но поверьте, я о том не догадывался поначалу.

— Вы спали с миссис Радичи?

— Да.

— Она была очень несчастлива?

— Да нет, не сказал бы, — разве что под самый конец. Но этого я тоже не понимал на первых порах. Я оценивал ситуацию с общепринятой точки зрения. Клодия была, по всем признакам, покинутой женой. Радичи держал целый гарем подружек-некромантов, во всяком случае, покуда не объявилась Джуди и не побудила его дать всем остальным отставку. Радичи, кажется, увлекся Джуди по-настоящему — и это действительно больно задело Клодию. С другими она еще мирилась — как говорится, пока их много, все в порядке, — но здесь дело обстояло серьезно. Из-за

этого, думаю, она и решилась затеять флирт со мной, и как-то само собой ее это захватило. Все получилось непредвиденно. Я ничего подобного не замышлял. Меня поразила неистовая ревность Радичи. Я не предполагал, что он это примет так близко к сердцу.

— А как вы вообще познакомились с Клодией?

— Через одну из предшественниц Джуди. Клодия пришла к ней узнать, нельзя ли выведать что-нибудь про Джуди — это когда она почувствовала, что появился повод для беспокойства. Ну, а я случайно оказался там же.

— Ясно. Значит, Радичи взревновал и предложил вам убираться на все четыре стороны?

— Да. И мне, наверное, так и следовало поступить. Но у меня было ощущение, что я должен проявить характер, ради Клодии. Клодия нравилась мне, в ней чувствовалась личность. Да и запуталось это все порядочно к тому времени. Я объявил ему, что он ее не стоит. Он и не стоил. Эти его девицы, — вы знаете, он ни одну из них не трахал, даже Джуди, и руку на них тоже не поднимал. Решительно во всем был с приветом.

— И вы видели, как он убил свою жену?

— Да. Это было… — Биранн устремил немигающий взгляд в пустой камин. Протянул руку к

каминной доске, повторяя пальцем узоры мрамора. — Я много пил в тот вечер — да мы все трое основательно выпили. Клодия была в каком-то необычном настроении. Ей, кажется, нравилось быть с нами обоими одновременно. По-моему, ей доставило бы удовольствие, если б мы попросту подрались у нее на глазах. Вы понимаете, она по-настоящему любила мужа, хотя и я определенно был ей небезразличен. Мы как-то раз и до того собирались подобным же истерическим трио. Вы не поверите, но мы на самом деле вот так, втроем, обсуждали ситуацию. Почему-то с Радичи, благодаря его странностям, это было возможно. Он все время играл роль, а Клодии, думаю, это-то и хотелось видеть. Хотелось использовать меня, чтобы причинить Радичи страдания и наблюдать, как он страдает. Расхаживает по комнате, крича и размахивая руками, а после надолго замолкает с мрачной миной русского трагика. Я не мог принимать его всерьез, глядя на этот спектакль, хотя в то же время с ним становилось страшновато, отчего я только пуще подначивал его. Не знаю, доступно ли такое вашему пониманию?

— Кажется, да, — сказал Дьюкейн. — Продолжайте.

— Осталось сказать не так уж много. Когда мы

сошлись втроем второй раз, мы засиделись за спорами и выпивкой далеко за полночь — не первый час наперебой спорили, перекрикивая друг друга, с приятным чувством, что еще чуть-чуть, и мы придем к некоему взаимопониманию. Вдруг Радичи схватил Клодию за плечи. Стояла жара, и окно было открыто настежь. Крича на нее, он толкал ее по комнате и в какой-то момент — я даже не успел вскочить с места — вытолкнул из окна.

Биранн осекся, продолжая сосредоточенно водить пальцем по завитушкам мраморного узора.

— Никогда не забуду эту необычайную тишину, эту внезапность ее отсутствия в комнате. Она даже не вскрикнула — просто исчезла, как будто улетела из окна в ночную тьму. Мы не слышали, как она… ударилась о землю. Стояли, точно в столбняке. Радичи был, по-моему, ошеломлен не меньше моего. Я думаю, он правда не собирался этого делать.

— Она сразу умерла?

— Да, слава Богу. То есть, раз уж смерть была неизбежна, — слава Богу. Мы кинулись вниз — она лежала на каменной мостовой, свернув себе шею. Дом Радичи, как вам известно, стоит на отшибе, так что никто ничего не слышал и не видел.

— И что потом?

— У Радичи началась истерика. Я уговаривал его пойти в дом. Хлынул дождь. Я все пытался увести его с улицы. Хотел, чтобы он обдумал, что будет говорить полиции, но он продолжал рыдать — и ни в какую. Потом стал гнать меня прочь. Ну, я решил, что мне в самом деле лучше будет уйти, — и ушел. А назавтра прочел в газете о «несчастном случае».

— Макрейт что-нибудь знал об этом?

— Ничего не знал, но кой о чем догадывался. Макрейт ведь постоянно крутился в этом доме, а он — мужчина наблюдательный. Пришел к Радичи и заявил, будто узнал от меня, что Клодию убил Радичи, — и как теперь с этим быть. К несчастью для себя, он в то же самое время по оплошности пришел ко мне и заявил, будто узнал от Радичи, что Клодию убил я, — и как теперь с этим быть.

— Это тогда вы пригрозили Макрейту, что прикончите его?

— Ну да. И был в такой лютой ярости, что это прозвучало убедительно. Тогда Макрейт попытался обратить все в шутку, сказав, что он-де точно так же пригрозил Радичи. Я написал Радичи, чтобы он не обращал внимания на слова Макрейта, хотя полагаю, что он и так не обращал.

Он был слишком поглощен своим горем.

— А Макрейт уже тянул с него дань?

— Да. У Макрейта имелись превосходные фотографии, на которых Радичи стоит, воздев потир над грудью обнаженной девицы. За это — и за то, чтобы вообще помалкивал, — он регулярно получал небольшую мзду. Радичи, по-моему, смотрел на это спокойно. Между ним и Макрейтом установилось даже нечто похожее на дружбу. Макрейт был непритворно потрясен его смертью.

— Вы встречались с Радичи снова?

— Нет. Писал ему раза два в осторожных выражениях — преимущественно о Джуди. Разговаривать с ним на работе я не решался, идти к нему домой — побаивался. Радичи был нелепым существом, но при всем том он мог внушать опасения, и я к тому времени начал не на шутку его опасаться. Я считал, что он способен меня убить. Когда я в тот последний день вошел к нему в кабинет и увидел, что он держит револьвер, моей первой же мыслью было, что он собрался застрелить меня.

— Вы хотите сказать, что он вас вызвал к себе?..

— Чтобы я видел, как он простится с жизнью, да. Характерный для него жест. Прислал мне стран-

ную записку с просьбой в такой-то час прийти к нему, поскольку ему нужна моя помощь. Я знал, что не пойти нельзя, хотя идти было страшно. Как только я вошел и закрыл за собой дверь, он выхватил револьвер и застрелился у меня на глазах.

— Господи… Тогда вы заперли дверь и немедленно учинили ему обыск.

— Верно. Вы подумаете, что я — бесчувственный фрукт. Что ж, может, так и есть. Я почему-то мгновенно понял, что он наверняка оставил заявление, в котором возлагает вину на меня. Подумал, что искать надо в карманах, и приподнял его, чтобы легче было их обшарить, но оно оказалось не там. Оно было заперто в ящике его письменного стола. Я взломал замок с помощью стальной линейки. Боялся, что кто-нибудь заметит следы, но вот, как видно, не заметили.

Он умолк.

— Это все? — спросил Дьюкейн.

— Да. Ну, а остальное вы знаете. Макрейт испортил все, сбыв газетам свою бредовую историю и вызвав этим переполох в министерстве. Иначе все мало-помалу сошло бы на нет. Вам, кстати, удалось-таки увидеть этот материал?

— Нет, но я в конце концов получил подробный

отчет о его содержании от человека, который читал его. Ничего нового. И никаких упоминаний о вас.

— Это еще одно, чего я боялся. Вы не против, если я отдерну занавески? Здесь страшная духота…

Биранн подошел к окну и, раздвинув тяжелые шторы, до упора поднял скользящую раму. С Эрлз-Корт Роуд донесся гул уличного движения.

Помолчав, Дьюкейн спросил:

— Почему вы сохранили признание Радичи?

— Почему? Да, как ни дико это прозвучит, боялся, что, если обстоятельства начнут проясняться, мне могут приписать вину в его убийстве.

— Ну да, ну да. — Дьюкейн поежился. — И вам досталась Джуди.

Биранн несколько раз подряд глубоко втянул в себя воздух и задернул обратно шторы. Все так же глубоко дыша, вернулся на середину комнаты и стал лицом к Дьюкейну.

— Досталась, насколько это возможно, когда речь идет о Джуди.

Дьюкейн промолчал, глядя на удлиненное, слегка асимметричное лицо Биранна. Оно хранило усталое, невозмутимое выражение с оттенком скромного благородства. Да, подумалось Дьюкейну, ты и впрямь бесчувственный фрукт

— отъявленный мерзавец, вот ты кто.

— Как вы намерены со мной поступить? — спросил Биранн.

Дьюкейн встряхнулся и пришел в движение: задвигал ногами, подлил виски в оба стакана.

— Вы поставили меня в трудное положение, — сказал он, медленно роняя слова.

Ему не хотелось увидеть, как Биранн вернется к привычному позерству. А еще, он был искренне озадачен, более того — ошеломлен и тем, что услышал, и тем, как теперь для них обоих складывалась ситуация.

— И что же?

— Когда вы шли сюда сегодня, — сказал Дьюкейн, — вы собирались выложить мне все это?

— Да… то есть нет. Трудно сказать. Честно говоря, я думал, вы знаете гораздо больше. Я полагал, что вам известно практически все. Допускал, что вы могли вытянуть это из Макрейта. В смысле, что он, возможно, поделился с вами своими подозрениями или даже выдал их за подлинные факты. Либо вам что-то могла шепнуть Джуди. И, разумеется, нельзя было поручиться, что Радичи не подложил еще куда-нибудь другой экземпляр своих признаний. Я, одним словом, твердо внушил себе, что вы все знаете и по каким-то своим

причинам ведете со мной игру. И особенно уверовал в это после того, как вы пришли ко мне домой — в тот раз, когда застали там Джуди. Все это стало жутко действовать мне на нервы. Вы начали сниться мне по ночам. Я знаю, это звучит глупо. Но спустя немного мне самому захотелось все вам сказать. Или, во всяком случае, поделиться хоть с кем-нибудь. Мне снился по ночам и Радичи. Я знаю, вы осуждаете мое поведение, но я за него поплатился такими терзаниями, что не позавидуешь. Так можно будет, по-вашему, обойти молчанием ту часть этой истории, которая касается меня?

— Не уверен, — сказал Дьюкейн. — Вы как-никак были свидетелем убийства.

Биранн придвинул к себе стул, стоящий у стены, и сел.

— Завтра я буду корить себя за то, что свалял дурака, — сказал он. — Вы оказались далеко не тем стратегом, каким я вас воображал. Я шел сюда с таким железным убеждением, что вы все знаете, с такой решимостью признаться вам начистоту, что просто не дал себе времени продумать другой план действий. Нужно было уже через полчаса уходить отсюда. А я вот поддался вашему влиянию. Не проболтайся я вам, вы, мо-

жет статься, так ничего бы и не узнали. Вы что, всерьез собирались представить полиции ваши туманные подозрения и крохи собранных вами улик? Им это не дало бы ничего. Я легко нашел бы способ отпереться. И вы действительно собирались надавить на Макрейта, рискуя увидеть в газетах имена ваших двух приятельниц?

— Не знаю, — сказал Дьюкейн. — Правда не знаю. Я тогда не решил окончательно, что делать. Но раньше, чем решить, безусловно, поговорил бы с вами. Если б вы не пришли, я сам пришел бы к вам.

У него чуть было не сорвалось с языка: «вы правильно сделали, что сказали мне». Но говорить такое не имело смысла. Чего он достиг бы этим? Он — не судья, не школьный учитель, не священник. Биранн в эти минуты испытывал, главным образом, облегчение, разрядку после мучительного напряжения, периода тревожной неопределенности, подозревая вместе с тем, что совершил грандиозный промах. Самое лучшее и, пожалуй, единственное, что мог из сочувствия к нему сделать Дьюкейн, — это, по мере возможности, устранить причину для сожалений о последнем.

— Если б вы и не проболтались, — сказал

он, — все так или иначе, безусловно, выплыло бы наружу. Наверняка заговорил бы Макрейт. Но даже если бы эта история так и осталась в значительной степени непроясненной, я вряд ли мог бы составить итоговый отчет о ней, не упоминая вас.

— Ну, а теперь, когда я все рассказал, вы собираетесь меня упоминать?

Дьюкейн почувствовал, что страшно устал. Что ему хочется положить конец этому допросу. Иметь возможность обдумать то, что он узнал.

— Едва ли я смогу утаить такой факт, как убийство, — сказал он. — Это вопрос долга. Такое просто технически невозможно.

— Идите вы со своим долгом… — сказал Биранн. Он поднялся, отшвырнув в сторону стул одной рукой. — Я, получается, становлюсь виновным в недоносительстве?

— Боюсь, что так.

— Это означает конец моей карьеры.

— Да. Мне жаль, Биранн, но я просто не вижу для себя способа защитить вас. Не говоря уже о том, что вы видели, как совершилось убийство, и что у вас в руках находилось признание убийцы, нельзя забывать, что я обязан довести до конца свою миссию. Я говорил, что готов бу-

ду умолчать о том, что сочту несущественным для расследования, порученного мне. Но такое несущественным не сочтешь. В особенности не сочтешь несущественным документ, который я, с вашего позволения, оставлю у себя. Мне было поручено выяснить, почему Радичи покончил с собой. Этот листок бумаги содержит исчерпывающий ответ на данный вопрос.

— Разве не хватит того, что вы знаете ответ? Можете со спокойной совестью доложить властям предержащим, что интересы спецслужб, по вашим сведениям, не затронуты никоим образом. Почета, конечно, будет поменьше…

— Тут не в почете дело, — сказал Дьюкейн, — а в добросовестном отношении к работе. Простите, Бираннь, не хочется ломать вам жизнь, но вы должны понимать…

— Да, как же, — я понимаю. Долг, работа. Вероятно, мне следует отнестись к этому философски. Или считать, что мне воздается по заслугам и тому подобное. Но я не признаю теорий о возмездии. Я исправно несу государственную службу и хочу продолжать ее нести. Я не желаю поневоле начинать жизнь заново. Я, в сущности, не совершал ничего очень уж предосудительного, мне попросту не повезло. Все это выглядело на

первых порах достаточно безобидно.

— Хорошенькое «безобидно», — сказал Дьюкейн. — И потом, думаю, вам следует прекратить встречаться с Джуди Макрейт.

— Это почему же? Самому понадобилась?

— Нет, разумеется! Просто человеку в вашем положении…

— Положения у меня, судя по вашим словам, очень скоро не будет. А раз так, я, по-видимому, волен общаться с кем мне заблагорассудится. Хотя, впрочем, — как скажете. Вы теперь главный. Можете мне приказывать, ставить любые условия — покуда, понятно, не сдадите в полицию.

— Довольно, хватит, — сказал Дьюкейн.

Он чувствовал, что начинает путаться в мыслях. Не для чего было упоминать о Джуди. Он сказал:

— Послушайте, шли бы вы домой. Сейчас мы оба от усталости ничего не придумаем. Обещаю вам, что в ближайшие два-три дня я не буду предпринимать никаких шагов — и вообще не буду ничего предпринимать, не встретясь еще раз с вами. И, понятно, ни о чем пока не пророню ни слова ни единой душе. Я все обдумаю как следует. А теперь, пожалуйста, идите.

Дьюкейн распахнул дверь гостиной, и они оба

вышли в холл.

— Вы ведь без пальто?

— Да, сегодня тепло.

— Ну что ж — спасибо, что пришли.

Биранн коротко хохотнул. Дьюкейн открыл парадную дверь. Они задержались на пороге.

Потребность прикоснуться к Биранну заставила Дьюкейна, одолевая смущение, положить ему руку на плечо. Биранн отстранился, повернулся и протянул ему правую руку. Они обменялись быстрым рукопожатием, и Биранн скрылся на улице.

Отворачиваясь с неловким и обессиленным жестом от закрытой двери, Дьюкейн заметил у себя под ногами письмо, лежащее на дверном коврике. Вероятно, доставили после того, как пришел домой Файви. Письмо было от Макрейта.

Охваченный недобрым предчувствием, Дьюкейн побрел с ним в гостиную. Оттуда не выветрилась еще напряженная, тяжелая атмосфера. Он вскрыл письмо, со злостью разорвав конверт. Послание от Макрейта гласило:

«Сэр,

как Вы, без сомнения, уже удостоверились, я отослал одну известную Вам вещь

соответствующей особе.

Вторая вещь пока у меня, и я не стану посылать ее согласно нашей договоренности, каковая, я уверен, устроит Вас на названных выше условиях или же их возможно обсудить. Я возьму на себя смелость позвонить Вам завтра утром.

С глубоким уважением,
искренне Ваш
П. Макрейт».

Которое из двух он отослал, подумал Дьюкейн. Кейт все еще была в отъезде. Джессика не ответила на его открытку. Какая разница, думал он. Все равно в ближайшие же дни он отошлет и второе. Помедлив, он изорвал письмо. Собирать факты, обличающие Макрейта, было бесполезно, и они оба знали это. Не могло быть и речи о том, чтобы ставить под удар Джессику и Кейт. Единственным, кому неизбежно предстояло принять на себя удар, был он сам.

Листок с признанием Радичи по-прежнему лежал на закусочном столике. Не перечитывая, Дьюкейн убрал его в ящик письменного стола и запер на ключ. Он гнал от себя образ Радичи, пишущего это признание, — Радичи, исполненного убийственной, самоубийственной ненависти.

Жалеть Радичи у него сейчас не было сил, а размышлять о нем попусту не имело смысла. Что-то мне худо, отметил про себя Дьюкейн. Он потушил свет в гостиной и стал подниматься по лестнице.

В спальне было темно, но из ванной сочился свет, и он, не зажигая лампы, прошел прямо туда. Быстро разделся, стараясь не глядеть на себя в зеркало. Вместе с неодолимым желанием уснуть, забыться, на него повеяло воспоминанием о горестных эпизодах из детства. Какая каша заварилась, подумал он, черт знает, что такое. Но сейчас — спать, спать… Дьюкейн застегнул пижаму и вышел в спальню, включив по дороге свет. Подойдя к кровати, он увидел, что там уже кто-то есть.

— А я уж думала, мне вас не дождаться! — сказала Джуди Макрейт.

Глава двадцать девятая

— Это всего лишь я, Джуди.

Джуди Макрейт покоилась на кровати, откинув одеяло и подперев рукою голову. Нагишом. Она отодвинулась и приглашающим жестом похлопала по белой простыне.

— Вас не было так долго, я даже задремала.

Дьюкейн видел ее тело словно бы сквозь легкий туман. То ли лампы горели тускло, то ли просто от страшной усталости. Он взял со стула свой черный шелковый халат и надел его.

— Вы пришли с Биранном? — спросил он.

— Что, мистер Сладкин?

— Вы с Биранном сюда пришли?

— Нет, ни с кем, сама по себе. Дверь с черного хода была открыта, я и зашла. Быстренько сообразила, где ваша комната. Не сердитесь на меня, мистер Сладость.

Это наверняка подстроено, пронеслось в голове у Дьюкейна. Он сказал:

— Ну и где же ваш муженек со своей миниатюрной фотокамерой?

Произнося «миниатюрный», он отметил, что

перенимает не только слова Биранна, но даже его интонацию.

— С вами я никогда не допустила бы ничего подобного. Это бесплатно, мистер Сладость. Я вас люблю.

— Сомневаюсь, Джуди, что вам известно хоть что-нибудь о любви.

— Такое нельзя сказать ни о ком, мистер Сладкин.

Она права, подумал Дьюкейн. Его качнуло, и он сел на стул. Он понял, что выпил лишнего. И понял, что хочет выпить еще.

— Ступайте-ка вы домой, Джуди. Давайте, одевайтесь.

— К чему такая спешка, мистер Эс.?

— К тому, что я смертельно устал и хочу лечь спать, и не могу, пока вы лежите в моей постели. Вставайте, Джуди.

— Вы могли бы лечь рядышком со мной, мистер Сладость. Я пальчиком не притронусь к вам за всю ночь!

— Не выдумывайте, моя милая.

— Выпейте, мистер Сладость. Ну глоточек. У меня есть с собой. Просто за добрую дружбу.

Дьюкейн увидел, что на прикроватном столике уже стоят кожаная фляжка и два стакана. Он

смотрел, как она перекатилась на живот и налила в оба стакана немного виски. Потом приняла прежнее положение и, лежа на боку, протянула ему стакан.

Все всколыхнулось в Дьюкейне в ответ на это ее перемещение туда и обратно. Сперва, возникнув сквозь дымку, отбрасывающую серебристо-золотую тень на ее длинное тело, Джуди предстала перед ним, словно на картине. Пожалуй, она и в самом деле напомнила ему собой творение Гойи или Веласкеса. Но это вращательное телодвижение, неуклюжее, с мимолетным зрелищем ягодиц, колен, широко раскинутых и тут же неловко сведенных вместе, выставило въяве всю жалостную неприглядность живой плоти и одновременно — всю ее притягательность.

Дьюкейн не заметил, как нагнулся вперед и принял от нее стакан с виски.

— Вот и хорошо, мистер Сладкин. Теперь можно поговорить. Поболтаем немножко, и я уйду, обещаю. А ведь мы знакомимся понемногу все ближе. Славно, правда?

— Не сказал бы, что так уж славно, — сказал Дьюкейн. — «Славно» — определенно не то слово.

— Ваше здоровье, мистер!

— И ваше, Джуди.

— Ну, так о чем же мы будем говорить? Давайте — о нас с вами!

Она блаженно потянулась до самых пальцев на ногах, сощурясь и растянув в улыбке губы. Передернулись ее плечи. Тени рябью прошлись по мышцам живота. И она опять расслабилась.

— Как же вас попутало связать себя с этим чертовым отродьем, Макрейтом? — спросил Дьюкейн.

Глядел он в свой стакан, но боковым зрением видел иссиня-черное облако ее волос, колышущееся, словно некое отражение в ласковых волнах.

— Молоденькая была, мистер Сладость. И видела, что он — не рядовой человек. Я знала, что выйду только за такого, кто что-то представляет из себя. Он мог кем-то стать, в нем это есть, в Питере. Голова у него работает.

— Работает, это правда. И стать он, безусловно, кем-то стал. Стал первостатейным проходимцем, и вас потянул вслед за собой.

— Мне нужно, вы считаете, его бросить, мистер Сладость?

— Вовсе нет! — нетерпеливо отозвался Дьюкейн.

Он заставил себя смотреть на нее, стараясь

сосредоточить свой взгляд на этих ее пронзительно-синих, точно Северное море, глазах. Отметил, что лицо у нее, оказывается, совсем не смуглое, — сквозь теплый, золотисто-медовый оттенок кожи просвечивала белизна. Золотистым, смазанных очертаний пятном вытянулось ее тело. Гойя, Веласкес, — на помощь, мысленно взмолился он.

— Я считаю, его нужно убедить свернуть с дурной дорожки, покуда вы оба по его милости не угодили в тюрьму. Вам очень не понравится в тюрьме, Джуди.

А черт, подумал он, мне хочется задеть ее побольнее. Хоть бы она ушла отсюда, пускай бы только ушла…

— Придется бросить его, мистер Сладкин, другого выхода нет. Вы сами знаете. Вы знаете, что Питера не заставишь исправиться. От него надо уходить, мистер Сладкин, и вы должны в этом мне помочь.

Голос ее зазвучал мягко, вкрадчиво.

Тону, думал Дьюкейн, не в силах оторваться от синих глаз, устремленных на него с мольбой. И пускай тону, лишь бы не видеть, не чувствовать ничего другого. Он сказал:

— Боюсь, мне нечем вам помочь, Джуди. Мой совет вы слышали. А теперь…

— Вы можете мне помочь. Только вы один и можете. Вы один действительно можете спасти меня, мистер Сладость.

— Да перестаньте же называть меня этим идиотским именем!

Дьюкейн угловато, как робот на шарнирах, отвернулся в сторону двери, ведущей в ванную.

— Ну ладно, пусть будет — милый… Джон.

Дьюкейн встал.

— И сделайте одолжение, наконец, — уходите!

Он повернулся к ней спиной.

— Сию минуточку, Джон, сию минуту! Вы только не сердитесь. Я знаю, что поступала нехорошо, и не всегда по вине Питера. Я и до Питера бывала… ну, это… с мужчинами. Казалось, вроде бы, так и надо. Но после того, как встретилась с вами, все для меня переменилось. Вы — первый из мужчин… в общем, вы — не такой, вы — хороший. Вы могли бы меня спасти, мистер Джон, вы — и больше никто. Я о многом не попрошу, мне бы лишь просто знать вас, видеться иногда, послушать, что вы мне скажете. Вы бы всю мою жизнь повернули по-другому. Я сделала бы что хотите, выучилась бы чему-нибудь, чему угодно! Стала бы… ну, не знаю, — хоть медицинской сестрой…

У Дьюкейна вырвался невольно то ли смех, то

ли возглас отвращения.

— Спасите меня, Джон, миленький, помогите мне! Вам это ничего не стоит, а для меня значит все! Вы ведь сами сказали — если я останусь с Питером, то кончу тюрьмой…

— Не совсем так, — сказал Дьюкейн. — Но неважно. Одевайтесь.

— Одну минуту, Слад… то есть, Джон! Джон, вы не представляете, что такое для женщины быть в отчаянном положении. Питера я боюсь. Обратиться мне не к кому. У меня нет подруг, а из знакомых мужчин — ни одного порядочного. Таким людям, как вы, живется надежно. Вы — персона, вас все уважают, у вас есть настоящие друзья. Вам не грозит, как говорится, потерять почву под ногами. Я должна буду уйти от Питера, иначе нельзя, — и что тогда со мной станется? Так будьте же мне другом, Джон, вот и все, о чем я прошу! Скажите, что хоть немного позаботитесь обо мне, что мы с вами еще увидимся, — пожалуйста, посулите хотя бы такую малость!

В ее голосе послышались слезливые нотки. Нельзя дать себя разжалобить, подумал Дьюкейн. Ей кажется, что она говорит серьезно, но это не так. Она принесет мне только вред. И я ей тоже. Выходит, по моему мнению, она обречена? Какая

разница, что там выходит по моему мнению? Я ничем не могу ей помочь.

— Ничем вам не могу помочь, — сказал он деревянным голосом.

Наступило молчание.

— Я так устала, — сказала Джуди. — Я скоро пойду.

Она с коротким стоном повернулась лицом вниз.

Дьюкейн медленно обернулся и окинул ее взглядом. Она лежала ничком, уткнувшись в подушку. С внезапным жадным интересом он разглядывал ее тело, сосредоточив на нем полностью свое внимание, как мог бы где-нибудь вдали от дома разглядывать в картинной галерее шедевр, который, возможно, никогда больше не увидит. Однако было это отнюдь не отрешенное созерцание.

Дьюкейн должен был сознаться себе, что его совершенно недвусмысленным образом возбуждает вид этого тела. В воображении он осторожно положил ладонь на золотистую шею, на характерный бугорок спинного хребта под сухой пружинистой копной темных волос и очень медленно провел ею книзу, по бархатистому выступу лопатки, к впадине на спине, которая отзовется

на его прикосновение легким трепетом, — и дальше, по глянцевой поверхности бедра, и, еще более замедляя движение, по упругой округлости ягодицы, по ляжке, покрытой, как увидел Дьюкейн, бесшумно шагнув ближе к постели, золотистым пушком.

Что, если ее трахнуть, спросил себя Дьюкейн. Обыкновенно он никогда не употреблял это слово, даже про себя, и вот теперь оно вывернулось откуда-то, поразив его и приведя в еще большее волнение. И повторилось снова, произнесенное голосом Ричарда Биранна. Да-да: в какой-то момент их разговора Биранн употребил его. Так все-таки — что, если?.. Дьюкейн неслышно поставил стакан на прикроватный столик. Женщина лежала неподвижно, спрятав лицо в подушку, дыхание ее едва угадывалось по легчайшему размеренному нажиму на белую простыню в тени у нее под боком. Можно было подумать, что она спит. Дьюкейн воображал, как гладит это тело, вызывая невесомыми, подсказанными страстью прикосновениями присутствие обласканной плоти во всех мельчайших подробностях под легкими, словно перышко, пальцами. Он склонился над нею.

От тела Джуди исходил едва уловимый запах.

Не лишенный приятности запах пота вперемешку с косметикой. Дьюкейн опустил глаза и увидел между лопатками женщины серую груду голубиных тушек. Он открыл рот, вбирая в себя запах Джуди. И снова ощутил прилив люциферовой легкости, и увидел поперек обнаженных золотистых плеч выведенную почерком Радичи надпись: *«Да будут дело твое и воля твоя законом».*

Вместе с тем Дьюкейн оставался абсолютно холоден. Холодный наблюдатель, живущий в нем, следил за происходящим и знал, что никогда, пусть даже робко, мимолетно, он не притронется к атласной золотистой спине Джуди Макрейт. А ведь она знает, что я до нее не дотронусь, подумал он. Знает — и, может быть, догадывается, что не могу. Вместо этого, опустив руку, он дотронулся до самого себя, удерживая и унимая то, что так жаждало Джуди.

Воистину, «гроб повапленный»[42] сказано про меня, думал Дьюкейн. Возился с двумя женщинами, шел на уступки, потерпел неудачу с одной, стал бедствием для другой. Во мне причина того, что такого человека, как Макрейт, влечет творить зло. Я не умею пожалеть несчастного,

---

[42] Примечания: 42
Библ. — ханжа, лицемер *(см.* Ев. от Матфея, 23:27).

одарить пропащего надеждой или утешением. Я не испытываю сострадания к тем, кому возомнил себя вправе быть судьей. Неспособен даже заключить в объятья эту женщину. И вовсе не из чувства долга или заботы о ее благе — нет: просто из-за представления о самом себе, как существе безупречном, праведном, — странного мнения, которое упорно не покидает меня, как бы гнусно я ни поступал.

— Вставайте, Джуди, — ласково сказал Дьюкейн, отворачиваясь снова от кровати. — Поднимайтесь, девочка. Одевайтесь. Вам пора домой.

Он огляделся. Возле одного из стульев виднелось что-то белое и воздушное. На спинке стула висело летнее платье Джуди, в зеленый и лазоревый цветочек. Дьюкейн подобрал ворох мягкого, скользкого надушенного белья и швырнул его на кровать. Джуди со стоном перевернулась на спину.

— Я иду в ванную, — сказал Дьюкейн. — А вы одевайтесь.

Он зашел в ванную комнату и запер дверь. Воспользовался унитазом. Пригладил густые пряди своих темных волос и вгляделся в свое отражение в зеркале. Загорелое лицо с лоснящейся жирным блеском кожей. Выпяченные немигающие глаза.

Дьюкейн высунул язык, большой и широкий, как лопата. Из спальни слышались звуки передвижений. В дверь негромко постучались.

— Все, я готова, — сказала Джуди.

Она стояла одетая. Легкое зеленое с лазоревым платье обтягивало ее туго, без морщинки. Какая грудь, подумалось Дьюкейну, ох, эта ее грудь! Ведь мог коснуться ее — хотя бы на мгновение. И еще — до чего она хороша одетая! Так, увидев после любовных утех свою возлюбленную одетой, мужчина вновь ощущает прилив страсти, но уже не столь бурной, более нежной.

Дьюкейн быстро прошел мимо нее и распахнул дверь спальни.

На площадке возникла некая суета, и Файви, шарахнувшись было назад, к верхней ступеньке, замялся на миг и повернулся в полутьме лицом к Дьюкейну. В черных брюках, в белой рубашке, Файви смахивал на вождя какой-нибудь революции на Балканах. Стоял он, несмотря на легкое смущение, с вызывающе поднятой огромной головой, медлительно теребя рукою ус.

— Файви, — почти срываясь на крик, заговорил Дьюкейн, — это замечательно, я так рад, что вы еще не ложились! Выведите машину и отвезите домой эту даму!

— Да, но… — начала Джуди, отступая обратно в комнату.

— Ступайте, не задерживайтесь, — ну же!

Не задевая ее, он зашел сзади и, шуганув, выпроводил ее в открытую дверь. Зажег свет на площадке.

— Всего доброго, — сказал он. — Мой слуга доставит вас домой. Поворачивайтесь, Файви, идите за машиной. Миссис Макрейт подождет вас у подъезда.

— Слушаюсь, сэр, — отозвался Файви и стал с достоинством спускаться по лестнице.

— И вы спускайтесь, — сказал Дьюкейн, обращаясь к Джуди. — Я с вами не пойду. Дождетесь Файви у парадной двери. Это минутное дело, до свидания.

— Вы на меня не сердитесь? Мы увидимся еще? Ну пожалуйста…

— Всего хорошего, дитя мое, до свидания, — сказал Дьюкейн, указывая ей на лестницу.

Она медленно прошла мимо и начала спускаться вниз. Минуты через две он услышал, как подъехала машина и хлопнула входная дверь.

Дьюкейн вернулся в спальню, затворил дверь и повернул ключ в замке. Тупо постоял несколько мгновений. Потом осторожно опустился на пол и

лег ничком, закрыв глаза.

Глава тридцатая

— А правда интересно, что в Африке кукушки не кукуют? — сказал Эдвард.

— Генриетта, ты эту жабу вынула из ванны? — спросила Мэри.

— Я хотела ее дрессировать, — сказала Генриетта. — Жабы, вообще-то, поддаются дрессировке.

— Так вынула ты ее из ванны?

— Да, и снова выпустила в сад.

— Кукушка не может приземлиться на лапки, — сказал Эдвард. — Когти мешают, у нее два когтя смотрят вперед и два — назад. Она садится прямо на живот. Я сам вчера наблюдал, сразу после того, как мы видели тарелку…

— Поживее нельзя, Эдвард? И если тебе так дорога книжка «Еще о хищных осах», зачем же ее мазать джемом?

— Слышите, у нее изменился голос? — сказал Эдвард. — Когда в июне зреет колос, меняется кукушкин голос. Вы слышите?

На кухню из открытого окна глухо донеслось отдаленное «ку-ку».

— Хоть бы дождик пошел, — сказала Генри-

етта.

— Ну все, трогайтесь, ребятки, — сказала Мэри, — и заберите с собой Минго. Путается тут под ногами!

Близнецы чинно удалились: Генриетта — подталкивая брата сзади, Минго — замыкая шествие и прощально помахивая хвостом обществу, которое осталось позади. Монтроз, по-хозяйски завладев в очередной раз плетенкой, свернувшись, проводил его глазами и опять погрузился в дрему. Кот был не любитель рано вставать.

— Мы, дорогая, наверно, тоже только путаемся у тебя под ногами, — сказала Кейт. — Пойдемте, Джон, выйдем в сад — не хотите? Утро сказочное! Господи, до чего же хорошо быть дома!

Взяв свою испанскую корзинку, Кейт повела его через неубранный холл наружу, на газон перед домом. Нагретый воздух принял их и сомкнулся вокруг, густой и экзотичный после прохлады в доме, насыщенный ароматами и структурами, которые жаркое солнце, не первый час уже сияющее на небе, — хоть утро было, по людским меркам, еще раннее, — извлекло с лесистых склонов и спокойной глади моря, с готовностью распростертого под ним.

— Слышали, как часа в четыре утра куковала

пресловутая кукушка? — спросила Кейт. — Надеюсь, она вас не разбудила.

— Я все равно не спал.

— Это ведь был самый длинный день, да? Хотя, похоже, разгар лета тянется без конца.

— Летнее помешательство.

— Что-что?

— Нет, ничего. Сумасшедшее время года.

— Прекрасное сумасшествие! Мы-то, надеюсь, не разбудили вас своим приездом? Октавиан, по-моему, поднял страшный шум!

— Да нет…

Дьюкейн приехал в Трескоум накануне, поздно вечером, а еще позже вернулись из Танжера Кейт с Октавианом. Сегодня была пятница, и Октавиану уже пришлось ехать в Лондон на неотложное совещание.

— Октавиан, бедненький, — вот так сразу мчаться сломя голову… Он с вами толком и повидаться не успел!

— М-мм.

— Джон, ну а вы сами как? Какой-то вы пасмурный. Барби сказала, то ли вы заболели, то ли еще что-то? Ничего не случилось скверного, пока меня не было?

— Решительно ничего.

— Ладно, теперь, раз я здесь, я вами займусь, у меня каждый из вас станет толстым и веселым!

— Как Октавиан.

— Джон, Джон, вы сегодня с утра колючий. Даже не спросили меня про Танжер. А я все равно расскажу! Ах, что за дивная погода! Люблю это утреннее время в Англии, когда стоит настоящая жара! Я вам скажу, чего мне не хватало в Африке, — росы. По-видимому, роса в Африке все же есть. Нужно будет спросить у двойняшек. Но на всем было столько пыли! Чувствуете, как роса осыпается с травы вам на щиколотки? Так приятно холодит! Хотя куда вам, вы же в носках! Не понимаю, как можно в такую погоду надевать эти толстые, мохнатые носки! Почему вы не ходите в сандалиях? Октавиан в Танжере постоянно носил сандалии, в них у него такой моложавый вид! Ну вот, давайте сюда присядем, на скамеечку.

Она села, раскинув веером юбку своего белого в красную полоску платья. Дьюкейн, готовый было сесть на край ее подола, неловко отодвинул его в сторону.

Газон перед домом отлого спускался к живой изгороди из разлапистых кустов таволги, усеянных в это время года точечками бледно-малиновых цветков. Проход в изгороди выводил на

огороженный скошенный лужок, круто обрывающийся к лесу, поверх которого взору открывался морской простор, залитый до самого горизонта серебристо-лазурным блеском. В воздухе стояло неумолчное пчелиное жужжание. В зеленой крапчатой глуби леса перекликались и перепархивали с ветки на ветку невидимые птицы. Дьюкейн чихнул.

— Будьте здоровы! Надеюсь, это не от сена? Удивительный у него запах, да? Навевает столько воспоминаний! Ах, Джон, какая радость вернуться назад! Хотя это естественно. Немного устала, правда, но это приятная усталость. От солнца, знаете, устаешь. Видите, как я загорела? Октавиан, тот прямо сплошь кофейного цвета. Ну, то есть почти сплошь! Он всю последнюю неделю ходил в феске — точь-в-точь как этот бесподобный евнух из «Entführung»[43]! Да, Джон, у меня же привезен для вас занятный подарок — такая, знаете, прелестная марокканская шапочка, забыла захватить ее с собой на кухню — их там изготовляют по деревням…

— Как мило с вашей стороны.

— Просто времени еще не было всюду побывать

---

[43] Примечания: 43

«Die Entführung aus dem Serail» *(нем.)* — «Похищение из Сераля», опера В. А. Моцарта, 1781 г.

и всех повидать. Все в порядке, надеюсь? Ничего здесь не стряслось? Мне показалось, нервы вокруг слегка натянуты.

— У кого нервы натянуты?

— Ну, например, у вас.

— Дело не в том, что у нас они натянуты, а в том, что вы своим дали отдохнуть. У вас еще виноградные листья запутались в волосах. Вы еще полны всем этим — вино, оливки, средиземноморское солнце…

— Да-да. Но солнца, в конце концов, и у вас хватало!

— Ко мне в уайтхоллский кабинет солнышко не заглядывает.

— Джон, это детские разговоры! Я считаю, вам пора в отпуск. Надо сказать Октавиану… Ой, глядите, — кукушка, а вот и еще одна вслед за ней!

Две птицы, похожие на ястребков, выпорхнули из леса, повернули назад и снова затерялись среди зеленых прогалин, где солнце пробивалось сквозь густую листву. *Ку-ку, ку-ку…*

— Шалые пичуги, — сказала Кейт, — ничего, кроме секса, на уме! Лишь бы гонять друг за другом целый день напролет — и ни малейшего чувства ответственности! Вы думаете, они и ночи проводят вместе?

— У птиц совокупление — дневное занятие, — сказал Дьюкейн. — По ночам они унимаются. В отличие от людей.

— Обожаю у вас этот педантичный тон! Скажите, отчего это принято говорить, что ночная кукушка денную перекукует? За такой орнитологической справкой к двойняшкам не обратишься!

— Полагаю, это первоначально было неким образом связано с привычкой подкладывать яйца в чужие гнезда.

— Нет, до чего вы умный! На все-то найдете подобающий ответ!

— Независимо от того, верный он или неверный.

— Определенно, — нервы у вас натянуты, причем у всех. Необходимо совершить обход и вплотную заняться каждым. Видите, что происходит, стоит мне уехать? У всех наступает черная полоса. Этого нельзя допустить! Даже Мэри была сегодня заметно резка с близнецами, это так на нее непохоже! Пола ходит положительно мрачнее тучи. Ничуть не повеселела, когда я отдала ей это письмо из Адена. К Барби не подступиться — если ты не пони, то не пытайся с нею пообщаться, — а Пирс вообще невыносим. Мэри передала

мне невероятную историю о том, как он похитил Монтроза.

— Он поступил очень дурно, — сказал Дьюкейн, — но это все позади.

Он отгреб ногой скошенное сено под собою и опять чихнул.

— Так мог бы сказать школьный учитель… Я не собираюсь читать Пирсу наставления. Тем более что вы с Мэри, вероятно, это уже сделали. Барби, сколько можно судить, обходится с ним сурово. И наконец, возьмем Тео. Никогда не видела его таким угрюмым. Поздоровалась с ним сегодня, так он в ответ лишь посмотрел сквозь меня, и только. А кстати, вот и он движется по дорожке. Ручаюсь, что сделает вид, будто не заметил нас!

Проход на дальнем краю таволговой изгороди открывал доступ в огород, а оттуда, вдоль ряда разлохмаченных кустов боярышника, вела дорожка в лес. Это был кратчайший путь от дома к морю. По дорожке очень медленно и неуверенно продвигался Тео.

— Тео! — окликнул его Дьюкейн.

Зов его прозвучал повелительно и сердито.

Тео остановился и не спеша повернул к ним голову. Он глядел на них с отсутствующим выражением человека, который по дороге на плаху

слышит, как где-то в толпе выкрикнули его имя.

— Тео! — крикнула Кейт.

Тео молча смотрел на них. Потом приподнял руку, неуклюже, словно ее парализовало ниже локтя. Сделал вялое движение кистью — не то махнул им, не то отмахнулся, посылая их к чертям, И, шаркая, потащился дальше, к лесу.

— Бедный Тео, — сказала Кейт. — По-моему, он расстроен из-за Мэри и Вилли, вам не кажется?

— В смысле, чувствует, что теряет Вилли? Возможно. Подозреваю, что Вилли — единственный, с кем Тео по-настоящему находит общий язык.

— Бог знает, о чем они там беседуют друг с другом! Я так рада за Мэри и Вилли, это как-то очень правильно! Такой союз не назовешь безоглядным шагом, так ведь и их не назовешь людьми, склонными к безоглядным шагам. Вот истинно мудрыми, на мой взгляд, их обоих назовешь. А Мэри — такой душевный человек!

— Мало сказать — душевный, — сказал Дьюкейн. — Повезло Вилли.

— Ужасно повезло, и я до ланча схожу и сообщу ему об этом. Удачно, что мне пришло в голову их сосватать, вы согласны? Это удержит их обоих здесь.

— Вы думаете? — сказал Дьюкейн. — Не удив-

люсь, если они вдвоем уедут.

— Ой, нет-нет-нет! Что мы будем делать без Мэри? И вообще, уезжать никому не разрешается. Все вы — мои дорогие… скажем, дети.

— Рабы.

— Какой вы нынче брюзга! Нам бы теперь еще подобрать достойного человека для Полы. Высокоинтеллектуального, понятно. Придется, очевидно, построить еще один домик. Мэри и Вилли будут жить в коттедже. Что ж, Октавиан и так подумывал о том, чтобы возвести второй, неподалеку от кладбища, где он не будет виден из дома. Только мне-то нравится, когда мы все под одной крышей. Знаете, я так боялась, что *вы* влюбитесь в Полу! Она же куда умней меня! Я не на шутку тревожилась.

— Я обожаю Полу, — сказал Дьюкейн. — Восхищаюсь ею, уважаю ее. Иначе и быть не может. Но…

— Но — что?

— Она — не вы.

— Милый, сегодня вы прямо-таки блистаете красноречием! Ах, смотрите, вон двойняшки пошли купаться. Двойняшки! Ау! Разыщите-ка дядю Тео и составьте ему компанию! Он только что зашел в лес.

Волоча белые купальные полотенца по тусклой зелени колючих кустов, близнецы помахали им и проследовали дальше в сопровождении скачущего, мечущегося Минго, который время от времени заливался лаем — не купальным, а охотничьим.

— Единственные среди нас представители людской породы, в которых не к чему придраться, — сказал Дьюкейн.

— Строги вы по отношению к нам! Да, близнецы — это чудо. Супер, как выразилась бы Барби. Грустно сознавать, что вырастут — и уподобятся несносным существам вроде Барб и Пирса.

— Половозрелым, вы хотите сказать. Да, мы — несносные существа.

— Это вы — несносное существо! Ладно, давайте, я лучше расскажу вам про Танжер. Удивительно было видеть всех этих женщин под чадрой. Причем носят они свои чадры на разный манер… Или нужно говорить — «чадру», как говоришь — «килт»?.. И поверьте, далеко не всегда она их красит. А что еще поразительно — это рыночная площадь…

— Я бывал в Танжере, — сказал Дьюкейн.

— Ну хорошо, не стану вам рассказывать!

Кейт, которая всегда с восторгом отправлялась отдыхать, неизменно и возвращалась с

восторгом. Она любила тех, кто с нею рядом, и ей приятно кружило голову то особенное ощущение, что им ее не хватало, — та искорка, какая проскакивает, когда включается электрический ток. Она радовалась тому, что по ней скучают, и дорожила той первой минутой, когда с очевидностью подтверждалось, что — да, по ней скучали. На этот раз, однако, о чем она уже упомянула Джону, кое-что слегка нарушилось в привычной схеме. Обнаружилось, что подданные ее чем-то озабочены, и озабочены слишком серьезно, чтоб надлежащим образом возликовать по поводу ее приезда и затевать вокруг нее радостную возню. Она решила, что должна обойти весь дом, побывать у каждого и с каждым потолковать с глазу на глаз, включая Тео. Как врач во время обхода. При этой мысли к ней вернулось хорошее настроение.

Нельзя, впрочем, сказать, что до этого она пребывала в дурном настроении. Просто с тех пор как Кейт после короткого сна разбудила в четыре утра кукушка, ее не покидало ощущение неудобства, дискомфорта. Спустя немного она установила, что порождает это непривычное чувство присутствие Дьюкейна — даже присутствие Дьюкейна в ее сознании. Если другие предстали перед ней

не в лучшем виде, это было поправимо. Она воспринимала их нервозность, по ее определению, как нечто отстоящее от нее самой — нечто такое, с чем можно справиться, оперируя, так сказать, на внешнем поле. Меж тем как подавленность Джона, его склонность вести себя как «несносное существо» относились к области личного. В отношениях между нею и Джоном на данный момент — и, конечно, лишь на данный момент — что-то застопорилось, разладилось. Кейт поймала себя на покаянной мысли, что наверняка прекрасно знает, чем объясняется этот сбой. Оставалось только надеяться, что Джон этого не знает.

Кейт действительно провела две недели в Танжере великолепно. Подробность, о которой она рассказывать не собиралась, — это то, что значительную часть этих двух недель она провела в постели с Октавианом. Такое уж действие оказывал на Октавиана жаркий климат. Да и на нее, признаться, он тоже оказывал такое действие. Каждый день после долгого, уснащенного возлияниями ланча они буквально опрометью устремлялись назад в гостиницу. Октавиана обуревало нетерпение. Кейт забавляла мысль, что, узнай об этом Дьюкейн, он был бы, при естественном чувстве ревности, пожалуй, еще

и скандализован. Ведем себя ничуть не лучше тех же кукушек, размышляла она, хотя, конечно, мы-то — праведники, поскольку исповедуем единобрачие, а они практикуют многобрачие, и потому достойны осуждения! Да, это правда, она поправилась и загорела, она здорова, заряжена энергией, дала своим нервам отдохнуть и, как сказал Джон, еще полна всем этим — вином, оливками, средиземноморским солнцем… Возможно ли, что Джон все-таки знает? Должно быть, он страшно по ней скучал. И вот теперь, по ее возвращении, в момент, когда включился снова электрический ток, он мог вдвойне болезненно ощутить, что она принадлежит другому, и неким образом уловить в ней блаженное подтверждение этой принадлежности. Нюхом чует, подумала она. А что, если это можно в буквальном смысле слова учуять нюхом? Возможно ли такое с научной точки зрения? Надо будет спросить… Хотя нет, за подобного рода научной справкой к двойняшкам тоже не обратишься.

Кейт рассмеялась.

— Что это вы? — спросил Дьюкейн.

Какой он все-таки бука сегодня!

— Нет, ничего. Просто вспомнились те собачки. Неважно, вряд ли их выкрутасы годятся для ва-

ших ушей. Да я и слов таких не знаю, пришлось бы изображать это на бумаге!

Дьюкейн, впрочем, не обнаруживал желания углубляться в сюжет о собачках. Вперив взгляд в чащу леса перед собой, он принялся охаживать себя по носу носовым платком. Мимо, беспорядочно сбиваясь в сторону, вновь пронеслись шалые от вожделения кукушки. *Ку-ку, ку-ку…*

В это время года он выглядит хуже всего, думала Кейт. Терзает без конца свой несчастный нос, он уже стал совсем багровый, и глаза слезятся постоянно. Сходство с герцогом Веллингтонским исчезло без следа. Зато — приятный цвет лица, с румянцем сквозь загар, а кожа так глянцево лоснится в том месте, где выступают скулы, — видно, он еще больше похудел. Вообще говоря, ему это идет. У волос жирный блеск, и потому они, как крысиные хвосты, кажутся темнее — это, наверное, от жары, от пота. Потеет, бедненький. И для чего в такую погоду надевать эту нелепую фланелевую рубашку? Надо подарить ему нейлоновую.

Мы сейчас настроены не в лад, думала она. Я не могу взять с ним верный тон. Но это пройдет. Даже просто помолчать вот так вдвоем — уже полезно. Я с самого начала предвидела, что тут потребуется приложить усилия. Чисто муж-

ская тупость — не понимать, что отношения не складываются без труда. Чуть что не клеится — немедленно брюзжание и мрак. О поцелуях с ним пока что и речи быть не может! Он не хочет меня, сказала себе Кейт, в настоящий момент — не хочет. Откуда берется в нас эта уверенность?.. И я его не хочу, подумала она. Но это облачко между нами рассеется. Мы должны просто вновь понемногу привыкнуть друг к другу. Я не стану ни тормошить его, ни торопить. Пускай побудет сам с собой некоторое время, а я займусь чем-нибудь еще.

— Джон, ничего, если я для очистки совести просмотрю свою почту? — сказала она. — Такие горы писем накапливаются, когда приезжаешь после отдыха, что разгрести — целое дело! Они у меня все с собой, в корзинке, я только разберу их, если не возражаете. А вы пока побудьте тут или, хотите, пройдитесь к морю. Может быть, встретитесь с Барби, ей как раз время возвращаться с прогулки верхом.

Кейт перевернула вверх дном испанскую корзинку, и десятка три писем разлетелись по бледно-желтым коврикам сухого сена. Она нагнулась и начала переворачивать и раскладывать их рядками.

Дьюкейн с внезапным интересом тоже нагнулся вперед, рассматривая письма. Затем, присвистнув, протянул руку и схватил коричневый конверт, лежащий в конце одного ряда. Ощупывая письмо, он повернул голову к Кейт, сдвинув брови и сощурив от солнца голубые глаза. С нахмуренными бровями лицо его словно бы осунулось и исхудало еще заметнее, напоминая деревянный, смазанный елеем тотем.

Кейт неожиданно ощутила легкий укол тревоги. Он так помрачнел, что первой ее мыслью было — ревнует. Но к кому? Наверное, узнал чей-то почерк. Кейт, состоя в чрезвычайно теплых отношениях с немалым числом мужчин, предпочитала из человеколюбия держать своих приятелей в неведении относительно наличия других. Но почерк на конверте — достаточно корявый, сколько она могла судить, — был ей незнаком.

— Что такое? — сказала она игриво. — Вы зачем воруете мою почту?

Она потянулась за письмом, но Дьюкейн отвел руку в сторону.

— Что это значит, Джон?

— Можете вы мне сделать большое одолжение? — сказал Дьюкейн.

— Смотря какое, говорите.

— Не читайте это письмо.

Кейт взглянула на него с удивлением:

— Почему?

— Потому что в нем содержится нечто неприятное, чего, я считаю, вам не нужно видеть.

— Что именно?

— Это… Это касается меня и еще одного человека. Все это полностью осталось в прошлом. Некий недоброжелатель, любитель совать нос в чужие дела, написал вам об этом. Но вам абсолютно незачем читать его письмо. Я вам охотно сам все расскажу потом, а захотите — хоть сейчас.

Кейт между тем повернулась на скамейке боком, и теперь они сидели лицом друг к другу, колено к колену. За подол ее полосатого платья цеплялись сухие травинки. Кейт помолчала в раздумье. Ее не совсем еще покинула тревога, вызванная его мрачным видом, но от души все же отлегло, поскольку выяснилось, что провинилась скорее не она, а он сам. Быть может, подумала она, там сказано, что у него есть опыт по гомосексуальной части. И ему в голову не приходит, что я отнеслась бы к этому спокойно… Письмо все более разжигало в ней любопытство.

— Но если речь в письме идет о прошлом, и вы

в любом случае собираетесь об этом рассказать, то почему мне нельзя прочесть его? Чему это может помешать?

— Не стоит руки марать. Когда письмо — злобная стряпня, его следует один раз пробежать глазами и уничтожить, а самое разумное — не читать вообще. Такое имеет свойство застревать в сознании. От наветов и ненависти лучше держаться подальше. Пожалуйста, Кейт, дайте мне уничтожить это письмо, — прошу вас!

— Не понимаю, — сказала Кейт. — Это письмо, о чем бы в нем ни говорилось, никак не может вам повредить в моих глазах. Мало же вы мне доверяете! Ничто не омрачит и не ослабит мою любовь к вам. Уверена, что вы это знаете.

— Чувства не подчиняются напрямую разуму, — сказал Дьюкейн. — Данное в чувствах, как выразился бы философ. Вы и хотели бы забыть, да не получится. Такие вещи бывают губительны, как бы сильна ни была любовь. Я признаю свою вину, Кейт. И все-таки я предпочел бы дать вам объяснение сам и по-своему. Конечно же, вы меня поймете.

— Нет, не пойму, — сказала Кейт, придвигаясь ближе, так что колени их соприкоснулись. — И не знаю, что означает ваше «данное в чувствах».

Все равно лучше будет, если я прочту это письмо. Иначе никогда не перестану гадать, что же в нем было. Давайте-ка его сюда.

— Нет.

Кейт, смеясь, отстранилась.

— Не слишком ли вы испытываете мое женское любопытство?

— Я вас прошу быть выше вашего женского любопытства.

— Скажите, как нас сегодня влечет к нравоучениям… Джон, рассудите здраво! Мне до смерти интересно узнать, что там такое! И вам от этого — никакого вреда. Я же люблю вас, дуралей!

— Я сам расскажу, что там такое. Мне просто не хочется, чтобы вы видели эту мерзость.

— Ну не настолько уж я хрупкая ваза!

Кейт выхватила у него письмо и, вскочив, отступила за спинку деревянной скамьи.

Дьюкейн угрюмо глянул на нее и, наклонясь вперед, спрятал лицо в ладонях. Так и остался сидеть, не двигаясь, в этой позе, живым воплощением безнадежной покорности судьбе.

Теперь Кейт встревожилась уже всерьез. В нерешимости повертела в руках письмо, но любопытство все же пересилило. Она вскрыла конверт.

В нем обнаружились два вложения. Первое гласило:

«Сударыня!

Учитывая Ваши неравнодушные чувства к мистеру Джону Дьюкейну, уверяю, что Вам будет интересно ознакомиться с прилагаемым к сему.

Искренне Ваш,

Доброжелатель».

Вторым вложением оказался конверт, адресованный Дьюкейну и содержащий внутри письмо. Кейт вытащила письмо.

«Мой ненаглядный, мой бесценный Джон, это — всего лишь очередное из моих ежедневных посланий, в которых я пишу о том, что тебе и без того известно: что безумно люблю тебя. Ты был так невероятно добр ко мне вчера после моей безобразной сцены — знай же, как я невыразимо благодарна, что ты остался! Целый час потом лежала на кровати и плакала благодарными слезами. Видишь, любовь в конечном счете всегда заставит нас уступить! И потому я дня не пропущу,

чтоб не послать тебе подтверждение своей любви! Я верю, что у нас с тобой есть общее будущее. Тысячу раз твоя
Джессика».

Кейт посмотрела, каким числом помечено письмо. Ее оглушило и замутило, словно в нутро ей загнали какую-то черную тяжесть. Она ухватилась за спинку скамьи, повернулась было, собираясь сесть, но отступила, опустилась на траву и закрыла лицо руками.

— Ну что? — сказал спустя немного Дьюкейн.

— Теперь я, кажется, знаю, как понимать ваше «данное в чувствах», — отозвалась Кейт нетвердым голосом.

— Мне очень жаль. — Дьюкейн говорил совсем спокойно, только к спокойствию его прибавилась усталость. — Что я могу сказать? Вы были уверены, что это ничему не повредит, — мне остается лишь надеяться, что вы были правы.

— Но вы же говорили, что все это осталось в прошлом…

— Так оно и есть. Я не состою в связи с этой особой, хотя из письма можно заключить обратное. Уже два года, как я прекратил близкие отношения с нею, но по недомыслию продолжал

с ней видеться.

Кейт сказала натянуто:

— Нет, вы, естественно, вольны видеться с кем хотите и делать что хотите. Вы знаете, я ни в чем не собираюсь вас ограничивать. Да и не вправе. Меня лишь несколько удивляет, что вы, как бы это сказать… вводили меня в заблуждение…

— Лгал вам. Верно. — Дьюкейн встал. — Я пойду, пожалуй. Придется вам примириться с этим, Кейт, вот и все, — если сможете. Я поступал неправильно, в известном смысле я обманывал вас. То есть давал вам понять, что я ничем не связан, а выглядит определенно иначе. Простите.

— Вы что, едете обратно в Лондон?

— Да нет.

— Ох, Джон, что же это происходит?

— Полагаю, ничего.

— Вы не хотите хотя бы… объяснить?

— Надоело мне объяснять, Кейт. И сам себе я надоел.

Он быстрыми шагами направился к проходу в кустах таволги.

Кейт, стоя на коленях, медленно собрала разбросанные письма и сложила их обратно в испанскую корзинку. С ее согретых солнцем щек капали на сухое сено слезы. *Ку-ку, ку-ку,* сбивчиво

и глухо взывала из лесу птица.

Глава тридцать первая

— Скоро произойдет одно событие, — объявил, не обращаясь ни к кому в частности, Пирс.

Субботний ланч подошел к концу. Дьюкейн, Мэри и Тео, все еще сидя за столом, курили. Кейт с Октавианом пересели на диван и переговаривались вполголоса. Пола с двойняшками вышла на газон, где дети затеяли игру в барсучий городок. Барбара, присев на подоконник, читала «Сельскую жизнь». Пирс, в позе танцовщика, готового к прыжку, стоял возле кухонной двери.

— Какое событие, голубчик? — спросила Мэри.

— Нечто вопиющее, ужасающее.

От Барбары, поглощенной чтением статьи, никакой реакции не последовало.

— Ты уже совершил нечто вопиющее и ужасающее, — сказал Дьюкейн. — Думаю, тебе стоит тем и удовольствоваться на стезе твоих преступлений.

— Вопиющее по отношению к тебе самому или к кому-нибудь другому? — заинтересованно осведомился Тео.

— Поживете — увидите.

— Ой, до чего ты нудный! — вскричала Барбара.

Она отшвырнула журнал и выбежала на газон перед домом. Через две минуты она уже заливалась смехом вместе с близнецами.

Пирс сел на подоконник и принялся сосредоточенно рассматривать «Сельскую жизнь». Щеки у него горели, из глаз, казалось, вот-вот брызнут слезы. Трое за столом поспешно перевели разговор на другую тему. Мэри спустя минуту поднялась и что-то неслышно сказала Пирсу, но тот лишь мотнул в ответ головой. Она прошла на кухню. Дьюкейн, загасив сигарету, последовал за ней. Объединенное присутствие Кейт и Октавиана угнетало его невыразимо.

— Я не могу помочь вам чем-нибудь, Мэри? Уж не посуду ли мыть вы собрались?

— Нет, этим займется Кейси. Она сейчас вышла в огород взглянуть, не наберется ли там артишоков на вечер. Они так рано поспели в этом году! А я схожу отнесу Вилли малины.

— Можно, я с вами?

— Да, конечно.

Ни к чему я ей там, подумал он. Ладно, только дойду до коттеджа, и все. Куда мне теперь девать себя?

Поверх кухонного стола, густой и вязкий, реял аромат малины. Мэри накрыла корзинку белой салфеткой, и, выйдя из задней двери, они пошли вдоль цветочного бордюра по выложенной галькой дорожке. Жара все не спадала. В цветках львиного зева усердно копошились мохнатые крупные оранжевые пчелы. Стайка щеглов, снующая в поисках зерен у подножия кирпичной ограды, снялась и скрылась в широкой листве бледно-зеленой катальпы.

— Взгляните на этот чертополох! Сразу видно, что у садовника отпуск. Надо мне заняться прополкой. Кейси терпеть ее не может.

— Давайте я займусь прополкой.

— Не выдумывайте, Джон! Вы приехали отдыхать. Кейт в обморок упадет, если увидит вас за прополкой! А вам не жарко в такой рубашке?

— Нет, мне, признаюсь, скорее нравится обливаться потом.

— Ох, хорошо бы вы поговорили с Пирсом!

— То есть?..

— Надоумили бы его все-таки проявить характер в отношении Барб. Он только досаждает ей, а заодно и всем окружающим. Я знаю, как ему тяжело, но все равно — надо держаться. Я все пытаюсь уговорить его уехать в гости к Пембер-

Смитам. Там у них даже яхта есть!

— Но если вам не удается уговорить его, то каким образом удастся мне?

— Я не пользуюсь у него авторитетом. А вы — пользуетесь. Вы могли бы поговорить с ним жестко. После того как вы его стегнули, вы очень выросли в его глазах! Как я и предсказывала.

— Что ж, попробую.

— Вот спасибо! А еще было бы хорошо, если б вы вызвали на серьезный разговор Полу. Она ужасно чем-то расстроена, а чем — не говорит, хотя я спрашивала ее напрямую. Но вам скажет. Она к вам замечательно относится, и у нее вы тоже пользуетесь авторитетом, как и у всех нас, впрочем. Прижмите ее к стенке без всяких и твердо спросите, в чем дело.

— Я сам очень хорошо к ней отношусь, — сказал Дьюкейн. — Пожалуй, я…

— Ну и прекрасно! А будет упираться — не отступайтесь. Вам просто цены нет, Джон. Вот на кого можно полностью положиться! Не представляю, что бы мы делали без вас.

— Да уж, вот именно, — сказал Дьюкейн.

Письмо от Джессики в результате по-новому сблизило Кейт с Октавианом — во всяком случае, по-новому для Дьюкейна. До сих пор он никогда

не испытывал мужской ревности к Октавиану. Сейчас — испытывал. Он не сомневался, что факт его неверности разгласили и обсуждали. Разумеется, Октавиан о том не проронил ни слова. Ходил по дому, загадочно улыбаясь, как никогда похожий на упитанного, позлащенного солнцем Будду. Кейт избегала оставаться с Дьюкейном наедине. У него было впечатление, что она совершенно не в состоянии разобраться в собственных чувствах. Возможно, она приветствовала бы попытку со стороны Дьюкейна — отчаянную попытку — объясниться, оправдаться, опутать это катастрофическое «данное в чувствах» хитросплетением слов и эмоций. Однако Дьюкейн, не в силах заставить себя возвратиться в Лондон, не в силах был и заставить себя поговорить с Кейт. И более того, чувствовал, не зная толком почему, что ему не следует говорить с нею. Вместе с тем он понимал, что из-за его нежелания объясниться сейчас, равно как и неспособности объясниться сразу, все это, вероятно, выглядит значительнее и серьезнее, чем есть на самом деле.

А впрочем, так ли уж это было незначительно и несерьезно? Да, для себя он свел эту историю к пустяку, умышленно охладив в себе чувства и притупив мысли, но ведь Джессике — разрешил

пребывать в выдуманном мирке ее желаний. Теперь он ясно видел, что это была ошибка. Испытав, как удар, всю силу исходящего от Джессики чувства обладания, Кейт вряд ли нарисовала себе неверную картину. Состояние, в котором жила Джессика, было реальностью. И если у Кейт осталось впечатление, что они с Джессикой все еще любовники — фактически любовники, — нельзя сказать, что это было всецело ложное впечатление.

Когда Дьюкейну в министерство позвонил Макрейт, Дьюкейн, естественно, послал его к черту. Весь разговор их продолжался примерно полминуты. До того Дьюкейн всячески пытался связаться с Джессикой. Десять раз ей звонил, писал записки, отправил телеграмму с просьбой позвонить ему. Трижды приходил к ее дому, но все напрасно. И такое — со стороны Джессики, которая, как ему было известно и от чего теперь щемило сердце, еще недавно целыми днями сидела дома в надежде, что он ей напишет или позвонит! Чувства, с которыми он уходил от ее запертой двери, подозрительно напоминали возрождение любви. После третьего звонка по телефону он уже не сомневался, что она стала первой, кого настигло Макрейтово злодейство, и

испугался, уж не покончила ли она с собой. Образ Джессики, бледненькой и длинноногой, в платьице выше колен, лежащей на кровати, свесив на пол костенеющую руку, преследовал его по дороге от ее дома, чтоб снова явиться ему во сне. Однако, поразмыслив, он решил, что это маловероятно. В любви Джессики всегда присутствовала доля обиды. Теперь из спасительного эгоизма она его возненавидит. Думать об этом было грустно.

Раздумья его о Джессике, при всей их смятенности, протекали в пределах однообразной черно-белой гаммы. Ему приходилось напрягать воображение, чтобы представить ее себе наглядно. Она словно бы превратилась в бестелесный недуг, поразивший собою все его существо. Совсем иными были мысли Дьюкейна о Джуди Макрейт. Сцена в собственной спальне запечатлелась в его памяти с отчетливостью галлюцинации и вспоминалась все время, как бы паря беспрестанно в поле его зрения наподобие ромбовидного свечения, что возвещает потрясенному святому о присутствии Троицы. По большей части его грызло сожаление, что он не совершил с Джуди акт любви. То был бы честный поступок, твердил ему внутренний голос, на что другой внутренний голос возражал, что это ошибочное

суждение. Когда ступаешь на ложный путь, все твои суждения смещаются. Лишь при условии того-то да сего — чего на самом деле и в помине не было — он мог бы с чистой совестью расценить акт любви с Джуди как честный поступок. У порока есть своя логика, и Дьюкейн ощущал опасность поддаться ей. Но все равно прекрасное тело простертой перед ним Джуди, его абрикосовый оттенок, тугая, глянцевая, тяжеловесная плоть преследовали его неотступно, с мучительным, томительно локализованным упорством.

И вот в такую минуту, рассуждал сам с собой Дьюкейн, когда я погряз в унизительной неразберихе и выведен из душевного равновесия, я должен быть призван в судьи другому человеку! О Бианне он тоже думал постоянно, — вернее, его повсюду сопровождал бесплотный, призрачный Бианн, назойливо держась как можно ближе. Призрак не предъявлял ему обвинений, лишь нависал перед ним то справа, то слева, время от времени как бы сливаясь с ним воедино. Дьюкейн не представлял себе, как можно выгородить Бианна. Перспектива погубить его, поломать ему карьеру, навлечь на него позор и поругание представлялась ему столь ужасной, что Дьюкейн прямо-таки физическим усилием гнал от себя

мысль о ней. Однако иного выхода не было, и он знал, что спустя некоторое время, пусть не сразу, вынужден будет обратиться в бесстрастную судейскую машину, а все прочее — неважно и не имеет отношения к делу. Умолчать о признании Радичи было невозможно. Оно являло собой предельно четкий и убедительный ключ к загадке, которую Дьюкейну поручено было разгадать. В любом случае, совершенно независимо ни от какого расследования, скрывать факт убийства недопустимо, человек просто обязан не допустить его сокрытия. Поскольку упомянутые соображения были неоспоримы и окончательны, Дьюкейн мог без особого трепета сознавать, какими бедами грозило бы ему такое сокрытие. Он не любил постыдные тайны и меньше всего желал бы разделять подобного рода тайну с таким человеком, как Бираннн, к которому не питал ни приязни, ни доверия. К тому же на горизонте в данном случае маячил и Макрейт, которому могло быть известно больше, чем полагал Бираннн. Дьюкейн знал, что, если бы впоследствии обнаружилось, что он умолчал о наличии столь первостепенной важности документа, это обернулось бы гибелью для него самого.

— С вами что-то не в порядке, Джон?

Они прошли весь проселок в молчании. По высоким обочинам, наполняя узкий проем дороги приторным духом, цвел кипрей — та разновидность его, которую именуют в народе «иван-чай». Королек с задранным кверху хвостиком провожал их в гору, перепархивая в бурой тени с одного куста на другой.

— Все в порядке, — деланно бесшабашным голосом отозвался Дьюкейн. — Просто меня одолевают кошмары.

— Это которые снятся по ночам или вы говорите о мыслях?

— И то, и другое.

В ту ночь Дьюкейну приснилось, что он убил какую-то женщину, которую тщетно силился опознать, и попытался спрятать тело под ворохом дохлых голубей, но был прерван появлением незваного и страшного гостя. Гостем оказался Биранн.

— Расскажите мне о них, — сказала Мэри.

Почему я вечно должен кому-то помогать, думал Дьюкейн, а мне никто не поможет? Хоть бы пришел кто-нибудь на помощью мне самому! Хоть та же Мэри! Он сказал:

— Это чужая тайна.

— Давайте посидим здесь минутку.

Они вошли в лес. Мэри опустилась на ствол поваленного древа. Дьюкейн сел рядом и начал крошить ногой пергаментного цвета древесный гриб, который волнистыми слоями нарос под изгибом ствола. Ошметки гриба, с нежно-коричневой мелкоскладчатой, точно женская юбка, изнанкой, ложились на жухлую буковую листву. Поблизости, вдоль низенького земляного вала, рьяно ворошилась в чащобе дудника и бутеня пара снегирей.

— Вы что, с Кейт поссорились? — спросила Мэри, не глядя на него.

Взгляд ее был обращен на корзинку, которую она поставила на землю и теперь покачивала загорелой, обутой в босоножку ногой.

А она наблюдательна, подумал Дьюкейн. А впрочем, это, должно быть, достаточно очевидно.

— Да. Но дело не в этом — не только в этом.

— Кейт быстро отойдет, вы же знаете, и снова все уладит. Обязательно. Она вас очень любит. А помимо того? Что еще?

— Мне предстоит принять решение относительно одного человека.

— Женщины?

Этот вопрос несколько удивил его.

— Нет, мужчины. Довольно важное решение, от которого зависит вся судьба этого человека, и мне особенно погано от необходимости принять его, поскольку я в данный момент ощущаю себя таким… потерянным и заблудшим.

— Потерянным и заблудшим. — Мэри подхватила это неожиданное определение так, будто очень ясно представляла себе, что за ним кроется. — Но вы ведь знаете, как прийти к этому решению, то есть механизм решения вам известен?

— Да. Как прийти к решению — знаю.

— Тогда почему бы вам не сосредоточиться на самом решении и не думать о себе? Пустите вход механизм, а то, что вас смущает, отбросьте прочь.

— Вы совершенно правы, — сказал он.

Присутствие Мэри оказывало на него необычайно успокоительное действие. Как ни странно, ему понравилось, что она не стала оспаривать его самообличения, а просто дала ему нужный ответ. И вместе с ним — подтверждение того, что нравственная подоплека всего происходящего существует незыблемо. Мы с ней одних и тех же правил, подумал Дьюкейн. Он заметил, что машинально взялся за краешек ее платья и пропускает его сквозь пальцы. Платье на Мэри

было розовато-лиловое, с пышной юбкой, из шероховатой креповой материи. Потирая пальцами ткань, Дьюкейн подумал вдруг о полосатом красно-белом платье Кейт, о платье Джуди в зеленый и лазоревый цветочек. Барышни и их платья…

Он сказал скороговоркой, выпустив из пальцев ее подол:

— Мэри, надеюсь, мне позволено будет сказать, как я рад за вас и Вилли…

— Ничего еще нет… определенного.

— Да, я знаю. Но все равно, я так рад! Большой от меня привет Вилли. Теперь не буду вас задерживать — я, наверное, дальше не пойду.

— Ладно. Так вы поговорите с Полой и с Пирсом?

— Да. И не откладывая. Кого встречу первым, с того и начну.

Они встали. Мэри, повернув к нему свою аккуратную смуглую головку, отвела назад прядь волос. Глаза ее в рассеянном жарком полусвете хранили неопределенное выражение. Несколько мгновений они постояли в неловком молчании, потом, каждый с прощальным жестом, разошлись.

Глава тридцать вторая

— Чем вы там занимаетесь, Мэри?

— Посуду мою, Вилли.

— Бросьте, я после сам помою. Идите сюда, поговорим.

— Малину я переложила в миску. И посыпала сахаром. Можно будет съесть ее за чаем.

— Вполне.

Трапезы с Вилли были все еще событием исключительным и праздничным, как пикник, как причащение.

Мэри вернулась в гостиную, вытирая руки посудным полотенцем. Жара в комнате уплотнялась, образуя бархатистое затишье, в котором передвижение совершалось замедленно, уподобляясь плаванью.

Вилли, вытянув ноги, полулежал в своем кресле у камина. Расстегнутая до пояса рубашка открывала курчавую седую поросль, похожую на нижнюю сорочку с начесом. Запустив пальцы в эту поросль, он рассеянно поскребывал себе грудь. Мэри поставила стул между ним и столом и села, положив ему руку на плечо. Жест этот

напоминал не ласку, а скорее прочный захват милого сердцу, но неодушевленного предмета — как, скажем, баранка автомобиля.

— Пола придет читать «Энеиду»? Как хорошо, что вы ее уговорили!

— Нет, на сегодня она занятие отменила.

— Далеко вы продвинулись?

— До шестой книги.

— А на чем остановились?

— Эней сошел в преисподнюю.

— И что он там делает?

— Как раз только что повстречался с тенью своего рулевого, Палинура. Палинур уснул, свалился за борт и утонул. А поскольку тело его осталось непогребенным, Харон отказывается перевозить его через Стикс. Но тут ему сообщают, что неподалеку от того места, где он погиб, жители поставят ему памятник и оснуют культ в его честь, а область назовут его именем. Бедняга от таких новостей несказанно повеселел!

Монотонный речитатив этого пересказа лег камнем на сердце Мэри. Она спросила:

— Вы считаете, каждому следует когда-то спуститься в преисподнюю?

— То есть алкая мудрости и прочее?

— Да.

— Конечно нет! Там непроглядная тьма и духота — скорее страху наберешься, чем премудрости. Да будет классная комната жизни просторной, светлой, ярко освещенной!

Мэри вспомнился скрежет тормозов, жуткий, леденящий душу вопль. Она должна рассказать обо всем этом Вилли. Если уж рассказала Джону, значит, Вилли должна тем более. Но только Джон умел сделать так, что это получилось легко, а Вилли — не сумеет. И потом она знала, что сегодня в его присутствии все у нее выйдет топорно и некстати. Она сказала:

— А вы чему-нибудь, думаете, научились — там?

— В Дахау? А как же. Тереться о стенку, когда надо согреться, становиться почти невидимым, когда идет надзиратель, предаваться долгим, очень долгим сексуальным фантазиям…

— Простите. Я говорю глупости.

— Нет, милая. Просто тяжкие испытания очень редко бывают поучительны, — сомневаюсь, чтобы сошествие в ад могло научить чему-то новому. Оно может разве что ускорить уже существующие процессы и на практике обыкновенно только способствует деградации. Вы понимаете, в преисподней тебе недостает энергии для пере-

мены к лучшему. К чему, собственно, и сводится весь смысл преисподней.

— Наверное, она хотя бы показывает тебе, кто ты есть.

— Даже это — далеко не всегда. В конце концов, как ответить на вопрос, кто ты есть? Мы — тени, Мэри, всего лишь тени.

— Вы-то, я уверена, не подверглись деградации.

— Ну полно, это слишком мрачная тема для прекрасной дамы в такой прекрасный день!

— Вилли, мы с вами начнем опять заниматься немецким — со временем?

— Как вам будет угодно, дитя мое. Только стоит ли труда учить немецкий? Есть вещи поважнее. Почти все на свете важнее, чем учить немецкий язык.

— Но я же ничего не разделяю с вами, — сказала она, — ни ваших воспоминаний, ни языка, ни музыки вашей, ни работы — ничего! Я просто… просто женщина.

— Женщина. Но разве это не все?

— Нет.

Мэри встала и подошла к окну. Оконный карниз запылился; пристав к стеклу распахнутой створки, недвижно повисла на паутинке дохлая

муха. Нужно будет навести здесь чистоту, подумала Мэри. Швейцарский бинокль, с налетом пыли на его серых кожаных стволах, лежал на подоконнике, и Мэри машинально поднесла его к глазам. Увидела в волшебном кружке кромку моря, завихрения мелкой белопенной ряби у сухих камней. Потом — две крупные темные ссутуленные фигуры. Дьюкейна и Полу, сидящих у самой воды и поглощенных разговором. Мэри резким движением положила бинокль обратно.

— Мэри!

— Да, Вилли.

— Подите сюда.

Она вернулась назад с неясным, тягостным чувством и, стоя над Вилли, запустила пальцы в шелковистые седые волосы у него надо лбом.

— Мэри, я не могу на вас жениться, я вообще ни на ком и никогда не могу жениться.

У Мэри на миг отвердели пальцы. Она выпростала их из гущи мягких волос и провела кончиками по его лбу, отирая с него легкую испарину.

— Это ничего, Вилли.

— Простите меня, дорогая.

— Все нормально. Сожалею, что приставала к вам.

— Вы ко мне не приставали. Вы мне сделали массу хорошего. Вдвое прибавили мне вкуса к жизни.

— Очень рада…

— Я столько ем теперь! Растолстею, того и гляди, на зависть Октавиану.

— Я рада. И все же лучше бы Кейт не распространялась о нас с вами налево и направо.

— Это рассосется. Все у нас будет по-прежнему.

— То-то Тео обрадуется! Он боялся, что вы для него потеряны.

— Тео — болван.

— Все будет по-прежнему.

Мэри поглаживала его лоб, глядя поверх его головы на книжные полки. Ей не хотелось, чтобы все было по-прежнему. Ей хотелось решительных перемен в своей жизни. Она пыталась кое-как совладать с глухой огромной горечью, что по-медвежьи поднялась перед нею на дыбы.

— Мэри, я вас люблю. Не огорчайтесь из-за меня.

— Я не могу не огорчаться…

— Выше нос! Мне нечего вам дать, кроме любви, деточка, это — единственное, деточка, чего у меня в избытке.

— Не надо, Вилли. Зачем только я нарушила то,

что было! Вела себя, как последняя балда.

— Чудесная балда, — и ничего вы не нарушили.

— Всему виной это нескончаемое лето. Поскорей бы уж оно кончилось! Извините, что я несу такую чушь…

— Вам нужно устроить себе каникулы.

— Да, мне нужны каникулы.

— Я и сам, вероятно, подамся куда-нибудь — возможно, съезжу в Лондон.

— Ну и правильно.

Что же сейчас произошло, думала Мэри. Она отошла, отступила от него с невольным страхом, словно при этом грозила отломиться какая-то часть ее тела — легко и мягко, как во сне. Она знала, что никогда уже к ней не вернется радость, которую она черпала в нем, — радость неясного предвкушения и стремления к цели. Некая, пусть зыбкая, но драгоценная возможность, которой лучше бы так и оставаться нетронутой, отнялась у них навсегда.

— Што с фами?

— Мне жаль, Вилли, ужасно жаль.

Теперь к ней подступили слезы, готовые пролиться безудержным дождем. Пряча их, она подошла к окну и, смаргивая слезинки с ресниц,

опять взяла бинокль. Уставилась невидящими глазами в кружок яркого света. И тотчас же крепче сжала в руках бинокль.

— Вилли, там явно что-то стряслось…

Глава тридцать третья

— Пола!

— А, это вы, Джон…

— Можно мне с вами прогуляться?

— Да, конечно.

— А где двойняшки?

— Купаются вместе с Барби. Вон они, видите?

Три головы бултыхались в дали спокойного моря, подернутого золотистой дымкой в лучах послеполуденного солнца. Двое местных, в сопровождении спаниеля, шумно и неуклюже ковыляли по гальке. Монтроз, свернувшись на волноломе в неподвижный пушистый шар, сузив в щелки глаза, следил за спаниелем нехорошим взглядом. В отдалении, у уреза воды, стояли Пирс и Минго.

— Посидим немного?

Они опустились на горячие камни; Пола натянула ниже колен подол своего желтого платья. Дьюкейн инстинктивно зарылся рукой в галечную россыпь, добираясь до влажной прохлады внизу.

— Вы позволите?

Он скинул пиджак.

— Странно, что никогда эти камни не бывают правильной сферической формы. — Пола произнесла это четким, внятным тоном, каким обычно высказывались ее дети. Она оглядела крапчатый сизый камушек и швырнула его в воду.

Сейчас он плывет по Красному морю, думала она, держит курс на север. Исполинский, вытянутый в длину Эрик, противоестественно большеголовый и большелицый, медленно двигался под парами по ровной глади моря… Я должна быть податливой и бескостной, думала Пола. Не иметь ни собственной воли, ни устремлений — просто перенести его, как переносят болезнь.

Встречусь с ним в Лондоне, думала она. Но ведь он, может быть, захочет с нею спать? Как все это будет? Тогда, вероятно, лучше увидеться с ним здесь? Но мысль о том, чтобы подпустить его близко к двойняшкам, казалась невыносимой. Прежде всего нельзя терять голову, думала она, нужно действовать трезво и разумно.

— Пола…

— Простите. Вы что-то сказали?

— Что случилось, Пола? Только не говорите, что ничего. Я же вижу — вы сама не своя.

— Ничего не случилось.

— Бросьте, Пола. Это все замечают. Скажите мне, в чем дело. А вдруг я смогу помочь?

Так, значит, все это замечают…

— Не сможете, Джон. Тут я одна, как перст.

— Пола. Все равно вы мне скажете!

Сказать, спросила себя Пола почти равнодушно? Она подобрала еще один почти, но не совсем сферической формы камушек, оглядела его и бросила вслед за первым.

— Пола, милая, прошу вас…

— Вот если б можно было все изложить холодно, беспристрастно… — сказала она вслух, обращаясь к самой себе.

— Да-да, попробуйте! У вас получится. С чем это связано? Для начала хотя бы намекните, с чем связано.

— Связано с одним человеком по имени Эрик Сирз.

— И кто это?

— Мой бывший любовник.

— А вот что…

— Вы, очевидно, как и все, полагаете, что это я развелась с Ричардом. На самом деле было не так. Это Ричард со мной развелся, потому что у меня был роман с Эриком.

— Вы любили Эрика?

— Выходит, что любила.

— И теперь тоже любите?

— Думаю, нет.

— Вы с ним видитесь?

— Это мне предстоит. Он с этой целью сейчас возвращается из Австралии — чтобы увидеться со мной, предъявить на меня права.

— Вы не обязаны никому предоставлять на себя права, если не хотите.

— Здесь все обстоит сложнее.

— Вас связывают с ним некие обязательства?

— Да.

— Ребенок?

— Нет-нет. Это ужас что такое. Невозможно рассказывать…

— И тем не менее вы расскажете.

— Главное, как все получилось с Ричардом.

— У Ричарда, надо думать, было более чем достаточно романов, когда никакого Эрика еще и в помине не было?

— Да. Это ни для кого не секрет, правда? Да, Ричард мне изменял. Что не оправдывает мою измену. И даже не служит ей объяснением. Со мной случилось временное помрачение рассудка.

— Что представляет собою этот Эрик? Чем занимается?

— Он керамист. Крупный бородатый блондин. Был бородатым, во всяком случае. Он — дьявол.

— Так как же все получилось с Ричардом?

Пола набрала в грудь побольше воздуху. Мускулы на лице у нее сводило, как от сильного встречного ветра.

— У них вышла драка, — сказала она.

Все это время Полу не оставляло осознание безмерного спокойствия, царящего вокруг. Сквозь прозрачную, тихую воду, до бледного, мощенного камнями дна, светило солнце. По прибрежной гальке, удаляясь, хрустели шаги. Вдалеке с глухим стрекотом шел на посадку самолет. На горизонте плескались в море дети, и голоса их растворялись в знойном воздухе, который, едва заметно колыхаясь, тяжелым пологом навис над водой.

— И что? — спросил очень мягко голос Дьюкейна.

— Это произошло совершенно неожиданно, — сказала она. — У нас дома, в бильярдной. В нашем доме в Челси, как вы знаете… хотя, пожалуй, откуда вам знать… пристроена с задней стороны большая бильярдная комната. Ричард любил иногда поиграть. Оттуда дверь вела в сад. Был поздний вечер, а Ричард перед тем сказал, что должен съездить в Париж по делам службы.

По-моему, сказал нарочно, чтобы устроить мне ловушку. Я, разумеется, рассказала ему про Эрика. Рассказала сразу же, холодно и сухо, и так же холодно и сухо он принял это. До меня, в сущности, даже не дошло, что это пробудило в нем ревность. Я думала, он скорее почувствует известное облегчение. В тот вечер Эрик пришел ко мне домой. Идиотством было с моей стороны пускать его в дом, но уж очень ему хотелось. Он до того не бывал у нас ни разу. По-моему, просто хотел почувствовать себя на месте Ричарда. Мы были в холле, разговаривали. Кажется, как раз собирались уходить и ехать к Эрику. И тут заметили, что в бильярдной, войдя через сад, стоит в темноте Ричард и слушает. Я по первому же шороху мгновенно поняла, в чем дело, и включила свет. Эрик с Ричардом до тех пор никогда не встречались. Мы стояли втроем в бильярдной, и Эрик начал было произносить нечто похожее на монолог. Он не особенно растерялся и был намерен выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой. И тут Ричард накинулся на него. Эрик — крупный мужчина, но Ричард служил в «Командос» и знал, как надо драться, а Эрик — нет. Муж ухитрился нанести Эрику удар по шее и, по-моему, оглушил его. А потом — бог знает, как это у него получилось, все

произошло так молниеносно — притиснул Эрика к стене и опрокинул на него бильярдный стол.

— Ох ты, — негромко сказал Дьюкейн.

— Вы знаете, какая это тяжесть, — сказала Пола. Голос ее звучал ровно, почти бесстрастно. Взгляд остановился на одном из донных камней. — Краем стола Эрику придавило ногу, верхней частью прижало его к стене. Он закричал. Мы с Ричардом пытались поставить стол обратно. Вообразите себе эту картину. Оба, не говоря друг другу ни слова, с двух концов тянем стол на себя. Эрик кричал, не переставая. Наконец стол сдвинулся немного, и Эрик сполз вниз. Ричард вытащил его наружу. Он был фактически без сознания от боли. Я пошла и вызвала по телефону скорую.

Пола замолчала.

— И что потом? — так же тихо, почти шепотом спросил Дьюкейн.

— Потом поехала вместе с ним в больницу. Ричарда после этого я увидела уже у дверей суда по бракоразводным делам.

— А Эрик серьезно пострадал?

— Серьезных внутренних повреждений не было. — Пола говорила все тем же четким, внятным голосом. — Но одну ногу ему раздробило вдребезги. Ее пришлось ампутировать. Естествен-

но, — прибавила она, — мы сделали вид, что это был несчастный случай.

— Понятно, — сказал Дьюкейн, помолчав. — А дальше что?

— А дальше было то, что с Эриком я рассталась тоже. Вернуться к Ричарду я не могла, мне это и в голову не приходило, тем более что он на другой же день написал мне о разводе. Я думаю, и ему стало просто невмоготу. А оставаться с Эриком мне было тоже невозможно. Что-то оборвалось, когда Ричард изувечил его прямо у меня на глазах. Эрик почти опротивел мне — как и я ему, вероятно. Какое-то время все было так скверно, что хуже некуда, глядеть ни на что не хотелось. Я внутренне отступилась от Эрика, и он стал автоматически отдаляться от меня. Мы продолжали видеться, но словно бы играя роль в какой-то кошмарной пьесе. Потом он объявил, что уезжает в Австралию. Мы оба вздохнули с облегчением.

— И тогда?..

— Тогда он написал мне, уже оттуда, что встретил на пароходе совершенно изумительную девушку и собирается на ней жениться. У меня окончательно отлегло от сердца. Потом от него ничего не было слышно, покуда, примерно месяц назад, он не написал мне, что женитьба так и не

состоялась, а он больше всего на свете жаждет и требует одного — видеть меня. Его пароход приходит на следующей неделе.

— Вы боитесь его, — сказал Дьюкейн.

— Да. Я всегда его побаивалась. Интересно, что Ричард никогда не внушал мне страха, хотя Ричард, во внешних своих проявлениях, — куда более необузданная натура.

— Вы обмолвились, что Эрик — дьявол.

— Да. Это странно, потому что такой человек может с легкостью представиться вам нелепым. По-моему, он сперва и мне представлялся нелепым — эдакий ходульный комедиант. Но он обладает магнетизмом в каком-то буквальном смысле слова, некой животной силой, которая может быть присуща и совсем глупому человеку. Я это не к тому, что Эрик глуп, я лишь хочу сказать, что рассудок тут ни при чем — по крайней мере, здравый рассудок. Это отчасти телесное свойство. Тем он, пожалуй, и привлек меня. У Ричарда все идет от ума, даже чувственность его носит рассудочный характер. Эрик же был весь от земли или, быть может, скорее — от моря. Он у меня всегда ассоциировался с морем.

— Вы, вообще говоря, хотите с ним увидеться?

— Нет. Но должна. Я должна… пройти через

это снова.

— Сколько я понимаю, — осторожно подбирая слова, сказал Дьюкейн, — у вас такое чувство, будто вы перед ним в долгу. Нерасторжимые узы своего рода…

— Вот именно. Кровные узы. Мне кажется, он считает, что над ним тяготеет заклятье, которое могу снять одна я. Что ему отравляет жизнь гнусная порча, которую по силам устранить только мне. Вот почему я вынуждена буду с ним встретиться, и встретиться один на один.

— Вы в самом деле верите, что способны чем-то ему помочь? При том что не любите его? Или вы допускаете, что, возможно, полюбите его снова?

— Нет! У меня нет уверенности, что я способна ему помочь. Иногда мне кажется, что он ищет способа наказать меня. Бывают дни, часы, когда я думаю, что он возвращается, чтобы меня убить. Или же ограничится тем, что придумает, как меня унизить. Я не представляю себе, что будет. Знаю лишь, чему быть, того не миновать. И притом — на следующей неделе.

Дьюкейн, сощурясь от слепящего блеска, глядел на море.

— Кому еще известна эта история?

— Никому. Кроме Ричарда и Эрика.

— Почему вы о ней молчали?

Пола замялась.

— Из гордости.

— Ну да. И оттого она переросла в нечто зловещее. Вы заболели этим дьяволом, который вселился в Эрика.

— Верно. Вся эта история — то, как она разыгралась, — была сокрушительна. И главным образом, сокрушила то представление, которое сложилось у меня о себе, некую целостность. Удивительно… Поэтому я даже не попыталась удержать Ричарда от развода. Что-то во мне сломалось во время той сцены в бильярдной. Что-то, что не сломалось из-за того, что я спала с Эриком. А тут сознание вины как бы сгустилось в осязаемый предмет, и этот предмет всадили тебе в кишки…

— Вам придется заново пережить все это, Пола, и не только ради Эрика, но и ради себя.

— Может быть. Но как подумаешь, что вот он приедет…

— Вы должны подойти к этому разумно. Мне понятны ваши чувства. И ясно, что с Эриком вам нужно встретиться наедине. Но эта встреча, я считаю, должна произойти в нормальной обстановке. То есть в окружении других людей. Пусть он познакомится с вашими друзьями, увидит,

что у вас есть поддержка, есть собственная среда обитания. Я, кстати, на следующей неделе буду в Лондоне…

Под торопливыми шагами захрустела галька, и к сидящим ящерицей скользнула тень. Это был дядя Тео.

На ярком солнце Тео выглядел особенно бледным и иссохшим; округлый купол его большого черепа подобно шлему венчал его съеженные песьи черты. Морщась, он взглянул на них сверху вниз насмешливо и слегка брезгливо.

— Вам почта, Пола.

На гальку упали три письма. Секунду помедлив, словно бы ожидая приглашения остаться, Тео быстро зашагал прочь, сгорбясь, шумно вонзая ноги в гальку и не дав Дьюкейну выговорить ничего, кроме:

— Тео, вы…

Пола проводила его взглядом.

— Он словно в воду опущенный в последнее время. Знать бы, что там творится у него в голове… Бедный Тео! Вы бы, Джон, потолковали с ним серьезно. Пусть объяснит, что у него случилось. Вам он скажет…

Дьюкейн издал короткий лающий смешок.

— Ох. — Взгляд Полы упал на письма. — Здесь

одно от Эрика. Из Суэца.

— Что ж, читайте скорее, — сказал Дьюкейн.

Он отвернулся, жмуря глаза от солнца, стараясь разглядеть вдали купающихся детей. Заметил, что, должно быть, начался отлив, так как сквозь прозрачную толщу зеленоватой воды, уже отступившей на несколько футов с тех пор, как они с Полой сели возле нее, темной полосой обозначилась гряда лиловых водорослей, которые становились видны только при отливе. Фигура Тео, постепенно уменьшаясь, продолжала удаляться все с той же бессмысленной целеустремленностью.

Не прошло и минуты, как рядом послышались непонятные звуки. Дьюкейн оглянулся и увидел, что Пола спрятав лицо в ладонях, сидит с трясущимися плечами.

— Боже мой, Пола, что еще?

Неудержимо сотрясаясь и издавая из-под ладони хриплые звуки, Пола протянула руку и бросила ему письмо. Дьюкейн стал читать:

«Борт «Морании»
Суэц.
Дорогая Пола!
Пишу тебе, чтобы без дальних око-

личностей сообщить, что я встретил на пароходе совершенно изумительную девушку и собираюсь на ней жениться. Странная штука жизнь! Мною всегда владело ощущение, что моей судьбой правят боги, но какими же непостижимыми путями ведут они меня подчас! Я знал, что должен вернуться в Англию, и думал — потому, что нужен там тебе. Но до чего неважным это кажется теперь! Прости, что говорю без обиняков, но чем буду откровеннее, тем тебе же лучше. То, что представлялось мне необходимостью увидеться с тобой, было на самом деле лишь тягой к перемене мест, а вернее — волей Провидения, влекущей меня в дорогу. Все обернулось как нельзя лучше. Мы сходим с парохода и летим в Каир. (Если помнишь, я всегда мечтал посмотреть на пирамиды.) Оттуда улетаем в Нью-Йорк и затем — в Чикаго, знакомиться с родней Анжелики. (Ее отец, между прочим, — видная фигура в мире искусства, и у нее много денег, хоть это, разумеется, не главное, я поначалу даже о том не знал. Она — изумительная девушка!)

Извини, Пола, милая, что обременяю тебя изложением счастливых для меня событий, но тянуть с этим радостным известием не вижу смысла. Я знаю, как ты ждала и как надеялась. Поверь, я не переставал думать, каково тебе придется. Тем не менее, по-моему, нам было бы неразумно сейчас встречаться. Есть много такого, что Анжелике было бы трудно понять. Она — очень солнечный человек, и я предпочел не отягощать ее мрачными подробностями моего прошлого. (Упоминаю об этом на тот случай, если вам с нею приведется встретиться, хотя думаю, что это маловероятно. После свадьбы мы отправляемся в кругосветное путешествие, а осядем, скорее всего, в Сан-Франциско как очень подходящем месте для моей работы.) Я убежден, что ты простишь мне мое отступничество. Ты — женщина с богатым духовным содержанием, не склонная к зависти, ревности или хандре. Твердо верю, что ты скоро найдешь в себе силы порадоваться моей удаче, не тая в душе обиды, что мне не пришлось оказать тебе поддержку, на которую, — как ты,

по-видимому, себя убедила — способен один только я. Пусть послужат тебе некоторым утешением мои слова: я счастлив и свободен от пут прошлого. Искренне желаю, чтобы когда-нибудь и ты смогла сказать то же самое.

Эрик.

P.S. Будь добра, непременно уничтожь это письмо».

Дьюкейн взглянул на Полу. Лицо у Полы совершенно преобразилось. Оно разгладилось, смягчилось и словно бы раздалось вширь, а глаза и рот растянулись в длину; Дьюкейн понял, что она прятала в ладонях смех. Измученное, сведенное в застывшую маску лицо расправилось и сияло. Глядя, как она опять задохнулась, трясясь от смеха, Дьюкейн тоже не выдержал, и они покатились со смеху вдвоем, раскачиваясь туда-сюда и обрушивая с уклона в воду каскады пестрых камушков.

Наконец Пола взяла письмо, лежащее между ними, разорвала его в клочья и рассыпала обрывки рядом с собой.

— Поглядим, как страшный призрак вмиг сдунет ветром!

— Теперь понятно, что вы имели в виду под словом «нелепый»! — сказал Дьюкейн.

— Стоит Эрику только сесть на пароход — и нате вам!

— Молодец Анжелика, дай ей Бог здоровья!

— По-моему, он всерьез убедил себя, что это я просила его приехать!

— Ну, Пола, вам снова светит солнце, — сказал Дьюкейн, трогая край ее желтого платья.

— Да, Джон, не знаю, как и благодарить вас…

— Не жалеете сейчас, что рассказали мне?

— Нет-нет, я уже знаю, что от этого многое изменилось — все изменилось…

Дьюкейн встал, расправляя затекшие ноги. Надел пиджак, поднял воротник рубашки и взъерошил себе волосы. Видно было, как вдоль берега бегут по направлению к ним Барбара и двойняшки.

— Пола, — сказал он внезапно, — вы все еще любите Ричарда?

— Да, — ни секунды не раздумывая, отозвалась она. И только потом оговорилась: — Но, конечно, речи быть не может…

— Постойте, в чем там дело? Взгляните на детей! Барби, ты что, что такое?

— Да Пирс! Он заплыл в Ганнерову пещеру

и обратно, сказал, выплывать не собирается, останется там дожидаться прилива, и он так и сделает, так и сделает, я знаю!

Глава тридцать четвертая

В пещере царила тишина. Пирс плыл брассом, далеко и размеренно выбрасывая руки, давая телу с минимальным усилием скользить вперед, по-рыбьи рассекая воду. Он был в брюках, в тонкой вязаной фуфайке, на ногах — шерстяные носки и резиновые тапки. В кармане брюк был водонепроницаемый, с гарантией, электрический фонарик, привязанный тесемкой к поясу. На руке — часы, тоже водонепроницаемые. Он уже заплыл в глубь пещеры дальше, чем когда-либо прежде, и дневной свет, проникающий внутрь сквозь низкую арку входа, постепенно сменялся полумраком. Он видел перед собой мерные взмахи своих рук, вспарывающих водную поверхность. Вокруг было ничего не видно.

Пирсов замысел провести в пещере время прилива приобрел за длительный период его созревания столь всепоглощающий и навязчивый характер, что любые соображения относительно того, что будет дальше, исключались напрочь. Замысел был, несомненно, связан с Барбарой, однако, правду сказать, идею Барбары затмила

собой идея пещеры. Туда, в неодолимо притягательную тьму, направляла его исполинская черная стрела. Унижение, отверженность, отчаяние сплелись в порыв желания, целью которому служила теперь уже не Барбара. То, что подобное испытание может окончиться смертью, составляло существенную часть его властной заманчивости. При этом погибнет ли он на самом деле, представлялось чем-то второстепенным. Смерть, как понятие, утвердилась в сознании Пирса, вырастая в захватывающее дух явление — не реальную физическую возможность и даже не средство обрести утешение, а в единственно достойный объект любви.

Дальний свет от входа в пещеру заслонило окончательно, и Пирс скользнул в зону полной темноты. Опустив руки, он оглянулся через плечо: слабый отсвет угадывался на воде, но белесый полукруг дневного света исчез. Должно быть, он заплыл за поворот в пещере. Пирс нашарил электрический фонарик и, держась на плаву, включил его. Луч у фонарика был длинный и мощный, но воздух, как бы уплотненный мельчайшей взвесью, глушил и ограничивал свет. Пирс разглядел довольно высоко над головой свод пещеры и стены, отвесно уходящие в во-

ду и увешанные бурыми гирляндами морских водорослей, похожих на блестящие ожерелья, выставленные напоказ. Ширина от стены до стены была ярдов двадцать. Наведя луч фонаря на потолок, Пирс отплыл назад на несколько взмахов руки, и далекий дневной свет внезапно обозначился чертой во тьме слева от него, как будто к его голове лентой проложили по воде какое-то белесое вещество. Казалось, протяни только руку, и достанешь. Одновременно подвижное пятно фонаря наверху качнулось и пропало.

Пирс принял стоячее положение и, удобнее ухватив фонарь, посветил им во все стороны. Здесь потолок был гораздо выше, и ему стало ясно, что пещера в этом месте раздваивается. Перед ним были две каверны приблизительно равного размера: одна вела налево, другая — та, из которой он только что вернулся, — направо. Это открытие повергло Пирса в легкое замешательство. Его привычному представлению пещера рисовалась единым полым пространством, уходящим кверху в толще утеса и завершающимся сухой просторной камерой, возможно полной сокровищ. При том, что наличие сокровищ и даже сухого места и воздуха было не главное. Камера в самом конце пещеры могла оказаться

и просто последней трещиной, щелью, в которой вода прилива наконец-то доходит до потолка и топит загнанную крысу во мраке забытья. Пирсу только не приходило в голову, что ему придется делать выбор. Мысль о выборе породила мысль о жизни, о будущем, а та в свою очередь вызвала первый приступ страха.

Пирс посветил фонариком вверх, на свод левой каверны. Он отстоял футов на двадцать пять от уровня воды и был покрыт водорослями. Пирс перевел луч фонаря на правую каверну. Здесь потолок был повыше и тоже покрыт водорослями. Который из двух рукавов развилины поведет его кверху? За неимением иного указателя, Пирс решил довериться случаю, по воле которого раньше повернул направо. Он погасил фонарь и поплыл дальше. Лента дневного света скрылась из виду.

Теперь он плыл медленно, пытаясь неким внутренним локатором определять расположение и близость стен. По его ощущению, ему это удавалось. Но на него давила темнота. Она сгустилась еще сильней и уплотнилась, облепив ему голову наподобие черной коросты. Стоит, чудилось, поднять руку, и можно будет отодрать от нее кусок. У Пирса внезапно сперло и участилось дыхание, ему пришлось остановиться и подождать, покуда

оно выровняется. Вода, которая, когда он заплыл в пещеру, показалась ему теплее, чем в открытом море, оставалась по-прежнему непривычно теплой, и ни усталости, ни холода он не ощущал. Он снова вытянул наружу фонарь и посветил сперва назад — туда, откуда приплыл, — а потом вперед.

Прямо перед ним пещера опять раздваивалась. Опять предстояло делать выбор. Что, если, подумалось Пирсу, прилив-то я как раз переживу, но не пришлось бы попросту заблудиться в этом окаянном лабиринте, откуда не найдешь дорогу назад? Или ему укажет ее отлив? Трудно сказать… Пирс потихоньку поплыл вперед, направив тонкий луч света на камеру перед собой. Луч фонаря, узенький и неверный, поглощала темнота. Видно было хуже, чем прежде. Глаза его, похоже, не легче, а все труднее привыкали к плотному и вязкому мраку. Здесь левый рукав развилки был как будто чуточку шире, а влажный, заросший водорослями свод — чуть выше над водой. Пирс медленно заплыл в устье рукава. Сначала, думал он, направо, потом — налево. Надо запомнить. Направо, и потом налево.

Он посветил фонариком перед собой, оглядывая потолок и стены. Ни уменьшения коридора

в размерах, ни признаков его подъема кверху не наблюдалось: стены пещеры все так же отвесно уходили в воду. Ни единого выступа нигде, чтоб хотя бы перевести дух. Не может же так продолжаться без конца, думал Пирс. А с другой стороны, почему бы и нет? Коридор изгибался, забирая круто влево. Почему бы этим червоточинам, так чисто и ладно просверленным в толще скалы, не множить свои извивы до бесконечности под приливной водой? Можно вот так плыть и плыть час за часом в безликой мгле, покуда прибывающая вода наконец не прижмет тебя макушкой к осклизлой поверхности покатого свода…

Пирс вздрогнул, пронизанный паникой, словно ударом тока, и ему сразу стало холодно. Что, если очень быстро поплыть тем же путем обратно, подумал он, успеешь ли тогда выбраться из пещеры, до того как вход в нее затопит прилив?.. Он высунул руку из воды и посветил себе на часы. Мокрые, но с таким привычным, будничным циферблатом, часы под черным колпаком темноты выглядели чужеродным и случайным предметом. Он пробыл в пещере всего пятнадцать минут. Если сразу же повернуть назад, можно было вполне успеть наружу… Пирс выключил фонарик и мощными толчками двинулся вперед,

в глубь пещеры.

Спустя немного он сбавил ход и посветил вокруг, проверяя, не проскочил ли в темноте еще одну развилку. Нечто подобное виднелось впереди. Он осторожно подплыл ближе, туда, где стены немного расступались вширь и откуда не менее четырех ответвлений отходили черными круглыми дырами, похожими на кулаки, сжатые поверх слабо колышащейся воды, по которой прерывистой светло-шоколадной полоской шарил луч фонаря. Вплывая в этот раструб, Пирс увидел в стене справа от себя неровность, образующую что-то вроде покатого карниза. Пирс повернул туда и попытался влезть на этот выступ. Это оказалось нелегко, так как скала, словно тонким волосом, заросла светло-зелеными необычайно скользкими водорослями. В конце концов ему удалось примоститься там кое-как, наполовину оставаясь в воде, и воспользоваться фонарем с большим толком. Впереди открывались четыре хода. Потолок у всех четырех, заметил Пирс, был значительно ниже, чем свод в той камере, откуда они вели. Пещера, кажется, начинала понижаться.

В это мгновение с воды послышались какие-то звуки. Звуки, которые производил не он. Пирс

лежал неподвижно, распластанный по-тюленьи на покатой скале, и удерживался на ней, до боли вцепясь одной рукой в отвесный конец карниза. Он напрягся, прислушиваясь. Звуки напоминали плеск, словно поблизости по воде шлепало что-то громоздкое и неуклюжее. Пирс с трудом повернулся, продолжая цепляться за край выступа, и оглянулся через плечо. Бледно-коричневая полоска света двинулась по поверхности воды. Что-то там было, барахталось посередине камеры. То был Минго.

— Минго! — вырвалось у Пирса.

Он разом выпустил из рук и фонарик, и край карниза. Соскользнул вниз, а тесьма, которой был привязан к его поясу фонарик, зацепилась за зубец на скале и лопнула. Фонарь, покачиваясь, задержался на краю выступа, потом неслышно опрокинулся и скрылся в воде.

Пирс лежал, припав к скользкой скале, погруженный одним плечом в воду, все еще цепляясь одной рукой за водоросли. Вокруг была густая, непроглядная тьма. Плеск по воде приблизился, и Пирс ощутил под протянутой рукой ошейник Минго и сухую шерсть у него на голове. Минго заскреб лапами по скале, пытаясь выбраться из воды.

— Эх, Минго, Минго, — сказал Пирс.

Он подсадил пса повыше по скользкому от водорослей скату и прижался головой к теплому и мокрому боку, продолжая как можно крепче держаться за водоросли на скале. По лицу его потекли вдруг горячие слезы.

Глава тридцать пятая

— Что же делать? — сказала Пола.

Она смотрела на Дьюкейна. Барбара ухватилась за рукав его пиджака. Близнецы ухватились друг за друга.

— Моторку? — сказал Дьюкейн.

— В деревне есть, — сказала Пола, — но пока мы туда…

— Ее сдали на весь день, — сказал Эдвард.

— Мы видели, как она уходила.

— Надо звонить в береговую охрану, — сказал Дьюкейн. — Правда, от этого… Сколько прошло с того времени, как он туда заплыл?

— Минут пятнадцать, должно быть, — сказала Барбара.

— Больше, — сказала Генриетта.

— Вы понимаете, — сказала Барбара тонким голосом, в котором слышались слезы. — Я сперва ему не верила по-настоящему. Ждала, что он выплывет обратно. Только потом почувствовала вдруг, что это всерьез. А после пришлось долго плыть назад.

— Мы тоже были там, — сказал Эдвард. — Я-то

знал, что это всерьез, я сразу так и сказал.

— Еще, может статься, в любую минуту увидим, как этот дуралей плывет об…

— Нет-нет-нет! — жалобно запричитала Барбара. — Он там, внутри, и он останется там, я знаю!

Дьюкейн схватился за голову. Он торопливо соображал, не спуская глаз с Полы, которая всем своим видом выражала отчаянную готовность помочь ему.

— Сколько осталось до того, как закроется вход?

— Полчаса, — сказал Эдвард.

— Двадцать пять минут, — сказала Генриетта.

Дьюкейн посмотрел на часы.

— Вот что, — сказал он, обращаясь к Поле. — Давайте исходить из наихудшего. Поднимайте тревогу. Звоните в береговую охрану, звоните в деревню. Увидите моторку — останавливайте. Выясните, есть ли кто-нибудь, кто хорошо знает пещеру. Не найдется ли снаряжение для аквалангиста и кто-нибудь, кто умеет им пользоваться. Я, правда, не представляю, что тут можно… Словом, я сейчас плыву туда и обследую обстановку. Не исключено, что он болтается где-нибудь у входа, стараясь нас напугать.

— Мы тоже с вами! — закричали дети.

— Ни в коем случае, — сказал Дьюкейн. — Вы продрогли, вы слишком долго оставались в воде. — Все трое дрожали от холода. — Тем более, что это на вас Пирс хочет произвести впечатление, особенно — на тебя, Барбара. Если он будет думать, что ты тоже там, он может и не выплыть наружу. Нет, вы отправляйтесь с Полой.

— Джон, но вы же не станете заплывать в пещеру? — вскричала Пола.

— Нет-нет. Только загляну. Возможно, тут-то и столкнусь нос к носу с Пирсом. А вы все отправляйтесь, и чтоб без паники!

Дьюкейн сбросил с себя пиджак, стянул галстук. Скинул с ног ботинки, снял носки, спустил брюки.

— Ну же! — прикрикнул он на Полу и детей, и те припустились бегом по прибрежной гальке.

Дьюкейн опять надел ботинки и побежал вдоль берега в обратную сторону, — туда, где круто обрывался в море красный утес. Там он вновь скинул обувь и бросился в воду.

Он плыл на боку, энергично и быстро, стараясь держаться как можно ближе к подножию утеса, ощущая противодействие течения — одного из тех, что наградили эту часть побережья дурной славой среди купальщиков. Течение было встреч-

ным и замедляло его продвижение вперед. Он не помнил, чтобы когда-нибудь плаванье стоило ему таких мучительных усилий, и при этом, похоже, продолжал оставаться все на том же месте. Он уже запыхался. Мешали рукава рубашки, то прилипая к телу, то надуваясь водой, и он, не останавливаясь, попытался стащить ее с себя. Стянул через голову и бросил в воду. Обогнув утес, у оконечности которого течение ощутимо теряло силу, он очутился в соседней бухте, и Трескоум скрылся из виду.

Теперь в пределах видимости оставались лишь тихое море, да небо, да внешний и внутренний изгиб утеса, закрывающего с обеих сторон сушу. Дьюкейн почувствовал себя внезапно очень маленьким и одиноким. Красный утес, который на близком расстоянии оказывался буровато-терракотовым с сине-серыми прожилками, отвесно спускался к морю, до того сухой и сыпучий на вид, что должен был, казалось, раствориться при соприкосновении с водой. На нижней его половине широкой полосой обозначался уровень прилива и безобразными темными пучками, словно космы отросших волос, нависали водоросли, успевшие прожариться на солнце с тех пор, как от них в последний раз отхлынуло море. Выше

колыхались кустики белых ромашек, лепящихся неведомо как на отвесной стене. Дьюкейн улавливал их легкий аромат, смешанный с морским запахом подсыхающих на припеке водорослей.

Отсюда неровной темной линией поверх воды уже был виден вход в пещеру. Подплывая к нему, Дьюкейн взглянул на часы, которые все еще шли, как ни странно. Если верить расчетам Генриетты, до того, как устье пещеры закроется, оставалось чуть меньше пятнадцати минут. Еще несколько гребков, и после яркого солнца Дьюкейна накрыла вдруг тень утеса.

— Пирс, Пирс! — позвал он.

Тишина.

Свод пещеры отстоял от воды футов на семь. Дьюкейн заплыл внутрь, заметив, что потолок ее немного понижается. Далее он терялся в темноте, а стены пещеры расступались. Дьюкейн доплыл до того места, где было шире, и снова позвал Пирса.

Он сказал Поле, что поплывет к пещере, потому лишь, что ничего другого не мог придумать. Ему смутно представлялось, что он без труда обнаружит Пирса и, употребив свою власть, заставит парня выплыть наружу. Сейчас все выглядело иначе. Резкий переход в прохладный полумрак

после солнечного безлюдья бухты — одно уж это произвело в нем перемену. Действительность куда-то отступила. Дьюкейн позвал Пирса еще раз. Он обратил внимание, что вода сквозь устье пещеры прибывает довольно быстро, и его уже отнесло на приличное расстояние от входа. Он отплыл на несколько гребков назад, чтобы удостовериться, что может без труда выплыть наружу, и вновь позволил течению отнести себя немного дальше в темноту, продолжая время от времени выкрикивать имя Пирса.

Плывя по исполинской пещерной заводи, Дьюкейн внезапно увидел мысленным взором картинку из «Алисы в Зазеркалье» — ту, на которой Алиса и мышь плывут по Морю Слез[44]. Ему отчетливо вспомнилось, как грациозно плывет Алиса, с каким изяществом простерлось в воде ее платье. Что-то на этой картинке, должно быть, поразило его в детстве. Барышни и их платья… Он опять позвал Пирса.

Теперь глаза его привыкли к сумеречному, чайного оттенка освещению пещеры, и он различил в стене слева от себя черноту, похожую на отверстие. Дьюкейн поплыл туда, уже брассом, высоко

---

[44] Примечания: 44

На самом деле речь идет об иллюстрации к «Алисе в стране чудес».

подняв голову и прислушиваясь. В какой-то миг ему словно бы тихо накрыли голову черной подушкой — это он вплыл в жерло отверстия.

Дьюкейн не боялся воды, он боялся — и очень — замкнутого пространства. Он отплыл обратно, дотрагиваясь до стены. Крикнул. Издали донесся еле слышный отклик. Дьюкейн дал течению отнести себя назад к стене и вслушался в тишину, оттененную глухим шипеньем текучей воды. Он отвернулся от мутного света позади и, всматриваясь в непроглядную тьму, крикнул снова. Нет, не почудилось. Чуть слышный отклик повторился, заунывный, далекий, безнадежный.

Перед мысленным взором Дьюкейна возникла другая картина. Он увидел Пирса где-нибудь в конце туннеля, откуда ему не выбраться, — возможно, с ногой, сведенной судорогой, возможно, с другим увечьем, — в отчаянии зовущего на помощь. Одновременно — будто сама темнота обратилась в экран для наглядного показа того, что у него на душе, — он явственно увидел перед собой встревоженное смуглое лицо Мэри Клоудир.

— Иду! — крикнул он и ринулся в поток.

Мутный свет позади стал меркнуть и погас. Течение подхватило и понесло Дьюкейна вперед с такой скоростью, что почти отпала надобность

плыть самому. Туннель, казалось, делал крутой поворот. Дьюкейн схватился за что-то — какую-то мокрую, гладкую выпуклость — и попытался удержаться. Течение развернуло его, крутануло, словно чья-то гигантская рука повертела его в пальцах, — и он наглотался воды.

Дьюкейна охватило смятение. Он протянул руки, ища хоть какой-нибудь опоры, боясь, что в любую минуту может разбить себе голову о невидимый выступ в скале. Страшно было находиться в плотной, замкнутой тьме. Дьюкейн ударился коленом о камень, торчащий под водой, оперся на него кое-как и, упираясь руками в стенку туннеля, ухитрился задержаться на месте.

— Пирс! Пирс! — крикнул он что было мочи.

— *Пирс! Пирс!*

Это эхо, сказал себе Дьюкейн. Он сказал это холодно, четко выговаривая слова про себя. Крикнул еще раз:

— Эгей!

— *Эгей!*

Надо возвращаться, подумал он. Он оттолкнулся от камня и энергичными гребками устремился в ту сторону, откуда приплыл. Но мощное течение перехватило его и повлекло за собой вперед, дальше.

Теперь Дьюкейн испугался не на шутку. Он с трудом пробился к стене, где течение было потише, стараясь держаться вплотную к ней. В полной темноте утрачивалась способность ориентироваться в пространстве, способность ощущать собственное тело. Чтобы понять, куда надо плыть, приходилось призывать на помощь воображение. Все решит сила, думал он, вся сила, какая только есть во мне, нечеловеческая сила. Полувплавь, полуползком впритирку к каменной стене он стал продвигаться в том, казалось ему, направлении, откуда приплыл. Он двигался очень медленно, но теперь, по крайней мере, все же двигался. Похоже, он приближался к тому месту, где туннель делал поворот. На минуту Дьюкейн как будто совсем разминулся с течением. Потом ощутил, что он меняет направление, что туннель становится просторнее, шире, а напор воды слабеет. Должно быть, он почти доплыл до главной, входной камеры.

Чувствовалось, что пространство вокруг делается свободнее, стенка туннеля куда-то ушла из-под бока. Плыть стало теперь совсем легко. Дьюкейн сделал несколько гребков. Он наверняка достиг входной камеры. Только сейчас в ней было темно. Впереди под водой виднелась

полоска зеленоватого света. Но узкий, пронизанный солнцем зев пещеры был не виден. Выход из пещеры закрылся.

Теперь перед ним вставали другие картины. Долго ли плыл Дьюкейн, сказать трудно. Цветные образы возникали на фоне тьмы так ярко, что он, казалось бы, должен был разглядеть при их свете стены пещерного зала. Он видел, как стоит на каминной доске Алиса в тот миг, когда зеркало превращается в серебристую дымку, сквозь которую можно пройти в Зазеркалье. Видел лицо Мэри Клоудир, уже не встревоженное, а полное нежности и грусти. Мы оба погибли, подумал он, и не сразу понял, кого имеет в виду под этим «мы». Себя и Пирса, разумеется. То и дело он принимался звать Пирса, однако ответа не было. Звук оглашал ближнее пространство, будто не в силах проникнуть дальше, но хотя бы сообщая Дьюкейну, что туннель, по которому он плывет, все еще достаточно просторен.

Дьюкейн начинал зябнуть, руки и ноги у него устали, но процесс плаванья к этому времени происходил автоматически, как будто вода кругом была для Дьюкейна родной стихией. Что-то жуткое, сопровождая его, неслышно летело прямо над головой, словно черная птица, сотканная

из эманаций. То был страх, панический страх — тот, что разрушает человека, превращая его в орущего урода. Дьюкейн очень остро ощущал его присутствие. Он старался дышать медленно и ровно. Мысленно рисовал себе, как эта пустота в теле утеса, постепенно повышаясь, заканчивается сухой и безопасной камерой. Рисовать себе иные картины он избегал. Во всяком случае, пещера вела все дальше, и ему ничего другого не оставалось, как следовать за нею, сколько можно. Но покамест, судя по тому, что ему время от времени удавалось нашарить протянутыми руками, вокруг была все та же вода, текущая меж отвесных и мокрых каменных стен. Ни трещины, устланной галькой, ни отмели, ни хотя бы выступа, чтоб уцепиться и передохнуть. Теперь он видел, как Алиса проваливается в кроличью нору, медленно опускается все глубже.

В такой темноте, думал Дьюкейн, можно оказаться в двух шагах от пути, ведущего в безопасное место, и, не ведая о том, проскочить мимо. Дело случая, и только. Течение было теперь не таким быстрым, его с легкостью удавалось переплывать в обе стороны и ощупывать стенки туннеля; здесь от одной до другой было футов пятнадцать. Туннель, кажется, постепенно сужался. В стенах

попадались неровности, но то были всего лишь выпуклости, бугры, обточенные до осклизлой округлости водой, упорно стремящейся в нутро утеса по черной нескончаемой трубе. Воздух все еще оставался свежим — правда, с морской, едва уловимой гнильцой, как будто разложению подвержена была сама вода, которая словно и в самом деле становилась густой и маслянистой. Пока все прочие органы чувств отказывали, отмирали, обоняние доносило до Дьюкейна этот запах с чудовищной ясностью, точно составную часть черной вязкой структуры по имени воздух и вода, посреди которой, быть может и не двигаясь вовсе, слабеющий Дьюкейн производил с немой тоскливой мольбой плавательные телодвижения.

Он вспомнил, что, кажется, давно уже никого не зовет, — и позвал, осипшим голосом, негромко:

— Пирс!

— Я тут.

— *Пирс!*

— Да, я тут…

Отклик прозвучал совсем близко. Дьюкейн остановился. Все разом изменилось. Он вновь вселился в собственное тело, вновь ощутил, как движутся в воде его конечности. Почувство-

вал, как все вокруг вновь обретает истинные пропорции. Мгла перестала быть субстанцией, вобравшей его в себя, и сделалась лишь завесой, досадным обстоятельством.

— Ты где?

— Здесь я, здесь…

Дьюкейна вынесло внезапно к отрожку скалы, покрытому мягким наростом слизи. Он чувствовал, как вода обтекает его, прижимая плотнее к камню.

— Да где же?

— Сюда давайте.

Дьюкейн ощупью обогнул отрожек и отдался на волю течения. Неожиданно почувствовал под собою дно, сперва под коленями, потом — под рукой. Он передвигался уже не вплавь, а ползком. Кто-то нашарил его в темноте и схватил за плечо. По плечу разбежались иголки боли. Дьюкейн понял, что почти совсем онемел от холода. Он подполз ближе и растянулся во весь рост, чувствуя под ладонями гальку.

— Простите меня, ради бога, — проговорил рядом голос Пирса.

Странно прозвучал в черной мгле серьезный, искренний мальчишеский голос словно бы из обычного мира, где люди приносят извинения.

— Ты не попробуешь растереть меня как-нибудь? — сказал Дьюкейн. — Я совершенно окоченел.

Иголки боли вернулись и побежали у него по спине. Он стал ворочаться, потягиваться, разминая конечности. Усталость была так велика, что непонятно, как всего минуту назад у него хватало сил плыть куда-то.

— Что это?

— Это Минго. Он приплыл следом за мной. Я так виноват…

— Ладно, хватит. Есть отсюда ход куда-нибудь?

— Не знаю, — сказал голос Пирса. — Я попал сюда только что. Во всяком случае, мы на данный момент хотя бы не в воде. Я попробовал сунуться в другой туннель, но он просто упирается в стенку, причем потолок там довольно низкий, и я понял, что надо убираться оттуда скорее. Насилу выплыл назад против течения. Потом оказался здесь и наткнулся на вот это место… А после услышал, как вы меня зовете…

— Ты цел?

— Да, все нормально. Ну вы согрелись немного?

— Да.

Не утону, так погибну от переохлаждения,

подумал Дьюкейн. Он сел, растирая себе руки и ноги. Тело казалось на ощупь чужим, словно ледяной пластилин.

— Нам нужно двигать дальше, — сказал Пирс. — Здесь может тоже оказаться тупик. Или, хотите, я схожу погляжу, а потом вернусь за вами?

— Нет-нет. Я тоже с тобой. — Только не оставляй меня, Христа ради, взмолился он мысленно. Он встал — сперва на колени, затем на ноги — и несильно стукнулся обо что-то головой. Это был свод туннеля. — А что там за шум?

— Это, по-моему, вода проходит сквозь отверстия в скале.

Рядом через неравные промежутки времени слышались жалобные звуки, перемежающиеся глухим мягким всплеском.

— Она бьет в потолок соседней камеры, — сказал Пирс. — Вода становится заметно неспокойней.

Вода, которая до сих пор так тихо струилась в темноту, попадая сюда, во внутренние, более узкие пустоты, становилась яростно бурливой. Дьюкейн почувствовал, как волна хлестнула его по ногам.

— Трогайся, Пирс. Вода прибывает, чтоб ее…

— У вас обувь-то есть на ногах?

— Трогай, трогай.

Они начали пробираться вперед в черной мгле. Казалось, слегка поднимаясь в гору, хоть, впрочем, в таком полном мраке судить было трудно, а ноги у Дьюкейна, превратясь в непослушные сгустки боли, не различали, ковыляют они все еще по воде или ступают посуху. Жалобные стенания между тем, вперемежку с глухими всплесками, продолжались.

— Так или иначе, но куда-то он ведет, этот ход, — сказал Пирс. Тягостно было слышать, как шум позади постепенно нарастает. — В этом месте нужно пригнуться.

— Темно как, дьявол! Ты давай, разговаривай, я боюсь, не потерять бы тебя.

— Проклятье, здесь совсем низко! Я думаю, дальше придется ползком…

— Какой смысл, — сказал Дьюкейн, останавливаясь. Ему представилось, как они ползут и ползут, покуда не забьются в какой-нибудь тесный и мокрый каменный карман, где их наконец и настигнет прилив. — Если этот ход не годится, давай попробуем другой, пока еще есть время. Вода у нас прямо за спиной.

— Она уже здесь, — сказал Пирс надтреснутым голосом. — Стойте смирно, я проберусь назад

мимо вас.

Дьюкейн замер на месте; руки Пирса нащупали его, потом по нему скользнула мокрая фуфайка. Им едва хватило места разминуться. По ногам Дьюкейна проехалось влажное тепло — это вслед за Пирсом протиснулся Минго.

Через минуту из темноты раздался голос Пирса:

— Боюсь, что вход практически под водой. Видно, она сейчас прибывает гораздо быстрее. Короче, плохо наше дело, куда ни кинь.

Дьюкейн встряхнулся, стараясь держать себя в руках — почти физически, так как сообразил, что встряхнул на самом деле своего *alter ego,* то есть Пирса, который наткнулся на него в это мгновение.

— Что ж, тогда, значит, надо двигаться вперед.

Он даже голос повысил, словно в расчете на многолюдную аудиторию. Голос Дьюкейна прокатился по невидимому пространству и затих в пустых ячейках тьмы.

Сейчас вода производила шум иного рода: то скрежещущие, то всасывающие звуки попеременного наката и отката по гальке в узкой теснине.

Дьюкейн провел костяшками пальцев по

осклизлому покатому своду и пригнулся. Согнувшись в три погибели, он двинулся вперед, касаясь протянутой рукой обвисшего подола Пирсовой фуфайки. Мимо вновь протиснулся Минго — продолговатый обрубок незримого тепла. Потолок стал чуточку выше — и опять начал снижаться. Трудно сказать, поднимались они или нет. Продвижение вперед перешло в иное качество — поршневое натужное проталкивание собственных костей сквозь массу черного вещества.

— Мы, вроде, поднимаемся, — да, Пирс?

— Вроде, да.

— По воде идем?

— Нет, из воды мы вышли. Осторожней, здесь опять низко.

Дьюкейн передвигался «треногой», опираясь одной рукой об устланное галькой дно туннеля. Неожиданно он уперся головой в Пирсову спину. Пирс, кажется, стоял на коленях.

— В чем дело?

— Дальше хода нет.

— Проверь, ощупай все кругом, — сказал Дьюкейн.

Он вытянул руки, оглаживая твердые влажные глыбы обступающего их мрака.

— Пустой номер, — незнакомым, спокойным

голосом сказал Пирс. — Это тупик.

Его спокойствие прозвучало финальным аккордом отчаяния.

Дьюкейн сказал:

— Подадим немного назад. Не могу, когда мне давит на загривок весь этот камень.

Уж если умирать, так лучше стоя, подумал он. Пятясь назад и выпрямляясь, он чувствовал, как движется под ногами галька. Вода догнала их.

— Тут она будет подниматься очень быстро, — сказал Пирс. — Боюсь, нам крышка.

У него вырвался протяжный сдавленный стон. Этот надрывный за душу звук красноречивее всяких слов сказал Дьюкейну о том, что их ожидает. Он начал было говорить что-то, обращаясь скорее к самому себе, но в этот миг случилось нечто невероятное, что пронизало глухую оболочку темноты, тяжелого влажного камня и шумной воды. Пронзило, точно луч света. Однако то был не свет. То был запах белых ромашек.

— Пирс, здесь воздух чище, — я чувствую, как сверху проходит воздух! Может быть, сквозь какую-то трещину, расселину, по которой мы могли бы забраться наверх…

Наталкиваясь друг на друга, подняв руки над головой, они ощупывали скальный монолит.

Дьюкейн больше не чувствовал своих рук, они сделались уплотнением в темноте — уплотнением, лишенным пальцев. Тело его сотрясала неудержимая дрожь, сопровождаемая свистящим хрипом, который, как он понимал, издавал он сам.

— Что-то действительно имеется, — раздался рядом голос Пирса.

Руки Дьюкейна нашарили отверстие. В воздухе ощущалось легкое дуновение.

— Пролезть хватит места?

— По-моему, да. Побудьте минуту там, где стоите.

Под боком вместо Пирса образовалась пустота. Послышалась негромкая возня, кряхтенье, — и торжествующий голос Пирса наверху.

— Я влез! Здесь есть карниз, по крайней мере! Есть ли проход дальше, не знаю.

— Ноги хотя бы найдется куда ставить? Как ты умудрился?..

— Погодите, я спускаюсь. Вы отодвиньтесь в сторонку.

Раздался шум скольжения и рядом, схватив его за плечо, тяжело шлепнулся Пирс.

— Как тебе удалось залезть?

— Это расщелина. Можно напрячься, упереться

плечами в стенку с одной стороны, ногами — с другой. Она идет наискось под углом градусов шестьдесят, так что это нетрудно. Подтянуться, сесть на край отверстия — и вы внутри. Единственное — там жутко скользко. Я сейчас втащу туда Минго.

Я не смогу, думал Дьюкейн. Этот фокус не удавался ему даже в детстве. А уж теперь, без привычки, обессиленному, окостенелому от холода… Он сказал:

— С Минго тебе туда не забраться. Сорвешься, сломаешь ногу. Минго нам придется оставить.

Минго — и меня, прибавил он мысленно.

— Я Минго оставлять не собираюсь, — ломким голосом сказал Пирс. — Буду толкать его перед собой. Вы только помогите подсадить его в эту дыру. Давайте сюда руку — нащупали?

Они в четыре руки приподняли тяжелого, теплого, мокрого пса к краю отверстия. К счастью, Минго было не привыкать, что его постоянно таскают повсюду, словно куль с овсом.

— Подтолкните его, дальше он заскользит сам. Теперь влезу я. Придержите меня сзади — вот так, правильно, — сильно не напирайте, просто постойте здесь на случай, если мы скатимся обратно.

Пыхтящая в усилии масса подалась вперед, Дьюкейн почувствовал на мгновение, как напружилось натянутой тетивой мальчишеское тело — и его ладонь, подпирающая Пирса, повисла в воздухе. На какое-то время — тишина. Затем — голос Пирса:

— Мы влезли! Едва-едва — ух, до чего ж он тяжеленный… Тихо, Минго, лежать! Не знаю, как мы тут все… черт, места, кажется, маловато. Теперь поднимайтесь вы, — можете?

Дьюкейн примостился на край черной дыры — не чернее, впрочем, нежели окружающий воздух — и, с чувством, что производит впустую ритуальные движения, начал медленно сгибать колени, покуда не уперся ногами в противоположную стенку. Даже это стоило ему невероятных усилий. Он так и остался сидеть в этом положении. Хотя бы на попытку влезть наверх уже не осталось сил. Он повозил спиной по осклизлому камню. Никакой крепости в его теле не было.

Прямо под ним мощно и размеренно накатывала вода, с грохотом волоча взад-вперед по дну гальку. Глухие всплески внизу слились в нестройный гул. Но до Дьюкейна с трудом доходили эти звуки, ему трудно было определить, не в голове ли у него стоит этот шум. А может,

подумалось ему, пускай сама вода вынесет меня наверх по стволу шахты? Да нет. Вода ворвется в такую узкую косую щель как бешеная, а потом отхлынет назад. Все, что окажется в этом тесном пространстве, разнесет на куски.

— Ну что, Джон? — донесся сверху нетерпеливый голос Пирса.

— У меня не получится, — сказал Дьюкейн.

— *Должно* получиться! *Попробуйте!* Ноги держите чуть ниже головы. Нащупайте для них удобное место на стенке. И просто скользите плечами по стене, а ноги пусть работают наподобие ходьбы.

— Не могу, Пирс. Сил не хватает. Ты не волнуйся. В нужный момент меня поднимет наверх приливом.

— Вы с ума сошли! Поберегитесь, я спускаюсь.

Скованный холодом, Дьюкейн не успел посторониться вовремя. Пирс съехал вниз, спихнув его с края скважины на колени в прибывающую воду.

— Виноват! Ах, дьявол… Можно бы попытаться толкать вас сзади, но мне и с Минго-то это насилу удалось. Господи, что же делать? Что бы мне догадаться захватить с собой веревку… Да кто же знал…

Дьюкейну удалось встать на ноги. Еще немного, думал он, и я не выдержу. Что именно у него не выдержит — ум или тело, — он не знал. И ум, и тело к этому времени полностью растворились в темноте и острой леденящей боли. Я должен сделать все возможное, чтобы выжить, мысленно приказал он себе. И, прислонясь спиной к камню, раздельно, медленно сказал вслух:

— Веревку, Пирс, связать бы… Из одежды.

— Да, конечно! Скорей! Вы раздеться сможете? Нейлоновые майки, трусы, — разорвать их на полоски…

— Я и так раздет, милый мой. Рвать придется тебе. Вот, держи.

Дьюкейн неловко стащил с себя майку и трусы. Он, кажется, утратил представление о строении собственного тела, и определять расположение его частей приходилось на ощупь. Безудержная дрожь била его все сильней.

— Нет, дайте я сперва разорву свои. Тьфу ты, никак не рвется! Я, видно, теряю силы…

— Ты надрывай сначала вдоль бокового шва, — сказал Дьюкейн. — Только не урони ничего, ради бога, нам потом не найти… Давай, я подержу за один конец, а ты тяни за другой — ну, тяни! — Раздался слабый звук рвущейся ткани. — Хорошо,

молодец, теперь трусы, — ну! Думаешь, хватит? Оно еще растянется, понятно. Связать вместе сумеешь? Рифовым узлом?

— Руки не слушаются, — отозвался Пирс, чуть не плача.

— Не думай о руках, сосредоточься на узлах. Дай-ка я… Отлично, ты все же справился! Теперь, Пирс, слушай и делай, как я велю. Ты снова лезешь наверх с одним концом этой самой веревки, а дальше поступим вот как. Я обвяжусь ею по поясу, иначе не получится. После этого ты начинай тянуть потихоньку, а я буду стараться помогать себе руками и ногами. Смотри не потеряй равновесие, почувствуешь вдруг, что я падаю — отпускай! Смогу встать — встану, нет — значит, нет. Ты в любом случае больше не спускайся, это ничего не даст, а влезть обратно у тебя уже, возможно, не хватит сил. Я же попробую, чтоб меня вынесло наверх приливом. Ну, а теперь — пошел!

Пирс отделился от него с коротким стоном. За шумом воды не слышно было, как он карабкается наверх. Дьюкейн приладился кое-как на краю скважины, дрожа и понемногу травя обвислую мокрую веревку. Но вот движение ее прекратилось.

— У вас еще осталось что-нибудь? — раздался сверху голос Пирса.

— Да, есть. Думаю, хватит, чтобы обвязаться.

Другой вопрос, хватит ли на это меня, подумал он.

Идиотизм, — надо было Пирсу сказать, чтобы обвязал… Дьюкейн медленно обвел конец веревки вокруг пояса и соорудил узел.

— Теперь тяни, только очень плавно, а я постараюсь влезть.

Невозможно, думал Дьюкейн, абсолютно невозможно… Морская вода, из которой он с таким трудом поднялся, была ему по колено. Сквозь черный воздух, казалось, сеялась мелкая водяная пыль. Шум в голове приобрел всепоглощающее металлическое звучание, точно в страшном сне, какие посещали его в детстве. Если б я только мог сотворить молитву, думал он, найти источник силы сверх той, что мне дана… Он сидел, съежась в комок на краю расщелины. Силы в его ногах не хватило бы, даже чтобы сдвинуть его с места хоть на дюйм. Ноги одеревенели, окоченели, обессилели, голая спина беспомощно ерзала по ледяному скользкому камню; сделав малейшее движение наверх, тотчас же сползала вниз. Обнаженное гладкое тело безвольно обмякло между

стенками, неспособное принять нужное положение, сделать усилие. Занять бы чем-нибудь мысли, думал он, это, быть может, подстегнуло бы и тело, — неважно чем, пусть это будут эротические картинки, все, что угодно… Что-то белое колыхалось в воздухе перед ним, прямо у него перед глазами, словно бы подвешенное в пространстве. Женское лицо проплывало мимо, оставаясь на месте, подобно луне, бегущей в облаках, — неясное, но неотступное, требовательно заглядывающее ему в глаза.

Он обнаружил, что уже не сидит, а висит, упираясь в обе стенки. Побудь еще, не уходи, взывал он к мерцающему образу, исподтишка следя в то же время за мелко переступающими ногами, за плечами, подпирающими стенку, за скрюченным между ними, натруженным до предела туловищем. Пирс наверху что-то говорил, голос его долетал до слуха бессвязными, ничего не значащими обрывками. Плавное натяжение веревки продолжалось. Страшно медленно Дьюкейн все-таки продвигался наверх. Мало-помалу это пошло легче. Бледный лик между тем принимал черты знакомого лица.

Дьюкейн растянулся на карнизе. Наверное, эти горячие искры в закрытых глазах — слезы,

подумалось ему как бы вчуже. Пирс то начинал растирать его, то пытался всунуть его руку в рукав своей фуфайки.

— Погоди-ка, Пирс, — да подожди же!

Спустя немного Дьюкейн принял сидячее положение. Протянул онемелые руки, трогая черные поверхности того, что могло оказаться либо Пирсом, либо Минго, либо выступом скалы. Сладковатый, щекочущий ноздри, божественно сухой аромат ромашек ощущался здесь еще явственнее. Шум внизу нарастал, обретя некий вращательный оттенок, — как будто, подумал Дьюкейн, вода яростно хлещет по кругу в гигантской круглой емкости. Не узнавая собственного голоса, он спросил:

— Можно отсюда пробраться дальше?

— Нет. Я пробовал. Выемки есть, но они никуда не ведут.

— Понятно.

Дьюкейн прислушался к шуму бурлящего прилива. В него теперь вкралась новая нота. Вода, по-видимому, достигла устья скважины.

— Сколько прошло времени, Пирс? Не пора ли уже быть полной воде?

— Не знаю. Я потерял всякий счет времени. И часы у меня не со светящимся циферблатом.

— У меня тоже. Думаешь, мы выше уровня полной воды?

— Я не знаю.

— А здесь мокро?

— Трудно сказать. Я утратил чувство осязания. По-вашему, мокро?

Дьюкейн опять вытянул руки, стараясь определить, к чему они прикасаются. Нащупал что-то продолговатое и гладкое, вроде холодной линии, проложенной по темноте. Поднес пальцы к губам. Пальцы были соленые. Впрочем, они оказались бы солеными на вкус в любом случае. Дьюкейн облизал свои пальцы — они мучительно заныли, согреваясь. Потом провел ими снова вдоль холодной линии во тьме и снова лизнул. Соленые. Или, возможно, он ошибся? И его пальцы так пропитались морской водой, что неспособны больше терять соленый вкус? Он ответил:

— Мне тоже трудно сказать.

И подумал: может, оно и к лучшему, что мы не знаем.

— Ну, а теперь надевайте мой свитер.

— Послушай, Пирс. Наши шансы на выживание здесь, если нас не затопит водой, зависят от двух условий — твоей фуфайки и Минго. Это большая удача, что Минго увязался за тобой. Его нам сам

Бог послал. Где он, кстати? Потрогай — чувствуешь, какой он горячий? Мое предложение — если получится, конечно, — что мы с тобой влезаем оба в твой свитер, а посередине между нами будет Минго. От веревки, боюсь, особой пользы теперь нет, разве что обмотаться ею — да, правильно. Можешь сейчас натянуть на меня через голову свою фуфайку, а потом влезть в нее сам? Гляди только, не слети с края выступа. Здесь места-то много?

— Четыре-пять футов будет, но потолок очень покатый. Руку приподнимите, ладно? И передвиньтесь вот сюда. Так, теперь — через голову.

Дьюкейн почувствовал, как по его трясущейся руке тянется влажная шерсть, надвигается ему на лицо. Тычась вслепую, он выпростал голову и затих, покуда Пирс наползал на него вплотную. Ворот затрещал по швам, когда Пирс, щекой к щеке Дьюкейна, тоже просунул в него голову, стараясь попасть рукой во второй рукав фуфайки.

— Оттяните подол как можно ниже, Джон. Я чуть-чуть повернусь. Проклятье, Минго лежит неправильно. Так он у нас задохнется, чего доброго. Вы не подтащите его в мою сторону? Тащите за хвост, не стесняйтесь.

В конце концов безотказного многотерпца

Минго, теплого Минго, удалось-таки приладить громоздким туловищем между ними, а головой — наружу из-под края фуфайки. Минута, другая, — и Дьюкейн почувствовал, как в его тело вонзаются игольчатые крупицы тепла. Потом пришло новое ощущение: это Минго лизал ему бедро.

— Удобно вам?

— Ничего. Нельзя подать немного назад?

— Нет, некуда.

На дне расщелины кипела вода, то набегая, то откатывая назад со звуком пробки, вылетающей из бутылки. Так или иначе, скоро все решится, думал Дьюкейн. Он лежал на правом боку, чувствуя, как Пирс упирается твердой скулой ему в щеку. Так, неподвижно, голова к голове, могли бы валяться две сломанные марионетки. Слабое содрогание передалось Дьюкейну, горячая влага оросила ему щеку. Пирс плакал. Дьюкейн обнял его тяжелой, бессильной рукой, неуклюже привлек к себе.

Значит, конец, спросил себя Дьюкейн, и если так, то к чему оно все сводится в конечном счете? Каким все выглядит пустым и ничтожным… Сам он сейчас представлялся себе мелкой тварью наподобие крысы, суетливой, неустанно снующей в хлопотах о собственных маленьких выгодах и

благах. Жить безбедно, тешить себя необременительными и привычными удовольствиями, пользоваться всеобщим расположением… Он почувствовал, что снова мерзнет, и теснее приник к Мингову всепобеждающему теплу. Потрепал Пирса по плечу, сунул ладонь ему под мышку. Бедная Мэри, подумал он, ах, бедная… Цветные образы возникли вновь перед его закрытыми глазами. Он увидел совсем близко лицо Биранна, подвижное, произносящее какие-то слова, — только неслышно, как в немом кино. Если я все же выберусь отсюда, думал он, я никому не буду судьей. Единственное стоящее занятие — это истреблять в себе ту мелкую тварь; не судить, не возвеличиваться, не применять власть, не допытываться без конца и без меры. Любить, примирять и прощать — лишь это имеет ценность. Всякая власть греховна, всякий закон — зыбок. Любовь — вот единственный судья. Прощенье, примиренье, но не суд.

Он слегка переменил положение, задев что-то в темноте свободной рукой, закинутой за спину Пирсу. Ощупал озябшими пальцами, что это попалось ему под руку. Оказалось — маленький остроконечный нарост на камне, пирамидка. Повел рукой и наткнулся на еще одну. Блюдечки,

подумал Дьюкейн. Ракушки. Он убрал руку и затих. Он только надеялся, что Пирс не обнаружил ракушек.

Глава тридцать шестая

— Сколько еще осталось?

— Теперь это вопрос минут.

Переговаривались вполголоса.

Ночь выдалась теплая, запах белых ромашек, щекоча ноздри, реял поверх воды, опускаясь на шелковистую, тихую гладь моря. Большая круглая луна на бледном небе меняла серебряную окраску на крапчато-золотую. Оба судна держались вблизи утеса. Было все: суматоха, призывы к действию, советы, планы. Местные жители, взбудораженные происшествием, выдавали бесчисленные теории, связанные с пещерой, но — никаких фактов. Всех известили: полицию, береговую охрану, военных моряков. Приведена была в полную готовность спасательная шлюпка. Ожидались ныряльщики с аквалангами. По всему побережью трезвонили телефоны. Время шло. Выяснилось, что ныряльщики заняты где-то в другом месте, где произошел несчастный случай. Время между тем все шло и дотянулось до полной воды. После чего наступило затишье.

— Теперь остается только ждать, — пряча глаза,

говорили друг другу люди.

Мэри сидела на корме. Раньше здесь были и другие суда: туристы на моторных лодках, журналисты с камерами, покуда их не разогнали с полицейского катера. Теперь воцарилась тишина. Мэри сидела, дрожа от озноба, несмотря на теплынь. На ней было мужское пальто, которое в какой-то момент ее заставил надеть Тео. Воротник у пальто был поднят, ладони Мэри, спрятанные в чересчур длинных рукавах, встретились, поползли дальше и завершили свое движение, обхватив выше локтя встречную руку. Она сидела собранная, молча, отчужденно, чуть задрав подбородок, уставясь широко открытыми невидящими глазами на луну. С самого начала она не пролила ни слезинки, и лишь лицо ее, по ощущению, словно бы распалось, расплылось, стерлось от ужаса и горя. Сейчас злейшим ее врагом была надежда. Она сидела, как бывает, когда стараешься заснуть, — отгоняя мысли прочь, отгоняя прочь надежду.

Поблизости, в той же лодке, на виду у нее, хотя она на них не смотрела, сидели Вилли и Тео. Быть может, она воспринимала их зрительно с подобной остротой оттого, что весь этот мучительный день и вечер, среди сумятицы и нерешимости,

глаз ее привык поминутно натыкаться то на одного, то на другого. Из всех людей, от которых ее словно ножом отрезало горе, Вилли и Тео отдалились наименее. Сейчас, в лодке, Тео сидел поблизости и время от времени, не глядя на нее, тянулся погладить рукав ее пальто. Кейси встретила весть о том, что стряслось, рыданиями. Кейт тоже не сдержала слез. Октавиан метался туда-сюда, осуществляя руководство, названивая по телефону. Она, должно быть, разговаривала со всеми ними, — она не помнила. Сейчас воцарилось молчание.

Мысли, которым предавалась Мэри, с тех пор как более получаса назад села в катер береговой охраны, были на удивление мирными и витали вдалеке. Возможно, из безотчетного стремления оградить себя от нестерпимых мук надежды, думала она об Алистере, вспоминая, что говорил о нем Дьюкейн. *Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change*[45]. Невольно в голове у нее сложилась фраза: «Каково это, мой Алистер, — быть мертвым?» Что-то всколыхнулось в ней при словах «мой Алистер» — что-то похожее на скорбную и тихую любовь. Как могла она знать, что это нечто

[45] Примечания: 45

«Кто, канув в вечность, изменился, став самим собой» *(фр.).* Ст. Малларме (1842–98). «На могилу Эдгара По».

в ее душе, в ее мозгу, где все, казалось, вымерло, кроме этих почти бессмысленных слов, — что это все же любовь? Но тем не менее — знала. Стало быть, можно их любить — тех, кто пополнил собой бесчисленные ряды умерших? Умерших, мертвых, подумала она и рассеянно, бесчувственно, отрешенно соотнесла это понятие со своим сыном.

Случается смерть, случается любовь, — всю жизнь мы приемлем случайное, нечаянное. Но если любишь нечто столь хрупкое, недолговечное, вцепляешься в любовь и ее предмет бульдожьей хваткой, то не должны ли в твоей любви произойти перемены? Есть лишь один непреложный императив — императив любить, но где взять силы любить то, чему назначено умереть, — что, более того, уже мертво? *О, убаюкай меня, смерть, дай мне уснуть. Пусть отлетит безгрешный дух, покинув мою грудь*[46]. Ты ведь и сам — лишь горстка праха, щепоть все той же недолговечности, тень, мимолетно скользнувшая по хаосу непредсказуемого мира. Раз материал, из которого соткано все сущее, — это смерть и случай, а любовь все-таки не бывает беспредметной,

[46] Примечания: 46

Анна Болейн, жена короля Генриха VIII (1507–1536). «О смерть, дай мне уснуть».

значит, нам остается любить смерть и случай. Движется эта преображенная любовь по океану случайностей, поверх очертаний усопших; любовь, столь бесстрастная, холодная, лишенная всякой красоты, что ее едва и распознаешь, — разве только по названию, так мало она задевает тебя за живое. Вот какую любовь испытывала сейчас Мэри к своему покойному мужу и к безликому призраку вероятного утопленника-сына…

Возвратился полицейский катер; неожиданно с него направили на утес очень яркий прожектор. Все встрепенулись. Гуще стала вокруг лиловатая теплая темень. В полукружье света на утесе проступила тускло-красная с серыми прожилками пятнистая расцветка, поблескивая в тех местах, откуда только что начался отлив. Над темно-бурой полосой водорослей, словно нездешнее видение, красовались на слепящем свету перистые кустики белых ромашек.

— Глядите!

Над урезом воды обозначилась темная черта. Мэри передернулась. Ожив, в нее вонзились изнутри острые шипы надежды. Утонул, утонул, спеша притупить боль, твердило сознание.

— Свод там покатый, учтите, — сказал кто-то из береговой охраны.

— Что-что?

— Свод в пещере покатый. Он выше всего у входа. До того как они смогут выплыть, пройдет еще самое малое минут пять.

Зачем он это говорит, думала Мэри. Еще двадцать минут, еще полчаса, — и во что обратится ее жизнь? После долгого бдения в предвидении смерти, выдержит ли она встречу со смертью, обретшей зримую форму? Когда раздастся первый вопль и хлынут первые слезы? Будет ли она еще жива, в своем уме, цела и невредима через полчаса?

Октавиан и Кейт сидели в другом катере береговой охраны. Мэри видела, как Кейт не отрываясь следит за темным пятном под водой. Тянулись долгие минуты. Люди в другом катере стали перешептываться. Утонул, думала Мэри, утонул. Все суда сомкнулись полукольцом возле утеса. Вода между тем продолжала убывать. Вход в пещеру открывался все шире. И — ничего… Утонул.

Вдруг послышался громкий крик. В темном отверстии что-то плескалось, выплывая на свет. Мэри схватилась за сердце, за сгусток нестерпимой боли.

— Это Минго.

— Что?

— Это всего лишь собака.

Мэри впилась глазами в черную дыру. Слезы отчаяния заливали ей лицо.

Опять возникло движение, сопровождаемое плеском, на свету появилась плывущая голова, в ответ на громкий крик раздался отклик.

— Это Пирс, — сказал ей кто-то на ухо. Вероятно, Тео.

Теперь она ясно видела голову сына. С другого катера до него было ближе. Кто-то прыгнул в воду. Пловца подхватили, втащили в лодку.

— Я жив! — кричал он. — Все в порядке!

Тео неловко поддерживал ее, словно боясь, что она рухнет, но она сидела, как каменная. *С ним все в порядке.* Теперь — Джон.

— Вон он! — Это был голос Кейт.

Катер, в котором сидела Мэри, незаметно выдвинулся вперед, почти упершись носом в утес. В море, у входа в пещеру, плескались уже несколько человек. Среди них виднелась голова Дьюкейна. Вот он уже покачивался рядом, у самого борта ее лодки. Его подталкивали снизу, тянули сверху, вытаскивая из воды. Негнущееся, точно неживое, поднималось из моря худое белокожее тело обнаженного мужчины. Со стоном тяжело свалилось на дно лодки. Мэри сбросила с себя пальто

и обернула им Дьюкейна. Потом обхватила его и держала, не выпуская.

Глава тридцать седьмая

— Я слышал, вы пережили неприятную историю в конце недели, — сказал Бираннн. — Что все-таки случилось?

— Да ничего особенного. Застрял в пещере из-за прилива.

— Надеюсь, без серьезных последствий?

— Нет-нет, со мной все хорошо.

— Итак, вы хотели меня видеть. Ну что, решили мою участь?

— Решил, — сказал Дьюкейн. — Выпьете что-нибудь?

Близился вечер. Дьюкейн, который полчаса тому назад еще не вставал с постели, был в черном с красными звездами шелковом халате, надетом поверх пижамы. В камине пылали дрова, которые он сам положил и сам разжег, поскольку Файви по непонятной причине отсутствовал. Дьюкейн до сих пор никак не мог согреться, как будто в глубине у него залегла и не таяла продолговатая ледышка. Доктор, впрочем, звучал обнадеживающе. Очевидно, смерть от переохлаждения миновала их с Пирсом благодаря Минго. Вода,

по воле судьбы и случая, пошла на убыль, когда была буквально в двух шагах от них.

Дьюкейн все еще наслаждался просто тем, что он жив. Существовать, дышать, просыпаться с сознанием, что ты есть на свете, доставляло истинную радость. Вот он я, без устали повторял он себе, я — вот он! Замечательно!

— Спасибо, — отвечал Бираннн. — Джина, пожалуй. Так что же?

Дьюкейн пошел закрыть окно. Шум уличного движения в час пик, доносящийся с Эрлз-Корт Роуд, стал тише. Улочка горела яркими красками в лучах вечернего солнца. Какая красота эти крашеные парадные двери, думал Дьюкейн, и эти блестящие машины! Дай вам Бог здоровья, предметы!

— Ну так что же, Дьюкейн?

Дьюкейн с мечтательным видом вернулся назад к камину. Подошел к письменному столу, вынул из ящика признание Радичи, которое положил на стоящий рядом стул, а также — большой лист бумаги с криптограммой, копией той, что Радичи начертал на стенке черного капища.

— Да вы садитесь, Бираннн.

Бираннн сел напротив него. Дьюкейн, продолжая стоять, протянул ему лист бумаги с криптограм-

мой.

— Это вам говорит что-нибудь?

Биранн уставился на бумагу.

— Нет. А что это?

— Это Радичи изобразил на стене помещения, где он производил свои… мм… эксперименты.

— Мне — ничего не говорит.

Биранн раздраженно швырнул бумагу на мраморный столик, рядом со своим стаканом.

— Вот и мне ничего. Я думал, может, вас осенит догадка.

— Вы что, проверку мне устраиваете на сообразительность? *Satori* — это, вроде, японский? И вообще, какое это имеет значение?

— Радичи имеет значение, — проговорил Дьюкейн, испытующе глядя сверху вниз на Биранна. — И Клодия имеет. Неужели вам не интересно?

Биранн неловко двинулся на своем стуле. Затем поднялся и отступил назад, так что теперь его стул оказался между ними.

— Слушайте, — сказал он, — я отдаю себе отчет в том, что сделал. Мне об этом напоминать не требуется. Я и без того знаю.

— Прекрасно. Я только хотел убедиться.

Они обменялись пристальными взглядами.

— Да? И дальше что?

— Для начала — вот это.

Дьюкейн отвернулся и с долгим вздохом налил себе джина. Тщательно отмерил туда же сухого вермута. И снова перевел взгляд на Биранна, всматриваясь в него сосредоточенно и с любопытством.

— Не тяните, — сказал Биранн. — Вы сдаете меня полиции, так? Не обязательно при этом играть со мной в кошки-мышки.

— В кошки-мышки. Ну да, — сказал Дьюкейн. — Что ж, возможно, вам и придется потерпеть, что с вами, пользуясь вашим милым выражением, немного поиграют в кошки-мышки. Я собираюсь задать вам несколько вопросов.

— А стало быть, вы не решили? Или хотите на колени меня поставить? *Oro supplex et acclinis*[47]. Да, вы определенно мните себя Господом Богом!

— Всего лишь несколько вопросов, любезный Биранн.

— Задавайте, прошу вас, задавайте.

— Где Джуди?

— Не знаю, — сказал удивленно Биранн. — Вы же мне велели порвать с Джуди.

---

[47] Примечания: 47

Молю смиренно, преклонив колена (лат.) — часть католической заупокойной службы.

— И вы порвали?

— Нет. Это она со мной порвала. Попросту исчезла. Я полагал, что она у вас. Должен сказать, отчасти испытал облегчение.

— У меня ее нет, — сказал Дьюкейн. — Ну да ладно. Забудьте про Джуди.

— Что вы все ходите вокруг да около, Дьюкейн? Говорили бы уже по делу!

— Послушайте меня…

— Я и так слушаю, чтоб вам пусто было!

— Биранн, — сказал Дьюкейн, — вы все еще любите свою жену?

Биранн резким движением поставил свой стакан на столик и отвернулся. Сделал несколько бесцельных шагов по комнате.

— При чем тут это?

— Отвечайте на вопрос.

— Я не знаю.

— Что ж, подумайте. Времени у нас вдоволь.

Дьюкейн опустился в мягкое кресло, поболтал стаканом, описывая восьмерки, пригубил его.

— Это вас не касается.

Дьюкейн молчал. Размеренно и глубоко дыша, разглядывал свой стакан. Его до сих пор преследовал запах моря. Наверное, он пропах морем до конца своих дней.

— Ну хорошо, — сказал Бираннн. — Да, я все еще люблю свою жену. От такой женщины, как Пола, не существует исцеления. А теперь, когда я удовлетворил вашу оригинальную любознательность, может, займемся насущной темой?

— Но это имеет самое прямое отношение к насущной теме, — сказал Дьюкейн. — Вы когда-нибудь думали о том, чтобы вернуться к Поле?

— Нет, конечно.

— К Поле и двойняшкам…

— К Поле и двойняшкам обратной дороги нет.

— Почему же обратной? Почему не дороги вперед? Они ведь не стояли на месте в прошедшем времени.

— Совершенно верно. Пола давным-давно поставила на мне крест. У нее своя жизнь. Могу ли я в свою очередь осведомиться, в чем цель этих неуместных расспросов?

— Уместных, уместных. Не наседайте на меня. Меня и так одолевает усталость. Лучше налейте-ка себе еще.

Дьюкейн придвинулся вместе с креслом ближе к огню и отхлебнул благоухающего вермутом джина. Его в самом деле одолевала усталость и какая-то непривычная сонливость.

Бираннн, перестав мерить шагами комнату, сто-

ял за стулом напротив, облокотясь на его спинку, и озадаченно поглядывал на Дьюкейна.

— Вы ведь служили в «Командос», — сказал Дьюкейн.

Он окинул взглядом худощавую фигуру Биранна, его напряженное, слегка асимметричное умное лицо под гривкой курчавых волос.

— Что-то у вас нынче мысли норовят разбредаться во все стороны, — сказал Биранн.

— Эта история с Эриком Сирзом… Не из-за нее у вас такая уверенность, что вам невозможно вернуться к Поле?

— Господи! Кто вам сказал про Эрика Сирза?

— Пола.

— Ах вот как. Интересно. Что ж, нельзя отрицать, что это и впрямь известное препятствие. Когда по твоей милости чей-то любовник лишается ноги…

— Это становится наваждением, кошмаром?

— Ну, это слишком сильно сказано. Но бесспорно, подобного рода события накладывают определенный отпечаток — психологический, имеется в виду.

— Я знаю. У Полы такое же ощущение.

— И притом Пола меня терпеть не может.

— Неправда. Она по-прежнему любит вас.

— Это вам тоже она сказала?

— Да.

— С ума сойти! Зачем вы лезете куда не просят, Дьюкейн?

— А вам не ясно?

— Нет.

— Вы говорили, что как я скажу, так и будет, — что я могу ставить вам любые условия. Так вот вам мое решение. Я обо всем умолчу, если вы хотя бы предпримете попытку вернуться к Поле.

Биранн отвернулся и отошел к окну.

Дьюкейн заговорил взволнованно и быстро, как бы оправдываясь:

— Вы, помнится, послали меня с моим чувством долга, и правильно сделали, как я теперь считаю, — или, вернее, считаю, что существует долг иного рода. Я не хочу калечить вам жизнь — чего ради? Ни Клодии, бедняжке, ни Радичи этим не поможешь. Что до закона, то людской закон — лишь весьма относительное приближение к справедливости и слишком грубый инструмент для ситуации, подобной вашей. Суть не в том, будто я возомнил себя Богом, но, раз уж мне навязали это дело, я вынужден как-то с ним распорядиться. Если честно, мое желание — покончить с ним, и так, чтобы при этом никто не пострадал. Что

касается расследования, ответ на вопрос мне известен, о чем я и сообщу, не углубляясь в детали. Идея, связанная с Полой, возникла сама собой, в развитие сюжета — как бы его удачным дополнением. Она определенно вас любит, так почему бы не испытать эту возможность? Я не обязываю вас добиться успеха. Я вас обязываю попробовать.

Дьюкейн встал и со стуком поставил стакан на каминную доску.

Биранн вялой походкой вернулся на прежнее место.

— У меня особого выбора нет, ведь так? — пробормотал он.

— И так, и не так, — сказал Дьюкейн. — Не скрою, что я решил в любом случае не раскрывать все в этом деле до конца, то есть как бы вы ни поступили. Но поскольку вы — джентльмен…

— Бредовая затея, я считаю. Все это может обернуться катастрофой. Не понимаю, почему вы вообразили, будто это удачная мысль.

— Я говорил на эту тему с Полой — в общих чертах, разумеется, не касаясь своего решения. И на мой взгляд, она очень не прочь попытать счастья еще раз. Ей тоже, судя по всему, не удалось от вас исцелиться.

— Что вас, несомненно, приводит в изумле-

ние, — сказал Бираннн. Он постоял, глядя на огонь. — Ладно, Дьюкейн, будь по-вашему. Я попробую, но не более того. Что из этого получится — одному Богу известно.

— Вот и хорошо. Вы же изредка думали о том, чтобы вернуться?

— Да, но лишь как о чем-то из области фантастики. Когда расстаются два таких твердолобых человека…

— Я знаю. Потому-то и рассудил, что в данном случае нелишним будет появление *deus ex machina*[48].

— То были, наверное, приятные минуты. Ну ладно. Только когда дойдет до дела, Пола, может статься, обнаружит, что ей даже смотреть на меня противно. Да и со мной едва ли произойдет срочное превращение в идеального супруга.

— Что правда, то правда. Вы каким были негодяем, таким и останетесь.

Бираннн усмехнулся и снова взял в руки стакан.

— Удивительно, как это вы не стараетесь спасти Полу от моих лап? Забавно, что у меня не раз мелькала мысль, нет ли между вами и Полой… Не дай-то бог! Подумать, что рядом с Полой окажет-

---

[48] Примечания: 48

Зд. — спасительное вмешательство третьего лица *(лат.),* букв, «бог из машины».

ся другой мужчина было невыносимо, но хуже всего, если б им оказались вы…

— Что ж, если хотите держать других мужчин на расстоянии, приглядывайте за нею сами. Кстати, я забыл назвать еще одно условие. Вы должны все рассказать Поле.

— И о Радичи, и обо всем прочем?

— Да. Конечно, Пола может счесть нужным сдать вас, как вы изволили выразиться, полиции. Но мне в это не очень верится. Вот, возьмите, вам это понадобится. Мне оно больше ни к чему.

Дьюкейн протянул ему листок с признанием Радичи.

Биранн положил бумагу на каминную доску.

— По-моему, лучше будет, если Поле расскажете вы. То есть просто изложите основные факты. Вдруг она решит, что не желает со мной встречаться после этого. Да и вообще может не захотеть.

— Сомневаюсь. Впрочем, не возражаю — давайте, расскажу я. Ей что, приехать сюда на встречу с вами или вы предпочтете сами явиться в Дорсет?

— Это пускай решает она. Хотя нет, пожалуй, лучше будет в городе. Я как-то не готов предстать перед близнецами.

Дьюкейн рассмеялся:

— Да, близнецы — это серьезно. Но я предвижу, что они вас простят. Ну, а теперь остается лишь пожелать вам удачи.

Биранн потянул себя за нижнюю губу, отчего асимметричность его черт сделалась еще заметнее.

— Это, надо думать, своего рода шантаж, не так ли?

— Надо думать, да.

— Я, пожалуй, все-таки захвачу с собой эту бумагу.

Биранн положил к себе в карман признание Радичи. На это рассмеялись они оба.

Биранн шагнул к выходу.

— Я черкну вам, когда повидаюсь с Полой, — сказал Дьюкейн.

— Спасибо вам. И вообще — спасибо.

Они подошли к парадной двери. Стоя в дверях, Биранн тронул Дьюкейна за плечо. Дьюкейн поспешно протянул ему руку и они, пряча глаза, обменялись рукопожатием. Еще мгновение, и Биранн скрылся за порогом.

Дьюкейн устало нагнулся подобрать письма, лежащие на дверном коврике. Побрел назад в гостиную, поворошил угли в камине. Обратил

внимание, что на всей мебели лежит пыль. Куда же запропастился этот чертов Файви? Ежеминутная радость бытия, не покидавшая его, несколько притупилась, несколько удлинилась льдинка, залегшая внутри. Не заработал ли он хроническое нездоровье, которое заявит о себе в скором времени? Дьюкейн зябко поежился и заметил, что стучит зубами.

Почему-то он очень ждал этой встречи с Биранном. И вот она прошла, точно во сне. Правда, он уже больше не считал Биранна негодяем. Мало-помалу, с неизбежностью, Биранн стал ему нравиться. Но одновременно то напряжение, что связывало их, ослабло. Биранн ему сделался не нужен. Притом, если Биранн вернется к Поле — да и вообще в любом случае, — он рано или поздно оскорбится вмешательством Дьюкейна, усмотрев в нем только желание лишний раз проявить свою власть. Может, оно и было только желанием проявить свою власть. Биранн будет избегать его, и, если они с Полой вновь соединятся, Пола начнет избегать его тоже. Дьюкейн вздохнул. Так хотелось поговорить с участливым человеком — например, с Мэри Клоудир, так хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел его, утешил. Хотелось опять очень ждать чего-то… Он сел и стал перебирать

письма.

Одно письмо было от Кейт, другое — от Джессики; третий конверт был надписан незнакомым почерком. Дьюкейн открыл его первым. Письмо гласило:

«Дорогой Джон!

Вы, наверно, удивляетесь, куда подевалась эта Джуди, и я подумала, что обязана вам написать и сообщить о себе, потому что видела от вас столько хорошего, честно говорю. Вы, Джон, изменили мою жизнь, хотя и не в том смысле, что научили строго соблюдать Десять Заповедей. Через вас я нашла своего суженого! И не ругайте себя, что дурно поступили, боюсь, вы смотрите на брачные узы серьезнее, чем я, но это, по-моему, оттого, что сами не женаты. Я все равно твердо надумала уходить от Питера, когда в моей жизни появился Эван, в тот вечер, когда он вез меня от вас, и пускай мы с ним знакомы такое короткое время, мы знаем, что созданы для друг друга и вот теперь вдвоем уезжаем. Угадайте, где мы будем, когда вы получите это письмо?

На пароходе по пути в Австралию! Такая удача, что моих скромных сбережений как раз хватило на билеты! Поскольку Эван, как и я, — австралийский валлиец, то, значит, все сложилось правильно, он везет меня к себе на родину, у его папы там свой автосервис, и он поможет нам на первых порах, так что пожелайте мне счастья! Ну, вот и все, рада была с вами познакомиться, правда, только жаль, что мы с вами ни разу сами знаете чего, хотя молчу, а то Эван жутко ревнивый! Ждите от меня открытку с видом Сиднейского моста.

Искренне Ваша,
Джуди».

До Дьюкейна не сразу дошло, что Эван — не кто иной, как разносторонний Файви. Что ж, оставалось надеяться, что у Джуди не будет причин изменить свое мнение относительно ее суженого. Не исключено, впрочем, что в данном случае Файви встретил себе ровню. Ему же самому теперь предстояло искать нового слугу. Будет впредь осмотрительнее в своем выборе. Только через неделю Дьюкейн хватился, что вместе с Файви исчезли несколько пар самых дорогих его

запонок, а также кольцо с печаткой, принадлежавшее его отцу. Запонки — ладно, но кольца ему было жаль.

А сейчас он открыл письмо от Джессики.

«Милый Джон!

Извини, что не отвечала на твои многочисленные письма, телеграммы и т. д., не отзывалась на телефонные и дверные звонки. Это было что-то новенькое, согласись, что ты так стремился меня увидеть. Как ты, очевидно, знаешь, мне стало известно про Кейт. Что тут можно сказать? Я глубоко потрясена тем, что ты счел нужным мне лгать. Ты избрал неверный способ оградить меня от страданий, так как узнать все самой было гораздо больнее. Я ненавижу вранье и недомолвки, и ты, по-моему, в глубине души — тоже, так что теперь, когда все раскрылось, тебе, наверное, стало легче. Я думаю, нам больше ни к чему встречаться. Ты сам это часто говорил, и глупо, что я не соглашалась. Понимаешь, я была убеждена, что очень тебя люблю, и самое странное, что, кажется, ошибалась. Надеюсь, что не

обидела тебя этим признанием. Для тебя, вероятно, такое громадное облегчение избавиться от меня, что ты не обидишься. У меня, конечно, из-за всего этого тяжело на сердце, но далеко не так тяжело, как было два года назад. И потому можешь обо мне не беспокоиться. Я вдоволь наплакалась по этому поводу — теперь хватит. Отвечать на это письмо лучше не надо, я еще не настолько излечилась, и при виде твоего почерка мне может вновь стать хуже. Будь счастлив с Кейт. Я искренне желаю тебе — или, вернее, скоро научусь желать — всего самого лучшего. Пожалуйста, не пиши и не звони мне.

Желаю удачи.

Джессика».

Дьюкейн бросил письмо в огонь. Любовь Джессики, нерушимая и цельная, предстала перед ним сейчас как нечто прекрасное, трогательное. Он не испытывал никакого облегчения при мысли, что она скоро «излечится» — если уже не излечилась. Он обошелся постыдно с тем, что ныне явилось ему как воплощение чистоты. Бурные ссоры, сотни рассуждений по сотням поводов принадлежали прошлому и бесследно изгладятся

из памяти. Неизгладимо пребудет оценка высшего суда: что он и лгал, и изворачивался в ущерб своему достоинству, несопоставимому с достоинством той, что просто любила его. Он открыл письмо от Кейт.

«Джон, дорогой мой!

От души надеюсь, что мое письмо застанет Вас в добром здравии и то ужасное происшествие, которое Вам довелось пережить, не оставило по себе тяжелых последствий. Решиться написать Вам было нелегко, но я понимала, что Вы этого ждете. Столько всего случилось сразу…

Я, разумеется, много размышляла о нас с Вами после того, как прочла письмо, которое Вы просили меня не читать, и в результате осталась глубоко собой недовольна. Я так устроена, чтобы всегда у меня и волки были сыты, и овцы целы, но это, оказывается, не всякий раз сходит с рук. Я твердо верила, что у нас с Вами наше необычайное, неуловимое и в то же время властное *нечто* будет источником одной сплошной, ничем не омраченной радости. Однако механика любви дей-

ствует сообразно собственным законам, и к тому же (простите, что говорю об этом) я никак не предполагала, что буду по известному поводу введена Вами в заблуждение. Признаться, узнать о Ваших отношениях с кем-то еще было тяжелым ударом. Естественно, как я тогда же сказала Вам, у меня нет на Вас никаких прав. Но в том-то, быть может, и была наша ошибка, что сохранить это нечто без доли правообладания нельзя, а мы думали иначе. И знай я с самого начала, что Вы состоите с кем-то в близких отношениях, я не позволила бы себе зайти так далеко в своей привязанности к Вам. Сегодня я ясно вижу, какой идиотизм воображать, что можно удерживать при себе такого привлекательного мужчину, когда ты ему не жена и не любовница. Тем не менее именно это я себе вообразила. Вы должны считать меня полной тупицей. Так или иначе, ввиду всего этого уместно будет, как мне представляется, несколько осадить назад, что, к счастью, само собой и происходит. Вы, вероятно, чувствуете изрядное облегчение, так как наверняка

тяготились сложностями, связанными со мной, в чем, как я теперь понимаю, повинна в основном я сама. Будьте счастливы с Джессикой. Нелепо говорить: «Даю Вам полную свободу», поскольку я никогда на нее не покушалась — и все же некие узы меж нами были. Теперь их не стало. Прошу Вас помнить, что в Трескоуме, понятно, Вы, как и прежде, — желанный гость. Октавиан шлет привет и вместе со мной надеется на скорую встречу.

Кейт».

Дьюкейн бросил страницы письма одну за другой в пылающий камин. Кейт писала таким размашистым почерком, что письма от нее приходили толстыми кипами. Он подумал, как не идет женщине этот тон уязвленного самолюбия и как трудно даже неглупой женщине скрыть его. И тут же спросил себя, почему он строже судит Кейт, чем Джессику. Ответ был очевиден. Потому что Джессика сильней его любила. Вечное самодовольное «я» — вот что важней всего в конечном счете. Дьюкейн рассеянно взял лежащий на столике лист бумаги с криптограммой Радичи. Машинально пробежал ее глазами. Присмот-

релся внимательней. Что-то знакомое начинало проглядывать в центральной ее части. И вдруг до Дьюкейна дошло. Центральную часть квадрата составляли на латыни слова древней христианской криптограммы.

ROTAS
OPERA
TENET
AREPO
SATOR

Эта элегантная фигура читается как в прямом порядке, так и в обратном, так и по вертикали и состоит вместе с добавочными «А» и «О» (альфой и омегой) из букв, образующих первые два слова молитвы «Отче наш», расположенные в виде креста.

A
P
A
T
E
R
APATERNOSTERO
O

S
T
E
R
O

Кто изобрел и на какой закоптелой стене нацарапал, чародействуя, эти магические письмена, какие силы — наверняка более темные и, пожалуй, более реальные, чем христианское Божество, — тщился вызвать их изысканной формой и тайным содержанием? И что проделывал с ними Радичи, пытаясь направить их могущество по иному руслу и завладеть их талисманной ценностью? Дьюкейн переключил свое внимание на буквы, окаймляющие квадрат. Опять дважды «А» и «О», только в другом порядке. И тогда остальные буквы попросту складывались в RADEECHY PATER DOMINUS[49].

Дьюкейн отбросил прочь лист бумаги. Разочарование, сострадание, грусть смешались в его душе. Было что-то мальчишеское, жалкое в эгоцентризме, с которым Радичи присвоил латинскую формулу. Нечто подобное мог бы

---

[49] Примечания: 49
Радичи Отец (наш) Господь *(лат.).*

вырезать школьник на крышке своей парты. Вероятно, во всяком эгоцентризме, если докопаться до самой его основы, присутствует доля ребяческого. Острая жалость к Радичи овладела Дьюкейном. Разгадывая криптограмму, он словно бы вступил в разговор с Радичи, но разговор невнятный, бессвязный. После стольких нагромождений вокруг служения силам зла — и перевернутый крест, и убитые голуби — сердцевина всего этого выглядела такой ничтожной и пустой. Но при всем том Радичи был мертв, а силы зла — достаточно неподдельны, коль скоро дважды побудили его насильно оборвать человеческую жизнь. Проникнуть взором в этот мир Дьюкейн был неспособен. Он видел там одно лишь нелепое, ребяческое, а то, чему полагалось бы внушать страх, представлялось каким-то слабеньким, убогим. Возможно, некие силы и впрямь существуют и это, возможно, силы зла, но они — так, мелкая сошка. Истинное же зло, огромное, грозное, — то зло, что порождает войны и рабство, и бесчеловечность одного по отношению к другому, — заключено в уверенном, бестрепетном, несокрушимом себялюбии вполне обычных людей, таких, как Биранн и как он сам.

Дьюкейн встал и прошелся по комнате. Окружа-

ющее пространство определенно расчистилось. Нет Файви и Джуди, нет Биранна, нет Джессики и Кейт, и Полы. Он посмотрел на себя в зеркало. Лицо, которое он привык аттестовать про себя как «сухое», осунулось и заострилось, у волос, заметил он, — сальный, неопрятный вид, седая прядь, спадающая на лоб, потускнела. Глаза мутные, слезятся. Нос покраснел от солнца и блестит. И так нужен хоть кто-нибудь рядом! Побриться, кстати, тоже не мешало бы…

Завершилась эпоха в моей жизни, сказал себе Дьюкейн. Он потянулся за писчей бумагой, сел и начал писать:

«Дорогой Октавиан!

С искренним сожалением сообщаю Вам, что я вынужден подать в отставку…»

Глава тридцать восьмая

Не хватало лишиться чувств при виде него, подумала Пола.

Нелепая мысль — увидеться в Национальной галерее! В своей открытке он предложил ей встретиться у картины Бронзино. Пола была тронута. Но все равно идея была сумасбродная, типично в духе Ричарда. Пришли он ей письмо, а не открытку, она могла бы предложить со своей стороны что-то другое. А так казалось естественным отозваться тоже открыткой с коротким «да». Слава богу, что в этот ранний час здесь еще никого не было, не считая смотрителя, который находился в соседнем зале.

Пола пришла раньше времени. Поскольку Ричард, с его неумением подумать о других, назначил встречу ни свет ни заря, ей пришлось переночевать в гостинице. Проситься к Джону Дьюкейну или к Октавиану и Кейт не хотелось. Откровенно говоря, Октавиану и Кейт она вообще ничего не сказала. Кроме того, ей требовалось побыть одной. Ночь она провела без сна. За завтраком не смогла заставить себя проглотить ни

крошки. Потом сидела в вестибюле, ломая пальцы и следя за стрелками на стенных часах. Один раз пришлось бежать в уборную из опасения, как бы ее не вырвало. Кончилось тем, что она пулей вылетела на улицу и вскочила в такси. И вот теперь ей предстояло ждать еще полчаса.

Могу и лишиться, думала Пола. Ее по-прежнему мутило, над самой головой, казалось, навис черный полог, грозя вот-вот опуститься ей на глаза. Если ее накроет эта мгла, ее поведет всем телом вбок, и она, потеряв равновесие, полетит вниз головой в темный провал. Пола очень ясно представила себе, как у нее закружится голова и поплывет почва из-под ног. Надо сесть, подумала она. Она осторожно приблизилась к квадратной, с кожаными сиденьями, скамье в центре зала и опустилась на нее.

Насилие, акт насилия по-прежнему стоял между ними, как гора — или, вернее, сделался словно бы уродливой принадлежностью самого Ричарда, чем-то вроде пугающего увечья, как, например, металлическая нога. Странно, что это сравнение пришло ей в голову. Потому что на самом деле металлическая нога была у Эрика. Что же, та сцена в биллиардной перечеркнула Ричарда для нее раз и навсегда? Она не задумывалась над этим,

но, судя по всему, считала, что да. Иначе никогда не ушла бы от Ричарда. А так у нее даже мысли не возникло, что можно остаться. Разумно ли, не безрассудно ли было придать этому эпизоду такое значение, такую, в сущности, физиологическую значимость?

Пола посмотрела на картину Бронзино. С тех пор как на нее заявил свои права Ричард, она сознательно воздерживалась от знакомства с теоретическими изысканиями, посвященными этому полотну, но все же смутно помнила кое-что из прочитанного раньше. Две фигуры в верхней части картины, Время и Правда, раздвигают синий занавес, открывая взору сладострастный поцелуй, которым награждает свою мать Купидон. Скорбная фигура за спиной Купидона — это Ревность. За пухлым Наслаждением с розами в руках — зловещая фигура девы с фарфоровым личиком и чешуйчатым хвостом, олицетворяющая Фальшь. Пола впервые обратила внимание на некую странность в изображении рук у этой фигуры и, приглядевшись, увидела, что они написаны неверно: у левой руки — правая кисть и наоборот. Правда глядит, Время идет. А невесомый поцелуй все длится, губы едва касаются губ, удлиненные сияющие тела сопряжены в почти что угловатой

нежности, в почти что — но не совсем — объятии. До чего же все это в духе Ричарда, думала она, такая изощренность, такая чувственность…

В дверях появился мужчина. Казалось, что не пришел, а как бы возник ниоткуда. Полу будто с силой пригвоздило к спинке сиденья. Он быстро подошел и сел рядом.

— Здравствуй, Пола. Ты рано пришла.

— Здравствуй, Ричард…

— Я, как видно, тоже. Ничем не мог себя занять, не выдержал.

— Да.

— Ну, здравствуй…

Пола не делала попытки поддержать разговор. Она старалась выровнять дыхание. Долгий вдох — и выдох, вдох — и выдох. Совсем не трудно, в общем. Она немного отодвинулась и покосилась на Ричарда: он сидел, облокотясь одной рукой на колено и глядел на нее без улыбки. Мимо прошел смотритель. Больше в зале никого не было.

— Слушай, Пола, — сказал Ричард, понизив голос, — будем говорить по-деловому, хотя бы для начала. Дьюкейн рассказал тебе про этот кошмар с Радичи?

— Да.

— Про меня и Клодию тоже? Все?

— Да.

— Давай тогда разделим два вопроса, ладно? Первый — должен ли я, по-твоему, отдать себя, как говорится, в руки правосудия, заявить в полицию с тем, что меня потом выгонят с работы и будут судить как соучастника. И второй — как нам с тобой поступить в отношении нас самих. Если не возражаешь, я хотел бы прежде всего покончить с первым вопросом.

Господи, как это похоже на Ричарда, думала Пола, пронзенная то ли щемящей нежностью, то ли жалом воспоминаний. Черный полог над нею исчез, дыхание как будто наладилось. Только больно колотилось сердце.

— А разве эти два вопроса не связаны?

Пола обнаружила, что смотреть на него не может, и потому смотрела себе под ноги.

— Связаны в том смысле, что ты либо захочешь, либо нет навещать меня в тюрьме. Взаимозависимость между ними возникает лишь в одном из четырех возможных сочетаний первого, второго, «да» и «нет».

Ах, Ричард, Ричард…

— Джон что, оказывает на тебя давление?

— Да нет, никто на меня не оказывает давления. Я просто хочу решить с первым вопросом. Мы не

можем начинать со второго.

— Джон, как я понимаю, считает приемлемым не предавать это все огласке и…

— Плевать на Джона! Ты-то как считаешь?

Этого Пола не ждала. Она была до глубины души потрясена рассказом о Клодии и Радичи, но не предполагала, что от нее потребуется выносить еще какое-то суждение по этому поводу. То есть, вернее, она сразу же разделила суждение Дьюкейна, что Ричарду нет необходимости ни в чем признаваться… Она постаралась сосредоточиться. Ричард предлагал ей быть объективной. Что было само по себе невероятно — столь же невероятно, как то, что они с ним сидели сейчас бок о бок. Она подняла глаза на ужасные фигуры, олицетворяющие Правду и Время.

— Я считаю, в этом нет надобности, Ричард. Джон ясно дал понять, что для его расследования твои показания не нужны. Тем… людям ты уже не поможешь. Себе — навредишь, а в этом я не вижу смысла.

Ричард издал глубокий вздох.

Почувствовал облегчение, думала Пола, Боже мой… У нее снова заныло сердце. Она опять опустила глаза, на этот раз отведя их в его сторону. Металлическая нога…

— Теперь — как насчет второго вопроса, Пола?

— Погоди, погоди, — сказала она глухо. — Будем, как ты выразился, говорить по-деловому.

Пола отодвинулась еще немного и заставила себя поглядеть на него. Его и без того асимметричные черты исказила гримаса недоверчивости и беспокойства, и, словно пытаясь разгладить ее, он то и дело трогал лицо ладонью.

— Ричард, ты-то сам хочешь вернуться?

Он отозвался коротким отрывистым:

— Да. — И прибавил: — А ты хочешь, чтоб я вернулся?

— Да, — в лад ему коротко ответила Пола.

Два «да», ничего не решая, пустышками повисли в воздухе.

— Ричард, ты ведь жил с кем-то, правда?

— Откуда ты знаешь? Или просто сама так решила?

— Я как-то раз была возле нашего дома — так, потянуло его увидеть, — зная, что ты в это время на работе. И у меня на глазах туда вошла красивая женщина, притом открыла дверь своим ключом.

— Проклятье! Тебя, стало быть, потянуло? Будь я проклят… Что ж, женщина действительно была, но с этим теперь покончено. Она была шлюха.

— И что это меняет, на твой взгляд?

— Согласен. Ничего. Так или иначе, ее нет. Сбежала, если хочешь знать, с Дьюкейновым слугой в Австралию.

— Это она тебе написала?

— Нет, мне сказал Дьюкейн. Мать честная, не собралась же ты приревновать меня к шлюхе, которая сейчас на полпути в Австралию!

— Больше никого не было — ну, то есть уже в последнее время?

— Нет. А о себе что скажешь? Был у тебя кто-нибудь?

— Нет.

— В Дьюкейна не влюбилась?

— Ты что, Ричард, — конечно нет!

— Уверена?

— Уверена.

— Понял. Хорошо, спрашивай дальше. Для меня вообще непостижимо, как ты можешь хотеть, чтобы я вернулся.

— Ричард, я должна поговорить с тобой об Эрике.

— Как, он опять возник, этот мерзавец?

— Нет. Он действительно написал, что приезжает, но потом передумал, слава богу.

— Его надеюсь, ты не любишь?

— Нет, нет, нет!

— Может, тогда забудем о нем?

— Нельзя, в том-то и дело. Во всяком случае, нельзя забыть… то, что произошло. Я понимаю, это отдает безумием, но та жуткая сцена никак не уходит, торчит черным комом, отравляя каждый день.

— Да, — сказал он тихо, — я знаю.

В зале между тем появились американцы. Задержались у картины Бронзино, обмениваясь учеными замечаниями, оглянулись и, увидев пару, напряженно застывшую на скамье, поспешно ретировались.

— Пола, — заговорил Ричард, — мы с тобой разумные люди. Возможно, поодиночке нам с этим ничего не поделать, но что-то, может быть, удастся сделать сообща. Случилось нечто ужасающее, в чем повинны мы оба. Да, так случилось. Ты знаешь, что я не верю в Бога, в разные там муки совести, раскаяние и прочую муть. Прошлое миновало, его больше не существует. Но существуют обязательства, порожденные этим прошлым, а также — наши мысли о нем, с которыми не так-то легко бывает совладать. В отношении Эрика нам, по моему рассуждению, ничего не остается, кроме как забыть этого остолопа. Зато мы кое-что могли бы предпринять в отношении друг друга,

чтобы рассеять эту тучу, — если б решили, что стоит снова попробовать жить вместе. Не думаю, что в этом случае тот черный ком продолжал бы торчать, отравляя нам каждый день. Я думаю, он исчез бы постепенно.

Глядя на него, слушая, как выговаривает четкие фразы его высокий голос, так знакомо излагая и развивая очередную мысль, Пола почувствовала, что ее пробирает дрожь, в которой тотчас же распознала желание. Ей хотелось кинуться на шею Ричарду и изо всех сил прижать его к себе. Она одернула себя мысленно и закрыла глаза.

— Ты что, Пола?

— Нет, ничего. Ты, вероятно, прав. Теперь дальше. — Открыв глаза, Пола уперлась взглядом в размазанное сине-золотое пятно Бронзино. — Ричард, если б ты вернулся ко мне — если бы… У тебя снова появлялись бы время от времени другие женщины?

— Возможно, — сухо сказал Ричард после короткого молчания.

— Я так и думала…

— Прошу тебя, Пола… Трудно сказать. В данный момент у меня такое чувство… Черт, мало ли, — ну, чувство, и что? Я не знаю. Если все пойдет по-старому, я допускаю, что когда-то и изменю

тебе. Поживем — увидим. Объявить тебе, что я, дескать, железно решил, — бессмысленно, сама знаешь.

— Знаю. Что ж, наверное, я смогу это выдержать. Только сделай милость, Ричард, пожалуйста, постарайся мне не врать!

— То есть ты хочешь, чтоб я тебе докладывал каждый раз, как поцелую свою секретаршу?

— Нет. Но я хотела бы знать, спишь ли ты со своей секретаршей.

Ричард вновь ненадолго умолк; по залу как раз успела совершить резвую пробежку стайка школьников. Потом сказал с расстановкой:

— Очень нелегко, Пола, давать заранее такие обещания. Вернее, давать-то их как раз легко. Труднее с уверенностью предсказать, устоишь ли перед соблазном урвать на скорую руку малую долю ни к чему не обязывающего удовольствия.

Пола, не отрываясь, глядела на фарфороволикую Фальшь, на ее ладони не с той руки, ее чешуйчатый хвост. Здесь ли тот камень преткновения, когда все рушится, с грохотом разлетаясь в стороны обломками масок, мятыми розовыми лепестками, окровавленными перьями? Но, глядя уже проясненным взором, чувствовала, как, сметая прочь любые сомнения, в ней крепнет

воля к тому, чтобы вернуть Ричарда обратно.

— Ладно. И все-таки ложь имеет свойство омрачать и портить.

— Известное дело. Постараюсь сводить ее к минимуму.

Эта типичная для него четкость и даже это стремление в самую решающую минуту оставить крошечную лазейку для Венеры, Купидона и Прихоти отозвались в Поле приливом такой любви, что ей стоило труда держать себя в руках.

— Вот только близнецы, Пола…

— А что близнецы?

— Они не настроены против меня?

— Нет, что ты, родной! Они сохранили любовь к тебе нетронутой, я точно знаю!

От нечаянного ласкательного словечка, от образа детей у Полы защипало в глазах. Она отвернулась, смаргивая слезы, и первый раз за все время подумала, нравится ли ему еще.

— Ох, слава тебе Господи! И когда же их можно… Постой, так мы что, — решили?

Пола вновь повернулась к нему, уже не заботясь о том, что он увидит ее слезы.

— Ричард, подумай, спроси себя, — ты действительно этого хочешь?

— Пола, да ты… Да, Пола, да и еще раз да! Пожа-

луйста, дай мне руку…

Пола придвинулась к нему. Их руки встретились, их колени соприкоснулись. Обоих била дрожь.

— Ой, Ричард, только не здесь… Вдруг кто-нибудь…

— Нет, здесь.

Американцы, которые вернулись назад в надежде без помех наглядеться на Бронзино, торопливо отступили прочь.

— Пола, я снова влюбляюсь в тебя, отчаянно, без памяти…

— А я тебя и не переставала любить, ни на секундочку.

— Слушай, пошли домой, — прямо сейчас, ты не против? Я хочу поцеловать тебя как следует, хочу…

Они вскочили на ноги. Ричард воровато оглянулся на спину смотрителя и подошел к Бронзино. С наслаждением провел рукой по полотну, лаская пальцами замершие в легком касании уста Венеры и Купидона. Потом схватил Полу за руку и потянул за собой. Они покинули галерею бегом. Смотритель обернулся и принялся озабоченно пересчитывать картины.

Глава тридцать девятая

— Не хотите ли выпить? — сказал Дьюкейн.

— Спасибо. Глоточек хереса, пожалуй.

— Камин не мешает? Не слишком жарко для вас?

— Нет, мне как раз нравится. Вы правда чувствуете себя нормально?

— Во всяком случае, гораздо лучше. А как Пирс?

— Пирс в прекрасной форме. Кстати, шлет вам большой привет. Велел обязательно сказать, что большой.

— И ему такой же. Садитесь, прошу вас. Так приятно, что вы зашли!

Мэри Клоудир скинула на пол легкое пальто и неловко села, скованно держа перед собой рюмку хереса, как если бы держала что-то непривычное — револьвер, например. Рука у нее дрогнула, и на белое, в синюю тянутую клетку, платье пролилось несколько капель, слегка замочив ей бедро. Она с любопытством огляделась. Красивая комната, обставленная со сдержанным благородством, полная — на вкус Мэри, даже слишком

— неярких, но примечательных безделушек. Они лежали на полированных поверхностях, похожие больше на игрушки, чем на детали интерьера. Мэри взглянула в залитое солнцем окно на невысокие ухоженные дома напротив, со свежеокрашенными парадными дверьми и чугунными ящиками для цветов, и у нее упало сердце. Как мало я о нем знаю, подумалось ей.

— Как чудесно все получилось у Ричарда с Полой, разве нет? — сказала она.

— Великолепно.

— Я страшно рада. Они так счастливы, — веселые, совсем как дети. — Она вздохнула. — Но вас это не удивило? Я представления не имела, что у них такое на уме. Пола ужасно скрытный человек.

— М-мм. Несколько неожиданно, это правда. Что ж, бывает. Жизнь преподносит порой сюрпризы. И прочее.

Мэри перевела взгляд на Дьюкейна, который топтался, как зверь в загоне, на другом конце комнаты, за креслом с высокой спинкой, на которую в эту минуту оперся, слушая ее. Он был одет, за что рассыпался в извинениях, в черный шелковый, в паутине красных звездочек, халат поверх темно-красной пижамы. Такое облачение

придавало ему несколько экстравагантный вид — отчасти что-то испанское, что-то от актера или танцовщика.

— Как было в пещере, Джон? Пирс ничего мне не рассказывает. А воображение все рисует жуткие картины. Мне снятся кошмары по ночам. Вы думали, что погибнете, да?

Дьюкейн тяжелее облокотился о спинку кресла.

— Что вам сказать, Мэри, — проговорил он с расстановкой. — Пожалуй. Пирс не струсил, держался молодцом.

— Не сомневаюсь, что вы тоже. Вы не могли бы рассказать, как это было, описать все с самого начала?

— Не сейчас, Мэри, если можно. Я видел там, в темноте, — прибавил он, — ваше лицо, странным образом. Расскажу вам — со временем.

Его властный тон вселил в нее спокойствие.

— Ну хорошо. Главное — что расскажете. Так вы приняли решение, Джон?

— Какое решение?

— Вы говорили, что должны принять решение относительно другого человека.

— А, да. Это я решил.

— И решение оказалось правильным?

— Да. В этом деле я навел порядок. И во многом другом. Прямо скажем, почти во всем навел порядок.

— Что ж, похвально.

— Какое там, знали бы вы! — сказал Дьюкейн. — Виноват. Нервы все еще подводят.

Мэри неуверенно улыбнулась. И с неожиданным для себя ожесточением отозвалась:

— А я вообще ничего о вас не знаю!

— Как, мы ведь знакомы не первый год?

— Да нет. Мы замечали друг друга, как замечают привычные детали пейзажа — строения, станции железной дороги, — то, мимо чего проезжаешь по пути. Обменивались привычным минимумом общепринятых фраз.

— Вы несправедливы к нам! Мы понимали друг друга. У нас с вами много общего.

— Нет, я не такая, как вы, — сказала Мэри. — Вы — существо иной породы.

Она обвела взглядом комнату, вещицы, похожие на детские игрушки. За окном солнечный, душный вечер полнился приглушенными на расстоянии звуками.

Дьюкейн обескураженно покрутил головой:

— Подозреваю, что мне отпущен сомнительный комплимент!

Мэри смотрела на его худое загорелое лицо, на тонкий нос, характерный абрис сухих темных волос.

Разговор их казался ей пустым, словно прерывистый, неритмичный барабанный бой. Она поежилась.

— Неважно. Вы просто другой. Ну, мне пора.

— Но вы только что пришли!

— Я заглянула всего лишь проверить, как ваше здоровье.

— Видно, мне надо было сказать, что плохо! Не слишком это лестно для меня, что вы так скоро убегаете! Я-то надеялся, что вы останетесь пообедать…

— К сожалению, у меня назначена встреча.

— Ну все равно, Мэри, погодите! Выпейте еще хересу.

Он наполнил ей рюмку. Черный шелк скользнул по ее колену.

Каким образом я очутилась в этом нелепом и ужасном положении, думала Мэри Клоудир. Почему веду себя, как последняя дура? С какой стати меня, после стольких лет, наперекор всякому здравому смыслу, всякой надежде, угораздило ни с того, ни с его до безумия влюбиться в своего старого друга Джона Дьюкейна?

Догадка, что она любит Дьюкейна, осенила Мэри внезапно, в тот день, когда его вызволяли из пещеры, причем тогда же ей показалось, что любит она его уже давно. Она с некоторых пор жила, ощущая над собой некую власть, природу которой не удосужилась разгадать, и представление о ней получила в тот яростный миг, когда набросила свое пальто на голое тело мокрого, окоченелого от холода мужчины. Назавтра, когда Октавиан увез Дьюкейна обратно в Лондон, на Мэри напала черная тоска, которую она приписала пережитому потрясению. В разгар полуденного зноя она полола цветы в саду. Сосредоточенно, с самоистязующим упорством склонялась над клумбой, чувствуя, как по щекам стекают струйки пота. О Дьюкейне она думала неотступно — не что-то определенное, а вообще. Так, будто посвятила себя служению ему — истовому, но бесцельному. Мэри выпрямилась и пошла посидеть в тени под акацией. Разомлев от жары, она растянулась на земле, расслабилась и неожиданно дернулась, словно ужаленная током, увидев перед собою с яркостью галлюцинации лицо Дьюкейна. И потом лежала не двигаясь, стараясь собраться с мыслями.

Открытие, что мы любим человека, который

давно нам интересен, — любопытный процесс. Что можно о нем сказать? Каждый из нас живет, окруженный сонмом неясных образов, питающих наше воображение. Хитросплетение давлений, течений, влияний, чаще всего не дающее четкой картины, и есть то, что связывает наше скоротечное настоящее с нашим прошлым и будущим, образуя сферу нашего сознания. Мысль гнездится в нашем теле с его томленьями, шараханьями, его блужданьями во тьме. Мэри сейчас по-новому, всем своим телом от маковки до пят, простертым под корявым стволом акации, отозвалась на явление Дьюкейна. В ней все перевернулось и замерло в ответ на явленный ей образ, душа словно бы отделилась от нее и устремилась к нему навстречу. Его отсутствие воспринималось так, будто из нее с корнем вырвали громадный кусок ее плоти. Ошеломленная, Мэри не могла унять дрожь восторга.

Так что же, значит, она не была влюблена в Вилли? Да, значит, не была. Ее любовь к Вилли шла от ума, продиктованная вниманием и заботой, жила в кончиках ее своевольных пальцев. В ней не было этого обожания, слияния телесного с духовным, этой тоски, пронизывающей все существо. В случае с Вилли она не довольствовалась

тем, чтобы быть для него просто самою собой и женщиной. Здесь же неоспоримо было налицо то единственное, неповторимое состояние влюбленности, какое она и не надеялась уже когда-либо изведать снова. Мало того, лежа пластом на земле и наблюдая, как скользят по бороздчатому стану акации солнечные блики, она чувствовала, что такого с нею еще никогда не бывало… Мэри со стоном повернулась лицом вниз.

Большая любовь непременно приносит радость, однако дальнейшие думы принесли Мэри не меньше огорчений. Делать с этим огромным чувством, нежданно обнаруженным ею в себе, было решительно нечего. Во-первых, Дьюкейн принадлежал Кейт, но это еще не все. Помимо прочего, для такой, как она сама, он был абсолютно недосягаем. Да, он был очень добр по отношению к ней, но это объяснялось лишь тем, что он был хороший человек и доброта его распространялась на каждого. Его внимание к ней было профессиональным, действенным и ограниченным во времени. Она была слишком уж заурядным объектом, чтобы надолго задерживать на себе его взгляд. В общем, была для него чем-то привычным, как бывает привычным присутствие расторопной прислуги.

Разумеется, он не должен был ничего знать. Сколько ей времени понадобится, чтобы излечиться?.. При мысли, что она знает о своем состоянии от силы двадцать минут, а уже задается вопросом об исцелении, из-под сомкнутых век у Мэри выступили слезы и, смешиваясь с каплями пота на блестящем от влаги лице, покатились на теплую траву. Нет, она не станет помышлять об исцелении. Впрочем, у нее было такое чувство, что ей вовек не исцелиться. Так, в этом состоянии, она и проживет до конца своих дней. А он ничего знать не должен. Ей ничем нельзя себя выдать, ни вздохом, ни единым движением.

Тем не менее прошло два дня — двое суток непрерывных терзаний, — и она поняла, что должна его увидеть. Она увидится с ним ненадолго, скажет две-три банальные фразы — и уйдет. Но повидаться с ним должна во что бы то ни стало, иначе она умрет. Сама не своя от обуревающих ее чувств, Мэри отправилась в Лондон, позвонила ему и спросила, нельзя ли к нему зайти на минутку до обеда.

Придя к Дьюкейну, она сидела изнывая, мысленно творя молитвы. Бурная радость от его присутствия пробивалась сквозь матрицу ее тупости, ограниченности, неспособности сказать

хоть одно нешаблонное слово. Джон, взывала она про себя, дорогой мой, помоги мне вынести это!

Джон Дьюкейн, облокотясь на спинку кресла, не отрываясь разглядывал круглую головку Мэри, компактную, как на полотнах Ингра[50], со смугло-золотистой кожей и очень маленькими ушами, за которые она закладывала свои прямые темные волосы.

Каким образом, говорил себе Джон Дьюкейн, я очутился в этом нелепом и ужасном положении? Почему веду себя как последний осел? С какой радости меня так некстати, не ко времени и не к месту, но со всей очевидностью угораздило до безумия влюбиться в моего старого друга Мэри Клоудир?

Дьюкейну казалось сейчас, что давно уже мысли его обращаются к Мэри, сбегаются к ней, словно дети, словно ручное зверье. Важную роль здесь сыграла минута, когда он подумал, что они с ней одних и тех же правил. Впрочем, и задолго до того, как мысль эта обрела четкую форму, он знал, что они похожи — похожи в том существенном, что относится к сфере нравственности. Ее образ бытия сообщал ему нравственную, даже

---

[50] Примечания: 50
Ингр, Жан Огюст Доминик (1780–1867) — французский художник.

метафизическую уверенность в правильности мироустройства, в реальности добра. Во всякой любви скрыто ценное зерно, даже когда пустельгу влечет к пустельге, дрянцо — к дрянцу. Однако в природе любви заложено стремление отличать хорошее, и лучшая любовь — всегда хотя бы отчасти любовь к хорошему. Дьюкейн сознавал, очень ясно и с самого начала, что его и Мэри объединяет то хорошее, что есть в них обоих.

Огромное уважение, которое Дьюкейн питал к Мэри, доверие к ней, высокая оценка ее бесспорных достоинств легли в основу приязни, а та, под совокупным воздействием его потребностей, переросла в любовь. К этому времени, возможно, он стал идеализировать ее, а влюбился в ту минуту, когда подумал: «Она лучше меня». Утрачивая постепенно былое чопорное самоуважение, он ощутил потребность совместить образ достойного человека с кем-то другим. Отношения с Джессикой и даже отношения с Кейт — пожалуй, в большей степени, хоть и не напрямую, как раз отношения с Кейт — ввергли его в сумбур. Он принадлежал к числу людей, которые, если их лестное мнение о себе поколеблено, теряются и сникают. Потребность в Мэри возникла у Дьюкейна вместе с нуждой в лучшем представлении

о самом себе. Она явилась утешительным противовесом его самоуничижению.

И потом, разумеется, она, по его представлению, воплощала в себе материнское начало. Она была матерью Трескоума. В свете этого нечто мистическое виделось ему в обыденности ее роли. Для него с Мэри уже сотворила преображение его ревность к Вилли — ревность, которая удивила его, дав знать о себе поначалу необъяснимой хандрой и явной убылью в нем великодушия. То была ревность совсем иного рода, нежели та, какую он на короткий миг, когда от него отдалилась Кейт, испытал к Октавиану. Ревность к Октавиану открыла ему глаза на неподобающий и дурацкий характер его положения. Ревность к Вилли сказала: я хочу иметь свою, а не чужую. И затем: я хочу иметь своей вот эту.

Ему казалось теперь — и оттого было еще больнее, — что он убеждал ее выйти замуж за Вилли лишь из сознания собственной вины и опасения, что сам он потерпел с Вилли фиаско. Конечно, она ни в коем случае не должна была знать о его чувстве, и Вилли — тоже. Когда она и Вилли поженятся, он будет всячески избегать контактов с ними. Далее — без меня, думал он. Тягостно было ощущать, что он остался в полном одиночестве:

все как-то отошли от него, а на ту, которая могла бы поддержать его как никто, успел наложить руку другой.

Он продолжал не отрываясь глядеть на Мэри. Буквально все тело у него ныло от сознания, как много она могла бы сделать для него. Ища подспорья в отрезвляющей боли, он сказал:

— Ну а как Вилли?

— Вполне, надо полагать. В смысле, примерно как всегда.

— И когда у вас свадьба? — спросил Дьюкейн.

Мэри вспыхнула и поставила рюмку на восьмигранный мраморный столик.

— А у нас с Вилли не будет свадьбы, — выпалила она единым духом.

Дьюкейн вышел из-за спинки кресла и сел.

— Вы говорили, насчет нее еще не все решено…

— Ее не будет вовсе. — Вид у нее был самый несчастный. — Вилли не помышляет о женитьбе. Все это было недоразумением.

— Как обидно…

— Я думала, Кейт вам говорила.

Мэри, все еще красная, упорно смотрела на свою рюмку.

— Нет. — Надо, наверное, сказать ей, подумал

Дьюкейн. — Понимаете, мы с Кейт… Мы вряд ли будем видеться так же часто… По крайней мере так, как до сих пор.

— Значит, вы все-таки поссорились? — сдавленным голосом спросила Мэри.

— Не совсем. Скорее… Давайте уж, я объясню вам, Мэри, хотя рискую сильно проиграть в вашем мнении. Я раньше поддерживал отношения — сложные отношения, надо прибавить, — с одной девушкой в Лондоне. Кейт узнала об этом и получилось, что я как бы обманывал ее, — да, вероятно, и в самом деле обманывал. Боюсь, тут многое непросто. Во всяком случае, с тех пор что-то у нас застопорилось. Глупо было воображать, будто я могу… сладить с Кейт.

Не так нужно было, подумал он. В подобном изложении это звучит чудовищно. Теперь она будет думать обо мне бог весть что.

— Вот как. Девушка в Лон… Понимаю.

Он сказал натянуто:

— Вы, должно быть, расстроены из-за Вилли. Мне очень жаль.

— Да. Он, как говорится, отверг меня!

Она любит его, подумал он, конечно любит. Со временем она уговорит его. Плохо дело…

Мэри начала потихоньку собирать гармошкой

пальто у своих ног.

— Что ж, надеюсь, вы будете счастливы, Джон, со своей… Да.

— Не уходите, Мэри.

— Но у меня же встреча.

Дьюкейн издал неслышный стон. Ему хотелось схватить ее в объятья, раскрыться перед ней до конца, хотелось, чтобы она поняла…

— Дайте, я подарю вам что-нибудь на прощанье, — такое, чтоб унести с собой…

В смятении он огляделся вокруг. На письменном столе поверх стопки бумаг лежало стеклянное французское пресс-папье. Дьюкейн взял его и ловко бросил ей в подол. И в тот же миг увидел, что она разразилась слезами.

— Что с вами, моя радость?

Отпихнув с дороги столик, Дьюкейн опустился возле Мэри на колени. Он тронул ее колено.

Мэри высморкалась, придерживая пресс-папье в складках юбки.

— Джон, вы сочтете, что я сошла с ума, но можете не беспокоиться. Я должна вам что-то сказать. Просто не могу уйти без этого. Я ведь по-настоящему не любила Вилли. То есть, я его очень любила и люблю, но это не то. Любовь — страшная вещь, ее ни с чем не спутаешь. Зря я заговорила об этом,

у вас есть девушка и вы были всегда так добры ко мне, зачем я буду вас напрасно волновать — я собиралась ничего вам не говорить, честно, и если б вы сами не…

— Мэри, да о чем это вы?

— Я люблю вас, Джон, влюбилась, ничего не поделаешь! Сама не рада — знаю, что это выглядит неправдоподобно и вы, чего доброго, не поверите, но это факт, к сожалению. Обещаю отнестись к этому благоразумно, не докучать вам, не рассчитывать, что мы будем видеться, — впрочем, теперь у вас пропадет всякая охота видеть меня. О Боже…

Она спрятала лицо в носовой платок.

Дьюкейн встал. Он подошел к окну и постоял, глядя на замечательные герани и замечательные машины, на вечернее синее небо, где замечательные самолеты снижались на подлете к лондонскому аэропорту. Он постарался говорить нормальным голосом:

— Мэри, вы действительно идете с кем-то обедать?

— Нет. Это я так. Простите, Джон, ухожу.

— Я предлагаю вам остаться и обсудить ситуацию, — сказал Дьюкейн. — Еды в доме достаточно, а у меня и вина припасена бутылочка.

— Что тут обсуждать… От этого станет только хуже. Говорить не о чем. Просто я вас люблю. Этим все сказано.

— Этим сказана половина, — сказал Дьюкейн. — Может быть, за обедом я сообщу вам вторую половину.

Глава сороковая

— Это то самое и есть?

— Да.

— Все было правильно, ты уверен?

— Господи, еще бы!

— Так вот, мне не нравится.

— Девочкам первый раз всегда не нравится.

— Возможно, я лесбиянка.

— Глупости, Барби. Ну хоть немножко-то понравилось?

— Если только самое начало.

— Ах, Барб, ты — чудо, я тебя боготворю!

— Мне что-то упирается в спину.

— Надеюсь, ты лежишь не на моих очках.

— Паршивые очки!.. Нет, это просто ветка.

— На тебе отпечатались повсюду листики плюща. Так красиво!

— До чего же ты оказался тяжелый, Пирс!

— Я после и сам ощутил свою тяжесть. Навалился на тебя каменной глыбой, и доволен.

— Ты уверен, что у меня не будет ребенка?

— Уверен.

— Думаешь, мне это постепенно будет больше

нравиться — так же, как нравится тебе?

— Больше нравиться — будет. Так же, как мне, Барби, — никогда. Я был в раю.

— Ну спасибо, хоть кто-то доволен.

— Барб, моя золотая…

— Ладно, ладно. Ты считаешь, мы плохо поступили?

— Нет. Раз мы любим. Мы ведь любим друг друга, да, Барби?

— Да. Но бывает, что это все равно нехорошо.

— Бывает. Только у меня нет такого чувства. Есть чувство, будто весь мир на нашей стороне.

— И у меня такое же.

— Ты не жалеешь, не возненавидишь меня после этого?

— Нет. Это должно было со мной случиться, и я рада, что случилось вот так.

— Я столько мучился от любви к тебе…

— Я не могла бы это сделать ни с кем другим. Потому что мы знакомы так близко, ты мне прямо как брат.

— Барби!

— Ну, ты понял, что я хочу сказать. Пирс, миленький, я теперь смотрю на твое тело совсем другими глазами, оно такое чудесное!

— А для меня вообще загадка, что девушки

находят в нас хорошего. Мужчины по сравнению с вами сработаны так грубо, непристойно, топорно!.. Ты, между прочим, не озябла?

— Нет, ничуть. Какая жаркая ночь! Луна какая огромная…

— Она так близко, — кажется, рукой достанешь.

— Слышишь сову? Прелесть, правда? Пирс…

— Что?

— Мы, по-твоему, когда-нибудь будем спать с кем-то еще?

— Нет, а вообще, Барб, понимаешь, мы совсем молодые, так что…

— Ты уже думаешь о других, ничего себе!

— Ой, Барби, только не отодвигайся, прошу тебя, не отнимай руку! Я люблю тебя, девочка, ты же знаешь, что я тебя люблю!

— Возможно. Вел ты себя по отношению ко мне достаточно противно.

— Больше не буду, обещаю. Ты тоже вела себя противно.

— Я знаю. Давай, Пирс, будем действительно любить друг друга. В хорошем смысле.

— Давай. Это будет нетрудно.

— Это будет как раз нелегко. Можно бы, пожалуй, пожениться, когда ты сдашь последние

экзамены.

— Ну, чересчур торопиться не стоит… Не убирай руку, *пожалуйста*…

— Когда мы сможем это повторить? Завтра?

— Завтра не получится. Мне надо ехать к Джеффри Пембер-Смиту.

— А отложить нельзя?

— Да нет. Тут, видишь, случай, когда яхта будет…

— Но как же я? Ты, вроде бы, меня любишь?

— Конечно люблю, Барби! Но яхта — это тоже важно…

— Ну и ну! Я буквально остолбенела!

— Я тоже.

— Насколько же Мэри себе на уме! И главное — после всей этой истории с Вилли…

— Кейт, детка, насчет Вилли ты определенно поспешила с выводами. У Мэри никогда не было особой уверенности.

— Может быть. Но о том, чтобы заграбастать себе Джона, уж точно и речи не было.

— А вдруг это Джон ее заграбастал?

— Э нет, Октавиан, это ее рук дело. Должно быть, это пришло ей в голову, когда у нее не выгорело с Вилли. Решила заполучить хоть кого-нибудь. Будем надеяться, они об этом не пожалеют.

— Наверняка не пожалеют.

— Уж очень ты сегодня добренький, Октавиан!

— Что ж, согласись, мы должны его простить.

— Конечно, мы его прощаем! Просто это немного внезапно.

— Да, какой-то брачный сезон наступил, прямо скажем.

— То Ричард с Полой, то вот теперь — новый гром среди ясного неба!

— Джон, безусловно, своеобразен в качестве миротворца.

— Ты полагаешь, это он постарался насчет Полы с Ричардом? Сомневаюсь. Я, признаться, такого мужа, как Ричард, не пожелала бы себе ни за что на свете!

— А Пола, сколько можно судить, довольна. Думаю, они будут счастливы. Они прошли через самое худшее, и они отчаянно влюблены.

— Твоя вселенская благость, Октавиан, начинает давить мне на психику.

— Прости, родная. Потушить свет?

— Да, теперь луна видна во всей красе — какая большущая!

— Точь-в-точь гигантский абрикос.

— Сову слышишь?

— Да. Прелесть, правда?

— Ты не знаешь, где Барби? Она не попадалась мне на глаза после обеда.

— Спать легла, должно быть.

— Пирс как будто слегка угомонился, слава богу. Завтра едет погостить к этим Пембер-Смитам.

— Да. Барб, надо думать, это примет с облегчением. А близнецы долго еще пробудут?

— По крайней мере неделю. Пола в Челси затеяла ремонт.

— Выводит чуждый дух, полагаю.

— Производит дезинфекцию. В чем, кстати, вероятно, есть реальная надобность. Как, между прочим, фамилия того человека — ну помнишь, который покончил с собой у вас на работе?

— Радичи.

— Ты, кажется, говорил, что с ним, как считает Джон, был неким образом связан Ричард?

— Выяснилось, что за этим ничего нет, — во всяком случае, ничего существенного. Оба, если не ошибаюсь, водили знакомство с одной и той же девицей.

— А почему Джон подал в отставку — не от сознания, что провалил расследование?

— Нет, не думаю. Его доклад был немного схематичен, так ведь и в деле не обнаружилось ничего нового.

— Тогда почему же?

— Хочет вернуться к своей научной работе, заняться опять преподаванием, возможно. Он уж который год поговаривал об отставке.

— Видимо, захотел перевернуть страницу, начать новую жизнь и прочее.

— Надеюсь, приезжать сюда будет по-прежнему — то есть будут, я хочу сказать.

— Будем считать, что и я тоже надеюсь. Октавиан, я должна найти новую экономку. Нам это по карману?

— Да, мой ангел. Но постарайся не обидеть при этом Кейси.

— Катись эта Кейси… Ладно, я постараюсь. Допустим, догадается она, если указать в объявлении, что требуется старшая горничная? Ах, Октавиан, какая тоска, весь наш дом распадается, все куда-то уезжают…

— Солнышко, ты скоро заведешь себе новых.

— Кого это — новых?

— Людишек, я имею в виду.

— Как не стыдно говорить мне гадости?

— Только не останавливайся, любовь моя…

— Бессовестный ты старый сластолюбец! Я все-таки никак не успокоюсь насчет Джона и Мэри… Не может он, на твой взгляд, быть из тех гомосек-

суалистов, которые женятся, чтобы доказать себе, что они нормальны?

— По-твоему, если он сумел худо-бедно устоять против тебя, стало быть, — непременно гомосексуалист?

— Свинья ты, Октавиан! Но Мэри — в самом деле собирательный образ матери, скажешь нет?

— Я не верю, что Джон извращенец. Просто Мэри — его тип женщины, серьезная и все прочее.

— Да. Очевидно, я просто не его тип женщины. Вижу теперь, какой я выставила себя дурочкой перед Джоном.

— Ты у нас любвеобильное создание, Кейт.

— Ну знаешь, я попросила бы не таким тоном!

— Джон сплоховал в твоем случае. Для него это оказалось слишком сложно. Он тебя по-настоящему не понимал.

— По-настоящему — нет.

— Джон — очень приятный малый, но он не тот мудрый праведник, за какого мы принимали его когда-то.

— Мы принимали его за Господа Бога, а он, выходит, — точно такой же, в итоге, как мы.

— В итоге — точно такой же.

— Ты готов, милый?

— Готов, мое солнышко.

— До чего я тебя люблю, Октавиан! Ты так умеешь вернуть мне отличное настроение! Разве не замечательно, что мы абсолютно все говорим друг другу?

Признаться, имелись в поведении Октавиана отдельные частности, касающиеся долгих вечеров, когда он засиживался на работе в компании своей секретарши, коими он не видел необходимости делиться с Кейт. Впрочем, он с легкостью прощал их себе, вычеркивая из памяти столь бесследно, что не чувствовал за собой никакой вины, и поскольку нередко решал, что этот раз — последний, то не считал себя обманщиком. Уверенность, что жена действительно ничего от него не скрывает, служила ему неиссякаемым источником довольства и радости.

Светила абрикосовая луна и ухала ночная сова, сопровождая ритуал любви.

— Разъезжаются, — сказал Тео.

— Да, — сказал Вилли.

— Вы опечалены.

— Я всегда печален.

— Не всегда. Недели две тому назад вы были почти что веселы. Я еще подумал, что вы переменились.

— В тот раз кое-что приключилось в Лондоне.

— Что приключилось?

— Я переспал с девушкой.

— Боги великие, Вилли! То есть, при всем моем уважении, конечно…

— Да, я и сам был удивлен.

— А что за девушка?

— Газель.

— И когда вы с ней встречаетесь снова?

— Больше не встречусь.

— Но почему, Вилли? Она не хочет?

— Она-то хочет. Но нет, Тео, нет. Я — мертвец.

— Мертвецы не спят с девушками.

— Бывают же чудеса. Но это не значит, что у чуда должны быть последствия. Оно — непредвиденная случайность и совершается помимо вас.

— А я бы сказал, что чудо по определению предполагает наличие последствий. Вы сами признаете, что переменились.

— Я — нет. Это вы сказали, что я переменился. Я — всего лишь прошлое без настоящего.

— Типичная трусливая брехня!

— Подскажите, что делать с прошлым, Тео?

— Простить. Пусть оно войдет в вас с миром.

— Не получается.

— Надо простить Гитлера, Вилли. Пора уже.

— Будь проклят Гитлер. Никогда его не прощу.

Но проблема не в этом.

— А в чем проблема?

— В том, как простить самого себя.

— Не понимаю.

— Главное не то, что сделал он. Главное — что сделал я.

— Где?

— *Da unten. Là — bas*[51]. В Дахау.

— Вилли, Вилли, крепитесь!

— Да я в порядке.

— Я это к тому, что не надо мне рассказывать.

— То говорили — расскажите. Теперь говорите — не надо.

— Я окончательно развалился, Вилли. До того скверно чувствую себя все время… Ну хорошо, скажите в общих чертах. Что было?

— Я предал двух людей, так как струсил, и они погибли.

— В этом аду… Нужно и себя пожалеть, Вилли.

— Их отправили в газовую камеру. Мне даже не грозила опасность лишиться жизни.

— Каждый из нас — сосуд скудельный, Вилли. Нет человека, чей рассудок и добропорядочность нельзя было бы сломить под пыткой. Не думайте:

---

[51] Примечания: 51
Там *(нем., фр.).*

«Я это совершил». Думайте: «Это совершилось».

— И тем не менее я это совершил.

— Потребность так отстаивать свое — не что иное как гордыня.

— Их отравили газом, Тео.

Вилли сидел в своем кресле, протянув хромую ногу к горке седой древесной золы в камине. Тео, придвинув к его креслу стул, сидел спиной к камину. Взгляд его был устремлен поверх головы собеседника на длинное окно, залитое сиянием голубого неба. Рука тяжело покоилась на плече Вилли, охватив ладонью и поглаживая край плеча.

Вилли пригладил гриву своих седых волос, черты его лица расправились и застыли в непроницаемом спокойствии.

— Возможно, вы правы, но я неспособен мыслить в подобных категориях. Это даже не воспоминание. Это просто присутствует при тебе.

— Все время, Вилли?

— Каждый час, каждую минуту. И нет такого устройства, чтобы отстранить прошлое от себя. И морально, и психологически.

— Это, мой дорогой, мы еще поглядим. Если один раз случилось чудо, то почему бы ему не случиться и в другой раз? Пожалуй, все-таки

стоит, чтобы вы обо всем мне рассказали.

— Да, мне тоже так кажется.

Но только слушать я не стану, подумал Тео. Он же, в сущности, не мне рассказывает.

Тео передвинул ладонь чуть выше, теребя воротник рубашки у шеи Вилли. Его глаза вновь обратились к залитому светом окну. Солнце, казалось, проникло в толщу стекла, и голубое небо виднелось сквозь сверкающий экран дробящихся лучей. Под негромкий говор Вилли Тео старательно заставлял себя думать о чем-нибудь постороннем. Вспомнил о чайке со сломанным крылом, которую подобрали и принесли ему близнецы. Несла птицу плачущая Генриетта, посадив ее себе на ладонь и гладя другой рукой. Двойняшки прибежали к Тео по прибрежной гальке. Когда случалась беда с животным, они становились растерянны и беспомощны. Нельзя ли что-то сделать, залечить сломанное крыло — или им идти искать ветеринара? Тео сказал — нет, когда сломано крыло, уже ничем не поможешь. Он возьмет у них птицу и быстро ее утопит. Это самое милосердное, что можно сделать, ничего другого не остается. Птица не будет знать, что происходит. Он бережно принял чайку из протянутых рук Генриетты и велел близнецам

уходить. Оба сразу бросились бежать, теперь и Эдвард — со слезами на глазах. Тео, не тратя времени на то, чтобы разуться или закатать брюки, прямо как был, зашел в море, хрустя ботинками по освещенным солнцем подводным камням. Чайка лежала у него в ладонях совсем тихо, блестящие глаза ее глядели безучастно, словно ей не было причин тревожиться. Птица была такая легонькая, такими мягкими были ее серые перья… Тео нагнулся и быстро погрузил в воду мягкий серый комок жизни. В его ладонях произошло слабое трепыханье. Он долго стоял согнувшись, закрыв глаза, чувствуя, как загривок ему припекает солнце. Наконец выпрямился, не глядя на взъерошенный предмет, который держал в руках. Оставить его в море с риском, что он вновь попадется на глаза двойняшкам, Тео не решился. Выбрался на сыпучий берег и в мокрых, липнущих к икрам штанах пошел на дальний конец пляжа, где, стоя на коленях, вырыл в галечной россыпи руками глубокую яму. Положил туда мертвую птицу и тщательно засыпал ее сверху. Потом отполз в сторону и лег ничком на камни.

Голос Вилли продолжал говорить, и Тео, пропуская половину мимо ушей, оберегал свое сердце, цепляясь за мысли о чайке. Наконец в комнате

наступила тишина.

— Хотите чаю? — сказал Тео.

— Да. Вы не приготовите?

Тео поднялся и пошел в кухоньку. Где самое основное, думал он, в чем тут суть? Что мне сказать ему? Что нужно меньше думать о своих грехах и больше — о других. Но как научиться забывать… Главное — возлюбить добро, все прочее не имеет значения. Замечать не зло, а добро. Сосредоточиться на хорошем — только так можно преодолеть тиранию прошлого, стряхнуть с себя налипшее зло, преодолеть самого себя. В свете добра зло видится там, где ему и место, — не как твоя принадлежность, а само по себе, на своем собственном месте. Как объяснишь все это Вилли? Придется постараться.

Наливая чайник, он увидел в угловое окно, что от буковой рощи поднимается по тропинке девушка в голубом платье, с длинными светлыми распущенными волосами.

— К вам гостья, Вилли, — крикнул он.

— Кто это, Мэри?

— Нет. Неизвестная девушка.

Вилли вскочил и в мгновение ока очутился за его плечом.

— Ужас, Тео, что мне делать? Это Джессика!

— Кто такая Джессика?

— Газель!

— Так чем вы недовольны?

— Каким образом она узнала?..

— Вот и предложите ей чаю. Я ухожу.

— Нет, Тео, не бросайте меня! Слушайте, я не могу! Сделаете мне любезность? Я пойду спрячусь на кладбище. Скажите ей, что я уехал из Трескоума и не оставил адреса и теперь здесь живете вы. Скажете? Но так, чтоб она поверила… Сплавьте ее как-нибудь! Убедитесь, что она ушла и тогда приходите за мной. Я выйду через заднюю дверь.

Хлопнула задняя дверь. Тео в задумчивости заварил чай. Длинноногая, длинноволосая девушка решительным шагом приблизилась к дому.

— Здравствуйте, Джессика, — сказал Тео, встречая ее на пороге.

Девушка сделала удивленное лицо.

— Я бы хотела видеть…

— Да-да, вам нужен Вилли. Его в данную минуту здесь нет, но вы легко его найдете.

И Тео дал Джессике подробные указания, как пройти на кладбище.

Потом закрыл снова дверь и налил себе чашку чая. Ему было грустно.

— Посмотри-ка, Минго с Монтрозом мирно

соседствуют в плетенке!

— Так и есть. Ну что же, Минго и Монтроз, давайте прощаться!

— Ишь, разленились, не желают вставать!.. Надеюсь, Кейси понравился наш подарок.

— Конечно понравился, Мэри. Ей просто жаль, что ты уезжаешь.

— Никак не могла ее утешить. Ах ты Господи… Наверное, нехорошо быть такой счастливой, Джон, когда рядом кто-то убивается?

— Нет, почему же. Человек обязан быть счастливым. Особенно, когда он замужем.

— Раз так, то я, как человек обязательный, буду счастливой женой. Мы все собрали?

— Не знаю, все ли, но что вещей набрались горы, это факт.

— Знаешь, это даже к лучшему, что Октавиан и Кейт отсутствуют. Куда, они, кстати, укатили на сей раз?

— В Петру[52].

— Пирс и Барб отбыли вполне благополучно. Как мило, согласись, со стороны Пембер-Смитов, что они и Барб пригласили тоже?

— Хм-м. Подозреваю, что юная Барб будет дер-

---

[52] Примечания: 52
Развалины древнего города в Иордании.

жать юного Пирса в крепкой узде.

— Ох, Джон, я так счастлива! Ты не подержишь две минуты мою сумочку?

— Твоя сумочка весит тонну. Ты что, до сих пор носишь с собой это пресс-папье?

— Я с этим пресс-папье не расстанусь ни за что на свете!

— Хорошо, пошли уже, сентиментальное ты созданье!

— Так, теперь, кажется, действительно все. Какая здесь тишина, когда не слышно больше кукушек!

— Идем, машина ждет.

— Неужели это правда твоя машина?

— Наша машина, голубка.

— Ну да, наша.

— Пора бы тебе узнавать ее!

— Она такая громадина…

Дьюкейн и Мэри, навьюченные чемоданами и корзинами, вышли из парадной двери Трескоум-хауса и направились по газону к конечному кругу подъездной аллеи, где поджидал их большой черный «Бентли».

Из автомобиля выскочил рыжий мужчина, открыл багажник и распахнул заднюю дверцу.

— Познакомься, Мэри, — сказал Дьюкейн. —

Это мой новый водитель, Питер Макрейт. Очень полезный человек.

— Здравствуйте, Питер, — сказала Мэри, пожимая ему руку.

Пожитки уложили в багажник; Мэри забралась на заднее сиденье и подоткнула под колени подол своего белого платья. Макрейт занял место впереди. Дьюкейн, кончив распоряжаться погрузкой багажа, тоже сунулся было вперед, но спохватился и проворно сел сзади, рядом с Мэри. Его разбирал смех.

— Ты что смеешься?

— Нет, ничего. Домой, Макрейт. — И — снова к Мэри: — Вот, взгляни!

Он нажал на кнопку, и между передней и задней частью салона неслышно выросла стеклянная перегородка.

Дьюкейн посмотрел в глаза Мэри Дьюкейн. Его супружеская жизнь будет не без своих шероховатостей. Но он сумеет все объяснить — со временем. Ему опять сделалось смешно. Он обнял свою жену.

— Дядя Тео, а можно мне эту индийскую марку?

— Можно, Эдвард. Бери.

— Эдвард, бессовестный! Я же первая ее уви-

дела!

Тео быстро оторвал уголок конверта вместе с маркой. Почерк на конверте был незнакомый. Но от вида марки его бросило в дрожь.

— Вы куда, двойняшечки?

— На вершину утеса. Хотите с нами?

— Нет, я уж просто прогуляюсь на лужок.

Тео сунул письмо в карман и проводил глазами удаляющихся близнецов. Потом пересек газон, прошел через лаз в таволговой изгороди и сел на садовую скамейку. Вдали, на горизонте, поднималась над морем свинцовая тучка. Сощурясь от солнца, Тео прижал к боку письмо, лежащее у него в кармане. Потом со вздохом медленно вытащил его и вскрыл конверт.

Старик умер. Тео понял это в то самое мгновенье, как увидел письмо. Лишь для того, чтобы сообщить об этом, стал бы ныне кто-то другой писать ему оттуда. Старик умер. Перед самой кончиной помянул Тео добрым словом. Умер тот, с кем можно было бы найти примирение, — тот единственный, кто мог бы даровать ему мир.

Тео не говорил родным, что, когда был в Индии, принял монашество в одном из буддийских монастырей. Думал окончить там свои дни. Но через несколько лет покинул его, бежал после истории,

в которой был замешан молодой послушник. Спустя некоторое время тело юноши выловили в Ганге. Каждый, кто писал об этом Тео, не забывал прибавить, что это был, понятно, несчастный случай.

Только старик мог бы разорвать этот порочный круг, думал Тео, спрашивая себя год за годом, не вернуться ли назад, и год за годом чувствуя, как возвращение отодвигается все дальше и у него все безнадежнее опускаются руки. Ему снились ночью шафранные одеяния, бритые головы, зеленая долина, в которой он мечтал завершить свои дни. Найти путь назад никак не удавалось. Он вспоминал, что старик питал опасения с самого начала. «Мы любим принимать к себе людей смолоду, — сказал он, — покуда их не запятнало общение с миром», — и поглядел на Тео с сомнением. Но Тео в ту пору был одержим своим желанием, как влюбленный. Он жаждал этой дисциплины, этой тишины и того, что лежало за ее пределами.

Я живу, погрязнув в собственных останках, думал Тео. Обитаю в самом себе, точно мышь среди развалин. Громоздкий, нескладный, трухлявый и пустой изнутри. Мышь снует, развалина ветшает. Вот и все. Почему я покинул их, от чего бежал?

Что так непереносимо испортило для меня эту обитель? Он бежал от утраченного представления о себе, от уверенности, что его поймут и снова вернут в структуру, которую он нарушил. Когда со страстью, сулящей полное обновление, он вступал в сообщество этих людей, он, казалось, раз и навсегда оставил свое прошлое позади. Обнаружить, что даже там он остался таким же, как прежде, было ударом по его гордости, по неистребимому себялюбию, которого, как он убедился, ни на йоту не убавилось оттого, что он сделал этот жест — удалился от мира. Обитель стала местом, непригодным для него. Он пришел отдаться ей прямым и свободным. Смиренно вверить ей себя сломленным он не мог. Возможно, он слишком любил старика.

А впрочем, от одного ли порушенного представления о себе бежал он в страхе или же от чего-то еще более пугающего — ужасной потребности, свойственной его натуре? Ему открылось, какое расстояние отделяет приятных от праведных, и зрелище этой пропасти потрясло его до глубины души. Тео увидел вдали самое страшное, быть может, что только есть на свете: другое лицо любви, ее пустое лицо. Все, что он являл собою, даже лучшее в нем было связано с эгоистической,

своекорыстной земной любовью. Эта тупиковая потребность означала для него неотвратимую погибель. Прав был старик, говоря, что начинать следует смолоду. Возможно, стремление унять этот безумный страх и толкнуло его столь неодолимо и внезапно в объятья прекрасного, золотисто-смуглого юноши, гибкого, точно пума. Потом было постыдное смятение, привычный отвратительный самообман, прорвавшийся наружу там, откуда, как он полагал, все это навсегда исчезло. По-настоящему он не изменился за те прошедшие годы. Да, он изведал радость. Но оказалось, что это радость ребенка, увлеченного игрой. Он заигрался на вольном воздухе, а рядом все это время высилось неизменной глыбой его прежнее «я».

Каким же образом совершить в себе перемену, размышлял Тео? Было время, когда он мог вернуться и задать этот вопрос старику. Хотя на самом деле ответ был ему известен — известно, по крайней мере, с чего начать, — и это как раз было несовместимо с его натурой.

Тео встал и не спеша двинулся обратно к дому. В холле запах жилья воскресил перед ним образ Пирса, прямую, как у пони, длинную линию от лба до носа, которые рука сама тянулась погла-

дить. На кухне не было никого, только Монтроз и Минго, свернувшись калачиком, бок о бок дремали в корзинке. Дверь в комнату Кейси была приоткрыта, и оттуда доносились невнятные звуки. Кейси смотрела телевизор. Тео, шагнув у нее за спиной в полумрак закрытого помещения, взял стул и, как часто делал, сел рядом. Увидел, что она плачет, и отвернулся, неуклюже похлопав ее вслепую по плечу.

— Такая тяжелая пьеса, — бормотала Кейси сквозь носовой платок. — Тут один парень влюбился в девушку, повез ее на своей машине и попал в аварию, и девушка стала калекой на всю жизнь, а потом…

Тео все не снимал руки с ее плеча, слегка разминая его пальцами и уставясь невидящим взглядом в голубое мерцание экрана. Поздно ехать назад. Нет больше милосердной руки, что могла бы протянуться к нему, даруя исцеленье.

Но может быть, именно потому, что слишком поздно, ему сейчас самое время вернуться? Старик оценил бы это — поступок, заведомо бесполезный. Прежде картина возвращения совпадала для него с образом вполне земной любви. Теперь — с другим ее лицом. Зачем ему сидеть здесь и прозябать? Возможно, глыбина его «я» так

никогда и не станет меньше. Зато он будет соприкасаться с мудростью посвященных и, возможно, сподобится вновь обрести хотя бы младенческую первозданную невинность. Пускай он ни на шаг не приблизится к тому великому, что неведомо, но будет знать, что оно существует, и в простоте той жизни будет отчетливее ощущать издалека его притягательную силу.

По лицу Тео потекли вдруг слезы. Да, он, быть может, еще вернется назад. Быть может, все-таки окончит свои дни в той зеленой долине.

Двойняшки лежали на краю утеса над Ганнеровой пещерой. Неподалеку от них, чуть выше, беззвучно вращаясь наподобие гигантского волчка, зависла над морем в воздухе красивая летающая тарелка, которую они часто видели на этом месте и раньше. Отлогий, серебристого металла купол испускал свечение, всецело исходящее от него самого и не заимствованное у солнца, а из-под внешнего, плавно сходящего на нет края тонкой линией, играя и искрясь, выбивалось голубое пламя. Определить, какого тарелка размера, было трудно, — казалось, будучи в некоем собственном пространстве, она помещена или загнана в чуждое ей измерение и не поддается попыткам что-либо в ней охватить

или подсчитать человеческим глазом. Зависла посреди собственной стихии, собственного безмолвия — вне всяких сомнений, материальная, бесспорно настоящая и в то же время нездешняя. Потом, на глазах у двойняшек, качнулась и, не то набирая скорость, не то переходя в иное состояние, — сказать с уверенностью близнецы не рискнули бы ни разу — исчезла.

Двойняшки вздохнули и приняли сидячее положение. В присутствии летающей тарелки они никогда не разговаривали.

— Долго она пробыла сегодня, да?

— Долго.

— Странно, откуда мы твердо знаем, что она не хочет фотографироваться?

— Телепатия, скорей всего.

— По-моему, они хороший народ, ты как считаешь?

— Наверняка. Во-первых — такие умные, и потом — никому не причиняют вреда.

— Я думаю, мы им нравимся. Интересно, увидим мы их когда-нибудь?..

— Завтра опять придем сюда. Ты, Генриетта, не потеряла ту окаменелость?

— Нет, она у меня в кармане. Ой, Эдвард, до чего же я рада, что папа вернулся!

— И я рад. Вообще-то, я знал, что он вернется.

— Я, в общем, тоже. Слушай, ты посмотри, как стемнело, вон там, на море, уже дождик!

— Ага. И видишь — наконец-то настоящие буруны! Класс!

— Ну вот, теперь и над нами закапало, дождь пошел наконец, ура!

— Бежим, Генриетта! Айда купаться под дождем!

И дети, взявшись за руки, припустились к дому сквозь сетку теплого дождя.